Я

Истории из моей жизни

Кэтрин Хепберн

OZON.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Знаменитая актриса Кэтрин Хепберн подробно и трогательно описала свою жизнь, которую можно считать целой эпохой в истории американского театра и кино. Хепберн рассказывает о своем детстве; приглашает нас в театральные залы, где она блистала и в шекспировских пьесах и мюзиклах; раскрывает «кухню» Голливуда, с которым ее связывает не одно десятилетие; не умалчивает о срывах в карьере и трагических эпизодах личной жизни; знакомит с людьми, которые встречались на ее жизненном пути: президентом Рузвельтом, загадочным миллионером Говардом Хьюзом, актерами Спенсером Трейси, Алеком Гиннесом и целой когортой мирового масштаба, которые, как и миллионы зрителей во всем мире, были пленены обаянием Кэтрин Хепберн.

Перевод с английского А. Репко

- Кэтрин Хепберн
  - Пролог
  - I
    - Родители
    - Хартфорд
    - Фенвик
    - Брин Мор
  - II
    - Ладди
    - Начало карьеры
    - «Супруг воительницы»
    - Первая поездка в Голливуд
    - Первые фильмы
      - «Билль о разводе»
      - «Кристофер Стронг»
      - «Ранняя слава»
      - «Маленькие женщины»
      - «Огнедышащая»
    - Возвращение в Нью-Йорк
    - «Озеро»
  - III
    - Джордж Кьюкор
    - Леланд
    - Говард Хьюз
    - Ураган
    - Майер
    - Кинофильмы

-
- «Элис Адамс»
- «Сильвия Скарлетт»
- «Мария Шотландская»
- «Служебный вход»
- «Воспитывая Бэби»
- «Филадельфийская история» — пьеса
- «Филадельфийская история» — фильм
- «Женщина года»
- «Ребро Адама»
- «Африканская королева»
- «Летний сезон»
- «Долгое путешествие дня в ночи»
- «Лев зимой»
- «Рустер Когберн»
- «У Золотого озера»

- Шекспир
- Спенсер

- IV
  - День памяти
  - Вилли Роуз и его «Мазератти»
  - «Зеленая кукуруза»
- V
  - Филлис
  - Мимолетная встреча
  - Голос
  - Глаза
    - В кабинете врача
    - По пути домой
    - Консультация
    - Шотландия
    - Сидя над картой
    - По телефону
    - В клинике
    - В гостинице
  - С Новым годом!
- VI
  - Любовь
  - Прощай, калифорнийский дом
  - Дорогой мой Спенс
  - Вверх по лестнице — с помощью…
  - Иллюстрации

- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4

Кэтрин Хепберн
Я
ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Маме и папе посвящается

Пролог

У меня есть друг, который постоянно спрашивает меня, зачем я пишу эту книгу. Особенно после того, как я неоднажды часто утверждала: «Нет, это сугубо личное. Нет, об этом не следует рассказывать». Что же заставило меня изменить свою точку зрения? Сама не пойму. Но что-то все-таки заставило.

Мне кажется (не говорю, что уверена), что я всегда чувствовала в себе актрису, а в последнее время это беспокойное созданье, живущее во мне, не устает повторять: «Эй, что такое происходит? Что мы будем делать? Мы теряем время. Давай возьмемся за дело!»

Молчи! У меня от тебя голова болит. Я больше не стану прятаться за тебя. Кто ты, собственно? Ты — не я. Ты — «та большая-пребольшая красивая кукла». Ты — счастливый лотерейный билет. Ты просто родилась вовремя. У тебя была удачная наружность. У тебя был подходящий голос. Тебе везло. Ты не изменяла себе и стала богатой. Я рада, что у тебя все так здорово сложилось. А теперь — моя очередь.

О чем это ты? Кто я?

Ну, я — это я; я — это та самая сила, что стоит за спиной трона. Я — твой… твой характер. Так, кажется, это называется? Я — та твоя ипостась, что определяет твои поступки, твои принципы.

Я направляю твой корабль. Проще говоря — тебя. Ты мне надоела, и я, наверно, не смогу теперь использовать тебя с былой легкостью.

Правая нога беспокоит тебя, то бишь — болит. В 1982 году ты врезалась в телефонный столб. Недальновидный поступок. В тот момент, когда ты рассуждала о той верфи на юго-восточной окраине Сейбрук Пойнт. Слушай, ведь это больно! Но, слава Богу, хоть не пришлось ее ампутировать. Да, конечно, с тех пор твоему телу трудно соблюдать равновесие, — а теперь вот и спина болит.

Боже, чего ждать? Свое тело ты воспринимала как нечто раз и навсегда данное. Благо, оно у тебя сильное. О да, те две операции на плече… Я правильно выразилась? Да, конечно, правое бедро искусственное. Когда полетело? В 1973-м.

О, это было так давно.

Да, тебе повезло — та операция действительно оказалась удачной. О черт, какая ж ты везучая! Ты видишь! Ты слышишь! Можешь ездить на велосипеде! Можешь возиться в саду! Ну да, стоя на коленях, но зато, согласись, никакой суеты! Куда торопиться, коль скоро ты на коленях?

Как бы там ни было, я — часть твоего характера. Вряд ли ты когда-либо сознавала, насколько я важна. Я всегда подстраховывала тебя. Объясню, что это значит: я появляюсь тогда, когда ты принимаешь неудачное решение, и вот тут-то дело, которым ты занимаешься, не дает результата. Вот тут-то я и стараюсь оправдать тебя.

Знаешь, кто я на самом деле? Я — это то мое, чем одарили меня родители. И, осознав это, я сразу поняла, почему вдруг мне захотелось написать эту книгу. Мне было важно, крайне важно выяснить, в чем глубинная подоплека всего этого. Той части материи, которая может развиваться во всех нас и ждать своего часа. Вот какая мысль посетила меня вдруг. Как она во мне родилась? Как у меня достало мозгов выдюжить «Озеро» — и провал в самом начале моей кинокарьеры — в ту пору, когда я считалась кассовой отравой? И как я развила в себе эту способность к здравомыслию? Ведь именно оно позволяет держаться на плаву. Мне могут сказать: «У тебя было достаточно денег, чтобы не пойти ко дну». Да, было. Но одни только деньги не решают дела. Я бы не умерла с голоду, однако же они меня не застраховывали и от поражения.

Выясним, где ты совершала ошибки и как исправляла их.

Например, «Озеро». Я позволила Джеду Харрису, продюсеру, помыкать собой. Я понимала это и не дала отпора. Я не сказала: «Послушайте, моя задача — обеспечить вам успех, и, если вы велите мне быть размазней, я буду ею». И я вела себя как размазня.

Мое участие в «Озере», испытание, которое я выдержала, имели для меня большое значение. Я научилась с решимостью говорить: «Выслушайте меня. Я виновата».

И фильмы. Так же по-дурацки я заставляла себя говорить: «Да — хорошо» — вместо: «Нет — мне это не нравится».

Я научилась ответственности — каждый из нас должен учиться ответственности.

Вот так-то. Живи, исходя из своих возможностей.

Что же тут поделаешь! И вот видите, чем я теперь занимаюсь и почему? Пишу историю моей жизни. Я подошла к этому. Куда же деваться? Именно поэтому — надо заметить — люди, вероятно, и пишут свои автобиографии.

Но прежде чем вы начнете ее читать, я обязана предупредить, что книга эта не следует законам жанра. Говоря «история», я имею в виду события, случившиеся в моей жизни. Говоря же «истории», я, в общем-то, имею в виду кинокадры — те или иные, — и только.

Это было так чертовски давно — тот стремительный спуск по

лестнице в спектакле «Супруг воительницы». Разве я могла себе представить, что когда-нибудь в будущем задамся вопросом: смогу ли спуститься по лестнице, по этой чертовой лестнице, и притом не упасть на ней? Что значит — «жить»?

Теперь мы подходим ко Мне.

Думаю, мне следует признать, что я до чрезвычайности эксплуатировала это тело: эту спину, эти ноги и так далее. Я заставляла их работать в жесточайшем режиме, и они совершали настоящие подвиги. У меня нет повода упрекнуть их в том, что они хоть когда-нибудь отказывали. Они здорово послужили мне. Они устали.

Давай отдохнем, Кэт, давай отдохнем. Мы мечтаем только об одном — не напрягаться. Дай нам передохнуть.

Хотя нет, не надо передышки! Передышка у нас уже была, дай нам от нее отдохнуть!

Напиши книгу!

I

Родители

Прежде чем приступить к рассказу о себе, мне бы хотелось дать общее представление о том мире, в который я вошла по своему рождению, — о моих корнях. Я имею в виду, разумеется, мою мать, моего отца. Моих родителей.

Мама умерла, когда мне было чуть больше сорока.

Папа умер, когда мне было чуть больше пятидесяти. Так что они были мне… В общем, в течение более сорока лет они были — со мной. Они были мои.

Если глядеть оттуда, где я стояла:

Папа — слева от камина.

Мама — справа от камина.

Каждый день в пять — чаепитие.

Они были тем миром, в который я пришла.

Мои корни.

Моя Мама:

Кэтрин Марта Хаутон родилась 2 февраля 1878 года. Она была дочерью Каролины Гарлингхаус и Альфреда Аугустуса Хаутона.

Альфред Хаутон был младшим братом Эймори Хаутона, главы «Корнинг гласс компани». Свою деятельность компания начинала в городе Кэмбридж, штат Массачусетс, позже переехала в Бруклин, а на последнем этапе существования — в город Корнинг, штат Нью-Йорк. Первая жена Альфреда умерла, оставив ему дочь Мэри. Позже он женился на Каролине Гарлингхаус. У них было три дочери — Кэтрин, Эдит, Мэрион.

Альфред и его жена жили счастливо. У них было прочное финансовое положение. Они не были богачами, но и не бедствовали. Он музицировал на скрипке, она — на фортепьяно. Оба увлекались Робертом Ингерсоллом, «великим агностиком», и ходили на все его лекции. Не признавали официальную церковь. Альфред был лет на двадцать старше Каролины. Его отношения со старшим братом Эймори были, очевидно, сложными. Эймори уволил его из компании, потому что он всегда опаздывал на работу. Потом Альфред возглавил «Буффало скейл уоркс». От природы он был мизантропом, очень подверженным смене настроения, страдал тяжелой формой депрессии. Во время одного из приступов этой болезни, будучи в гостях у Эймори, он вдруг

исчез. Его нашли мертвым на железнодорожном полотне, с самострельной раной в голове. Никакой записки, ровным счетом ничего.

Так Каролина осталась одна с тремя дочерьми. Потом обнаружилось, что она больна раком желудка. Каролина знала, что жить ей оставалось совсем немного, и страшилась оставить девочек на руках своих родственников, которых считала безнадежно реакционными. Ей хотелось, чтобы они поступили в колледж. Вместе со старшей дочерью — моей будущей матерью — она посетила колледж в Брин Море, после чего устроила ее туда, а Эдит и Мэрион — в находившийся почти рядом с колледжем пансион мисс Болдуин.

К тому времени, когда умерла их мать, Кэтрин исполнилось шестнадцать, Эдит — четырнадцать, а Мэрион — двенадцать. Кэтрин мыслила свое будущее таким, каким оно виделось ее матери. Ей хотелось учиться в колледже Брин Мор, хотелось самой стать наставницей своим сестрам. Она не намеревалась позволять дяде Эймори быть их вечным наставником. А у того были на сей счет свои соображения. Он считал, что девочки должны быть девочками, то есть учиться в колледже для того, чтобы стать настоящими леди. Девочки же мечтали получить образование, чтобы стать независимыми. Какое-то время такое положение дел устраивало всех.

Сестры добились своего только после того, как Кэтрин придумала кое-что, расстроившее планы дяди Эймори. Девочек обычно посылали пожить то к одним, то к другим родственникам, у которых они проходили своеобразное «испытание».

Отправляясь на жительство в очередную семью, они намеревались выглядеть послушными и обаятельными, но при этом нисколько не сдерживать себя в проявлении эмоций. От их топота дрожал потолок в гостиной, над которой они жили, было много визга и крика. И родственники жаждали как можно скорей избавиться от сестер.

Потом Мама поняла, что возраст позволяет ей самой выбрать себе опекуна. Дядя Эймори только распоряжался ее деньгами, но в юридическом смысле не был ее опекуном. Она пригрозила, что возьмет в опекуны кого-нибудь, не питающего особых симпатий к дяде Эймори, и таким образом сломила его волю и поступила, как задумала. Она устроилась в Брин Мор. Девочки учились сначала в пансионе мисс Болдуин, а позже — в Брин Море.

Для того чтобы дать хоть какое-нибудь представление о той атмосфере, в которой в юности жила Мама, приведу здесь письмо этого самого дяди Эймори, полученное от него Мамой в 1904 году. Оно поможет достаточно четко составить представление о

дяде Эймори, который контролировал ее расходы.

4 февр. 1904 г. Корнинг.

Дорогая Кэтрин!

Я получил твое письмо от 1 февраля, на основании которого стало ясно, что в течение последних семи лет ты одалживаешь деньги у Мэри Тоул; на сегодня сумма составляет тысячу долларов, за вычетом того, что ты выплатила ей из своего жалованья. Твой доход всегда был значительным, следовательно, особой нужды занимать деньги у тебя никогда не было, и Мэри Тоул совершает большую ошибку, ссужая тебе деньги. Мое отношение к тебе остается неизменным — ты вздорная, лживая, бессовестная, никчемная личность. Ты растранжирила тысячи долларов и не расплатилась со своими долгами чести. Но я не считаю, что ты способна осознать совершенные тобой ошибки. Сейчас ты расплачиваешься с Мэри Тоул, не хотела бы ты сделать то же самое и в отношении других счетов, которые числятся за тобой? Когда увидишь Тома, будь добра передать ему, что, на мой взгляд, он не мог бы поступить хуже.

Прилагаю чек на тысячу долларов и записываю его на твой счет. Полагаю, ты напишешь на обратной стороне чека: «Выплатить по ордерному чеку Мэри Тоул». Поставь ниже свою роспись — Кэтрин М. Хаутон, а потом отправь переводной вексель Мэри Р. Тоул.

С возмущением,
любящий тебя дядя
А. Хаутон-мл.

Когда совсем девчонкой ты, находясь в Буффало, поручилась за какие-то вещи, которые тебе было запрещено хранить (их вернули), твой отец заметил: «У Кэти ветер в голове». Это верно. У Кэти ветер в голове; она всегда была такой и, несомненно, всегда такой будет.

Когда Каролина Гарлингхаус умерла, ей было тридцать четыре года. Она, по-видимому, обладала очень сильным характером. Моя мать очень много рассказывала о ней: о ее красоте, силе ее характера, ее решимости дать своим дочерям образование и обеспечить такую жизнь, при которой они были бы независимыми от очень деспотичного Эймори Хаутона, главы корпорации «Корнинг гласс». Ее девизом было: «Колледж! Образование!»

Я мысленно представляю себе Маму, рассказывающую, как она сидит рядом со своей матерью. Бабушка Каролина была

красивой. У меня сложилось впечатление, что она имела огромное влияние на мою будущую Маму, старшую из трех девочек. Благодаря ей моя мать руководствовалась в жизни деятельной философией Джорджа Бернарда Шоу:

«Истинная радость в жизни — действовать ради цели, признаваемой тобой великой; вконец истратиться раньше, чем тебя выбросят на свалку; быть значимой силой природы, а не нервной, эгоистичной, маленькой, немощной развалиной, напичканной болями и обидами, которая жалуется на то, что мир не желает посвятить себя тому, чтобы одарить тебя счастьем».

Не впадай в отчаяние.

Борись за свое будущее.

Независимость. Только она дает тебе опору.

Женщины ни в чем не уступают мужчинам.

Вперед!

У тебя нет достаточно денег, зато есть «независимый» дух. Знание! Образование! Будь упорной! Прокладывай свой собственный путь.

Не хнычь.

Не жалуйся.

Надейся на лучшее.

Моя сестра Пег рассказывала, что однажды она сидела и плакала, потому что наша сестра Мэрион и ее подружка не принимали ее играть с собой. «Я не могу винить их, — сказала мать. — Это ты — плакса». Пег учла этот урок. Она стала веселей смотреть на вещи.

— Такому-то я не нравлюсь.

— Ну, если бы у него был хороший вкус, ты бы ему понравилась, — сказала мать. — А раз у него дурной вкус, зачем с ним водиться?

Однажды, в пору своего пребывания в Брин Море, матери понадобились деньги. Ей удалось найти ученицу, которой с трудом давалась тригонометрия. Сама Мама тригонометрии не знала. Тогда она достала учебники, позвала девочку и в течение двух недель занималась с ней с опережением на два урока. Девочка сдала экзамен, а с нею и мать.

Мой Папа:

Доктор Томас Норвэл Хепберн. Он родился 18 декабря 1879 года. В семье преподобного Сьюэлла Сноудэна Хепберна и Селины Ллойд Пауэлл.

Он был младшим ребенком. Другими были: Чарльз, Ллойд, Сьюэлл и Селина. Жили они в Виргинии, а неподалеку от Честертауна, в штате Мэриленд, у них имелась еще и ферма.

Ферма эта и поныне принадлежит семье. Она называется «Дилайт» («Восторг»). Мать моего отца происходила из очень известного рода Пауэллов, который, подобно многим родам Юга, разорился в результате Гражданской войны. Папа по-настоящему любил свою мать. Они были очень близки, благодаря ей он испытывал большое уважение к женщине. Она была его идеалом — несгибаемым борцом, с самыми высокими принципами. Она верила в силу образования.

Дедушка был священником епископальной церкви. Его годовой доход никогда не превышал шестисот долларов.

Пауэллы (по бабушкиной линии) рано переехали в Виргинию. Отец устроился в колледж Рэндолф-Мэкон, где получил степень бакалавра, а затем магистра. После окончания колледжа он отправился в университет Джонса Хопкинса в Балтимор изучать медицину. В университете он познакомился с сестрой моей матери Эдит. Они вместе занимались фехтованием.

Мама и Папа впервые встретились на квартире у Эдит. Мама была им очарована и устроилась работать в университете, чтобы быть поближе к нему. Ей это удалось. Они часто виделись. Отец, вроде бы проявляя к ней большой интерес, предложения, однако, не делал. Она решила уж было, что он просто водит ее за нос. Наконец, отчаявшись, она сказала:

— Знаешь, самое удивительное в нашей дружбе то, что, если кто-то из нас двоих обзаведется своей семьей, это никак не отразится на наших отношениях.

Папа возмутился:

— Не понимаю, как ты можешь говорить такое. Если я не женюсь на тебе, то не женюсь ни на ком.

Мать спросила:

— Это что — предложение?

Папа сказал, что он делает ей предложение уже шесть месяцев. Она воспринимала все слишком буквально. «Где твой здравый смысл!»

Эдит, бросив изучать медицину, вышла замуж за доктора Дональда Хукера и поселилась в Балтиморе.

Папе предлагали несколько очень хороших мест в нью-йоркских больницах, но он считал, что Нью-Йорк не тот город, в котором следует жить. Мама и Папа, поженившись, переехали в Хартфорд. Они мечтали иметь много детей. Оба поддерживали идею эмансипации женщин.

Сначала мои родители жили рядом с хартфордской больницей, где сначала Папа был сверхштатным врачом, а потом — врачом, живущим при больнице. Ему полагалось оставаться спать в больнице после вечернего звонка отбоя. Папа снял дом

совсем рядом, на Гудзон-стрит, — достаточно было перейти дорогу. Он изобрел свою собственную сигнальную систему. Будучи очень легким на подъем, он никогда не опаздывал на вызов, а потому его никогда не разыскивали.

Шло время. Как-то Мама прогуливалась по парку. Том, ее первенец, шел рядом сбоку, а меня везли в коляске. «Ну вот, — подумала Мама, — вот она моя жизнь — эти двое восхитительных детей, милый, замечательный муж, преуспевающий в своей профессии. А что же я? Что же я сама? Неужели только для этого я и родилась на свет? Ведь на что-то еще я гожусь? У меня диплом бакалавра, диплом магистра».

Она вернулась домой несколько озабоченной, а Папа вбежал в комнату и выпалил:

— Прочти вот здесь в газете! Некая Эммелин Панкхерст выступает сегодня вечером с речью о положении женщин и о праве на голосование. Давай-ка…

Они пошли. Папа, очевидно, начал понимать, что Мама уже не удовлетворяется своим местом в жизни. Он нашел выход. Мама возглавила Ассоциацию суфражисток штата Коннектикут.

Женщины.

Их проблемы.

Право голоса.

Проституция.

Торговля белыми рабами.

Беременность девочек-подростков.

Венерические болезни.

Массовые публичные собрания.

Суфражистки поднимали многие нравственные проблемы, существовавшие в Хартфорде.

«Вы знаете, что прямо под боком полицейского участка находится дом терпимости?»

«Вы знаете, что по такому-то адресу в открытом туалете утонул ребенок?»

У Мамы был павильон на территории Коннектикутской ярмарки, где была кабинка и газовый баллон, с помощью которого можно было надувать шары. Они были яркие, бело-зеленые, с надписью: «Право голоса для женщин!»

Мне было около восьми. Я надувала шары, связывала их двухметровой бечевкой, выходила на улицу, зазывая посетителей на ярмарку, шла следом за ними, пока наконец они не решались-таки взять один из наших шаров, подчас безо всякого желания. Я приговаривала весьма настойчивым голоском: «Право голоса для женщин! Берите, пожалуйста, берите! Право голоса для женщин!» И они брали.

Когда по какому-либо вопросу проходило голосование мужчин, женщины, входившие в Ассоциацию, всегда проводили свое собственное голосование в нашем павильоне. На нем висел плакат с надписью: «Здесь голосуют женщины, идиоты и уголовники» (одна из отцовских шуточек). Мама была одной из любимых ораторш Ассоциации. Она отличалась остроумием, от нее исходило искрометное веселье. Глядя на нее, слушая ее, люди убеждались, что женщины не дуры, что они заслуживают права голоса.

О, совсем забыла упомянуть. В первый день Хартфордской недели творчества Мама привела фотографа, который сделал снимок того туалета в многоквартирном доме, где утонул ребенок. Она отправила этот снимок в «Куранты» (местную газету) с подробным комментарием. И — хотите верьте, хотите нет — они опубликовали материал, даже не прибегнув к проверке ни самой статьи, ни факта как такового. Разумеется, статья была рекомендована для повторного напечатания.

Однажды к отцу пришел пациент, чтобы получить подтверждение в том, что он совершенно здоров и может жениться. Это был симпатичный мужчина. Спустя несколько месяцев он привел свою жену. Выяснилось, что она серьезно больна гонорейным перитонитом. Она умерла. Отец установил, что вечером накануне обручения будущий муж напился и вместе с друзьями, участвовавшими в холостяцкой пирушке, отправился в дом терпимости. Муж подхватил гонорею и заразил ею жену. После этого случая отец начал активно бороться за создание Ассоциации социальной гигиены в Новой Англии, которая бы занималась просветительской работой среди населения в отношении венерических болезней.

Он поехал в Гарвард к доктору Чарльзу Элиоту, намереваясь предложить ему стать президентом общества. Позвонил в колокольчик и, когда в двери появился слуга, передал для доктора Элиота записку, в которой излагал свою мысль. Элиот спустился вниз и сказал, что только что получил письмо от президента Соединенных Штатов с просьбой согласиться принять пост посла в Англии. Но он, однако, пришел к мысли, что предложение отца более важно. Таким образом, Элиот стал первым президентом Ассоциации социальной гигиены в Новой Англии.

В театре Парсона состоялось очень бурное собрание. Шел 1912 год. Необходимо было во весь голос заявить, какой ужасный вред наносят обществу венерические болезни и проституция. Что предпринять? Мать настояла, чтобы собрание вел мэр Хартфорда Эдвард Смит. Должны были выступить авторитетные специалисты

по венерическим болезням.

Доктор Роберт Уильям из Филадельфии — светило в этой области медицины.

Доктор Эдвард Джанни.

Клиффорд Роу из Чикаго и Балтимора, известный исследованием проституции как общественного явления.

Выступали также оледователи, которые вели дела о торговле «белыми рабами».

Откровенно консервативные газеты — хартфордские «Куранты» и «Таймс» — подняли вой. Коннектикутская лига борьбы за свободные выборы отчаянно рекламировала это собрание. Оппозиция неистовствовала. Телефон в нашем доме на Готорн-стрит № 133 трезвонил без устали. Мэр попытался было отказаться от ведения собрания, но неудачно. Главным лозунгом дня стало папино кредо — «Через правду к свободе». Наконец наступил вечер, на который было намечено собрание. Отец привез ораторов в театр Парсона. По пути в театр у него прокололось заднее колесо, однако он не хотел задерживаться и ехал дальше на ободе. Функцию церемониймейстеров исполняли женщины, одетые в униформу медсестер. Давка снаружи и внутри была жуткая.

Собрание имело огромный успех, и моих родителей хвалили за их инициативу. Январь 1912 года. Это было начало публичного обсуждения тем подобного рода. Общественное мнение стало на разные лады склонять Папу и Маму. Одни ругали их, другие хвалили. Борьба продолжалась. Теперь-то все мы, разумеется, знаем, что они были правы.

В 1917 году Мама ушла в отставку с поста президента Ассоциации и вступила в Национальную женскую партию Элис Пол, поскольку ее члены проявляли большую активность. Они выиграли выборы в 1920 году.

Затем наступил черед проблемы контроля над рождаемостью.

Воспитываясь в такой атмосфере, Том и я привыкли к участию в демонстрациях и к тому, что нас оскорбляли. Со временем, конечно, оскорбления прекратились, и нас хвалили, считая детьми очень прогрессивных родителей. Таким образом, мы не только тянулись за ними, но и довольно скоро осознали, что у нас просто замечательные родители.

Они действительно были удивительными людьми. Дверь нашего дома всегда была открыта. «Добро пожаловать». «Ради Бога, расскажите, что вас заботит». «Идемте к нам — проведем вместе вечер». «Вместе пообедаем. Что вы, что вы, места предостаточно».

И я часто думаю сегодня, как же мне вас недостает. Я так

привыкла обращаться к вам. Счастливое было время. Всегда можно было обратиться к вам двоим — в горе ли, в радости ли. Вы были такими сильными, веселыми. Две скалы. Боже мой, как много вы сделали для меня! Какое счастье иметь родителями любящих друг друга людей и жить в атмосфере теплоты и участия.

Я прохожу по комнатам, в которых живу, — в данном случае по комнатам моего дома. Персидские ковры. Старинная мебель из Англии и Франции. Камин, в котором, как правило, ярко пылает огонь. Запах золы. Вазы, всегда наполненные цветами в соответствии с сезоном. Сейчас, в июле, это букеты тысячелистника (белого, розового), кружево королевы Анны (белое), бабочкина трава (оранжевая и красная). Вербейник — пурпурные колосья. А в Фенвике, где наш летний дом, всегда были полевые цветы. В детстве мы каждое воскресенье ходили собирать цветы.

Особенно запомнились мне прогулки в Хартфорде. Папа сажал нас всех в автомобиль. Мы битком набивались в старенький «максвелл» — в нем не было дверей. А позже тот огромный старый «рео»? Помните? Сзади миниатюрные откидные места, два — сбоку от большого заднего сиденья. Все взрослые сидели впереди. Шел ли дождь, светило ли солнце — мы выезжали, несмотря на погоду. На озера, в лес, в горы.

Вспоминаю беднягу Синклера Льюиса, жившего в Хартфорде в ту пору, когда он работал над романом «Эрроусмит» (вероятно, в начале двадцатых), как он пытался взобраться на дерево. И никак не мог. Любая физическая работа была ему не под силу.

О, у меня есть чудесная история о Льюисе.

Он и Грейси, его жена, переехали в Хартфорд в новый дом. Боковая улица. Забыла, как называется. И разумеется, иногда мы перезванивались, ходили в гости. Однажды на вечеринке к Маме подошел Ред Льюис:

— Почему вы не звоните нам?

Мать взглянула на него, улыбнулась:

— Идите сейчас домой, и я позвоню.

Льюис ушел. Мама позвонила.

Вернувшись с вечеринки домой, она рассказала Папе, какие они очаровательные люди и что она пригласила их на обед в пятницу вечером. Потом добавила:

— Знаешь, он большой любитель выпить, надо, вероятно, запастись спиртным, шотландским виски.

Было время сухого закона. Папа отказался покупать виски. Мама была в отчаянии.

Совершенно неожиданно Папа сказал:

— Какой у него номер?

Мама назвала.

Папа позвонил Синклеру.

— Мистер Льюис, если вам, чтобы поддержать нашу компанию, необходимо завтра напиться, советую прихватить горючее с собой.

Забавней всего то, что, приходя к нам, он никогда не пил — ни капли.

Мы дружили в течение многих лет.

О, чуть было не забыла рассказать. Иной раз, становясь на голову, я думала о том, какая я молодец — такая маленькая девочка, а умею делать такое. Способна сделать стойку и держать ее три-четыре минуты: голова обхвачена руками, а согнутые локти помогают держаться вертикально. Я обнаружила, что действительно практически стою на лбу.

Потом я задалась вопросом: что же такое заставило меня стоять на голове? И стала размышлять о Папе и тех гимнастических трюках, которым он обучал нас.

Я умела стоять на руках. Умела ходить на руках. Умела делать «мостик» и, прогнувшись в поясе, коснуться руками пола, а потом ходить в таком положении — руками и ногами. Я умела делать «колесо» и полтора «колеса». Умела с плеч Папы делать прыжок кувырком вперед. С мостика умела прыгать в воду, делая полтора оборота. Папа однажды спросил, решусь ли я прыгнуть с мостика — ногами вниз, носки оттянуты, руки подняты верх? Я попробовала, приводнилась на спину и сильно ушиблась. Важно было попробовать. Мы использовали наши тела как инструменты. Чтобы подняться. Опуститься. Перевернуться.

Было так приятно уметь делать все это. Детьми мы получали огромное удовольствие. Благодарю тебя, Папа.

О, папочка, помнишь, какие цветы видели мы в лесах — в талькоттских горах? Женские башмачки. Триллиум (красные, белые). Горные лавр, первоцвет и водосбор. Земляничное дерево. Тот, кто первым находил земляничное дерево, получал приз. Трудно было оказаться первым. Изумительной нежности крохотный цветок, покрытый мелкими-премелкими сухими листиками, очень приторно пахнущий — чудесный.

Что тут скажешь? Счастье иметь Отца и Мать. Они действительно любили друг друга. Рыжеволосый, пылкий по натуре Папа. Кое-кто утверждает, что я похожа на него. Хочется верить, что это так, мне это льстит. Истинное воплощение здравого смысла — Мама. Она восхищалась им. Восхищалась нами. Она была человеком глубокого ума. Остроумная. Кое-кто говорит, что я похожа на нее. Хочется верить, что так оно и есть,

этим стоит гордиться. Они любили читать вслух Шоу, Эмерсона, О'Нила. Они брали от жизни то, что она им предлагала, и насыщались этим. Она — источник всего. Истинные ценности — и чувство радости.

У Папы и Мамы родилось шестеро детей в течение пятнадцати лет:

Том — в 1905-м
Кейт — в 1907-м
Дик — в 1911-м
Боб — в 1913-м
Мэрион — в 1918-м
Пег — в 1920-м

Мы были счастливой семьей.

Мы — счастливая семья.

Мама и Папа были великолепными родителями. Они воспитывали нас, не ограничивая нашу свободу. Не регламентируя ее строгими правилами поведения. Просто какие-то вещи было позволительно делать, а какие-то — нет, потому что они могли бы кому-то навредить.

Мы были близки и все по-прежнему так же близки.

Мы были большой семьей.

Сначала родились Том и я, потом Дик и Боб, наконец — Мэрион и Пег. Видите, я была намного старше моих сестер. Для них я была, в сущности, еще одним взрослым. Они были соответственно на одиннадцать и на тринадцать лет моложе меня — для меня почти дети.

Боб и Дик были ближе мне по возрасту — но они были мальчики. Когда я поступила в колледж, в семнадцать лет, одному было одиннадцать, другому — тринадцать. Так что детьми мы фактически не жили как равные — сначала мои родители, я, Том и уж потом — дети.

Младшенькие навещали меня в Нью-Йорке. У меня было такое чувство, будто это мои собственные дети. Я одевала их и водила в театр, в кино и музеи и на всякие развлечения. Мама учила их уму-разуму, когда в начале 30-х семья испытывала недостаток в деньгах. Она была чудесной наставницей, и девочки восхищались ею. Я играла роль богатой тетушки, и нам было очень весело вместе. Эти их приезды и развлечения… Я уверена, что именно поэтому у меня не было своих собственных детей.

Родители, которых знала я, конечно, не были родителями, которых знали Мэрион и Пег; в сущности, Дик и Боб тоже не были равными мне. Они были детишками. Как я уже сказала, я пережила своеобразный опыт материнства, не отягощенного обязательствами.

Когда они выросли и обзавелись своими семьями, наша близость осталась. Я была счастлива. Когда мои родители умерли, со мной по-прежнему оставались девочки-двойняшки Пег и трое детей Мэрион и — чуть в меньшей степени — мои братья Боб и Дик и их дети. Мы были и остаемся сплоченной семьей. Их проблемы — мои проблемы, и наоборот. Мы — как бы «стая», кучно летящая по жизни. Разве это не замечательно? Я чувствую себя такой счастливой. Я ощущаю и всегда ощущала заботу близких.

Мэрион умерла совсем внезапно, когда ей было почти семьдесят. Это был удар для всех нас. Нам казалось, что все мы будем жить и жить. Я настояла, чтобы ее муж, Элсуорт Грант, поскорей женился. Он и Мэрион знали друг друга с детства и поженились, когда им было по двадцать. Он фактически никогда не был один. Его второй женой стала Виргиния Татл. Так что за него я спокойна.

Я не могу рассказать ничего в деталях о своих сестрах и братьях. Я не мыслю себя без них и совершенно уверена, что не могла бы жить без них. Они — часть меня, моя защита. По Папе и Маме и по Мэрион я скучаю каждый день и каждую ночь моей жизни.

Хартфорд

Итак, я родилась восемьдесят с лишком лет назад, 12 мая 1907 года. В городе Хартфорд, штат Коннектикут, в доме номер 22 по Гудзон-стрит, напротив хартфордской больницы. Улицы этой теперь не существует. На ее месте вырос больничный комплекс. У Папы закончился испытательный срок сверхштатного врача, и он мог уже не жить в самой больнице.

Хартфорд — столица штата Коннектикут. Очаровательный город, изобилующий парками, холмами и даже вязами, с очаровательными старыми домами, зимой с отличными возможностями покататься на коньках и лыжах, с жарким летом.

Вскоре после моего рождения наша семья переехала на Готорн-стрит. В новом доме был камин с начертанным сверху девизом: «Внимайте песне жизни!» — какие-то затейливые письмена. Это был красивый дом эпохи раннего викторианства, с тремя выступавшими островерхими фронтонами, самый большой — посередине. Красный кирпич, украшенный черными кружевными разводами. Дома тоже теперь уже нет. С востока участок граничил с «Эрроу электрик фэктори». С запада — с усадьбой по Форест-стрит, где прямо на углу семья Беннет построила дом. У них имелся теннисный корт с цементным

покрытием, мы с ними крепко сдружились. У нас был и свой корт — старенький, земляной, на южном конце усадьбы, которая представляла собой длинный и довольно широкий участок земли с ручьем, протекавшим вдоль заводской ограды у нижней границы небольшой рощицы, в которой в основном росли сосны. Со стороны фасада перед домом была подъездная аллея, которая с двух сторон замыкалась у парадной двери, образуя круг. Дом стоял в глубине, примерно метрах в двадцати трех от самой улицы. Зимой, когда выпадало много снега, мы делали из него на кругу высокий вал, напоминавший крепостную стену какого-нибудь феодального города. И проводили жестокие баталии.

Лужайка была с густой травой и откосом спускалась к железнодорожному полотну, к которому примыкала территория парка Брауни. Ныне все это поглотила автострада. В парке Брауни был красивейший пруд. Там водилась уйма крыс. Видимо, крысы умеют плавать. У нас на пруду имелся плот. С запада участок окаймляла живая изгородь из кустов алых роз. С востока тянулся узкий и глубокий овраг, обильно поросший деревьями, заслонявшими собой заводские корпуса, — прямо настоящий лес, в котором росло бесчисленное множество желтых нарциссов, ландышей. Какое очаровательное место! Итак, железнодорожное полотно — парк Брауни — кедровая ограда — старенький теннисный корт — еще один кусочек леса — лужайка — дом.

На восток от круга росла группа больших деревьев. Несколько деревьев спилили, а пеньки оборудовали в столы и стулья. Весной мы частенько устраивали там чаепитие. Было замечательно. Весело.

К нам приходили гости, друзья из ближайшей округи. Чаепитие было любимым занятием во время наших встреч.

В западной части усадьбы росло тсуговое дерево. Я любила на него взбираться. Соседи обычно оповещали мать.

— Кит! Кэти взобралась на верхушку тсуги!

— Да, я знаю. Не пугайте ее. Она не понимает, что это опасно.

Было и другое дерево — вяз, он играл заметную роль в нашей жизни. Стоял он метрах в двадцати от улицы, прямо на запад от подъездной аллеи. Он был очень высокий и почти лишен ветвей. Метрах в двадцати от земли находилась мощная ветвь, почти параллельно земле. На этой ветке Папа подвесил качели. Мы любили карабкаться вверх по этой своеобразной сучковатой деревянной лестнице, чтобы потом раскачиваться на веревке, которая была привязана к вязу и тянулась вниз до самого конца нашей длинной усадьбы. Согнувшись пополам, мы спускались, животом вниз, по веревке, которая начиналась высоко вверху и

доходила до уровня земли. Здорово! Полет над аллеей, к нашей задней двери, над лужайкой и до конца.

Соседей и гостей это обычно приводило в ужас. Папа был очень хорошим спортсменом. Он хотел, чтобы мы тоже стали такими — коль скоро мы живем. Мама, не будучи человеком спортивного типа, часто сильно переживала, глядя, как ее дочь раскачивается на этой трапеции над аллеей, высоко взлетая в воздух вверх ногами. Но молчала. Она считала, что это — смешное зрелище.

По воскресеньям и в праздничные дни мы ходили на прогулки в лес. Мы, дети, забирались в кроны. Раскачивали деревья, карабкались как можно выше, потом, крепко держась руками за ветки и вращая в воздухе ногами, пригибали верхушку дерева к земле. Легче всего это удавалось проделать с березой. Она легко гнется. Восхитительно!

Было очень весело. Благодаря Папе мы всегда были в центре какого-нибудь действа. А благодаря Маме мы всегда могли получить булочки, имбирную воду, сарсапарилью или березовый сок. Но самым замечательным ее подарком было то, что она позволяла нам шуметь и беситься! Никаких придирок. Можно ли сделать это? Да, можно! Но предварительно непременно поставить меня в известность.

У Папы, как я уже упомянула, был старенький автомобиль марки «максвелл», номерной знак 3405. С работы Папа обычно возвращался рано, в четыре тридцать. Он старался как можно больше времени проводить вместе со своими ребятишками. Но дети из ближайшей округи тоже обычно собирались в нашем дворе и ждали его. Мы все его любили.

Едва он показывался в поле нашего зрения, мы принимались кричать: «Тридцать четыре ноль пять, тридцать четыре ноль пять!» Он въезжал в аллею. Потом уходил переодеться, выпивал с Мамой чашку чая, а потом в течение следующего часа мы играли либо в бейсбол, либо в «бары». Когда на нашем собственном корте, когда на корте Беннетов.

Представьте себе, как доктор Томас Хепберн, мой отец, после снежной бури буксирует нас, сидящих в санках, на своем автомобиле по улицам Хартфорда, столицы штата Коннектикут, — от Готорна до Фореста, от Фарминтона до Вудлэнда, Эйсилима и Элизабет-парк! Или прямо из Вудлэнда в Кини-парк. От заднего сиденья тянулась веревка. Все машины были открыты — так, во всяком случае, мне кажется. Всякий, кто хотел прицепиться к машине, мог это сделать с помощью этой веревки. Всякий, кто мог, держался. Папа старался сбросить нас с санок на каждом повороте, переключая скорость. Избавиться от

меня ему никогда не удавалось. Замечательное удовольствие!

Помню, отмечали мой день рождения, и я подумала: ну, раз это мой день рождения, значит, я могу решать, во что нам играть. И выбрала «бары». Эта игра нравилась мне намного больше бейсбола.

— Бары! — объявила я.

— Нет, нет, бейсбол! — поднялся всеобщий крик.

— Но, Папа… Ведь день рождения мой, значит — за мной преимущество…

— Твое преимущество состоит в том, чтобы доставлять всем радость, — заявил Папа. — Ведь это твой день рождения.

И мы стали играть в бейсбол. Нечестно!

Еще один эпизод, очень похожий. Он произошел намного раньше, когда нам было лет по восемь.

На вечеринках, посвященных дням рождения, мы устраивали состязания. Подвешивали вырезанную из материи фигуру ослика — в натуральный рост. Гостям завязывали глаза и выдавали каждому по хвосту: нужно было приколоть его в нужное место.

Накануне я проделала кое-какую подготовительную работу. Я знала, где обычно подвешивают фигуру осла. Несколько раз прошлась по краю ковра, который я определяла подошвами: девять шагов прямо — поворот налево — высота хвоста.

Когда на следующий день мне удалось приколоть хвост почти точно туда, где ему положено быть, мать весело воскликнула:

— Боже, какая молодчина! Ты…

— Я выиграла! Я выиграла! — обрадованно завопила я.

— Нет-нет! — возразила мать. — Выиграть ты ничего не можешь. Это твой праздник. Ты раздаешь подарки.

Совершенно онемев, я подумала про себя: глупенькая, это — жизнь!

Первой нашей с Томом няней была Лиззи Байлз, жена Сесила Байлза. У нее был истинно английский характер и подчеркнуто прямая осанка. Позже, когда Мама стала активной участницей движения за права женщин и ее организация открыла свою штаб-квартиру на Прэтт-стрит, 22, Лиззи пригласили туда. Она умела печатать на машинке. Прощай, няня.

Необходимо упомянуть, что в течение всего этого времени у нас был повар — Фанни Сиарье, у нее был сын Марсель, мой ровесник, он постоянно жил у нас. Фанни была наполовину итальянка, наполовину француженка, слепая на один глаз. Она умела готовить буквально все. Когда нам требовалась служанка или нянечка — неважно кто, — Фанни выписывала их из Италии или Франции. Она была для нас истинным ангелом-хранителем и

прожила у нас всю жизнь. Когда же Фанни умерла, вслед за ней ушла и Мама.

Брат Фанни служил шеф-поваром в Хартфордском клубе.

Когда-то мои родители увидели опубликованное ею объявление. Она предлагала свои услуги. У Папы была теория: если хочешь нанять кого-нибудь, сходи к нему и посмотри, как он живет. Поэтому Папа и Мама пошли с ней познакомиться. В разгар встречи в комнате стало очень душно. Фанни встала и открыла окно. «Она права, — подумал Папа, — воздух тяжелый». И нанял ее — навсегда. На наше счастье. Она была чувствительной натурой.

Я училась кататься на велосипеде в Кини-парке. Мне было тогда года три. Велосипед был изготовлен специально под мой рост на заводе «Поуп». Папа посадил меня в седло, чуть подтолкнул — и я покатила с горки. Меня обуял жуткий страх. Внизу, мимо горки медленно шел маленький старичок — единственная человеческая фигура, которую я видела перед собой. Я катила прямо на него, точно притягиваемая магнитом, и, конечно же, благополучно наехала на старичка. Но ему не впервой было встречаться с маленькими детьми на новых велосипедах. Он поджидал меня.

Как бы там ни было, кататься я научилась довольно быстро. Прошло совсем немного времени, и Маме уже звонили: «Вашу Кэти только что видели на велосипеде, она проехала из Фармингтона мимо Сигорни вниз по холму».

— Да, — отвечала Мама. — Благодарю за звонок.

В том же парке меня понесла лошадь. В Хартфорде жила семья по фамилии Эннингер. Они брали лошадей напрокат из конюшен Второго взвода почетного караула в Фармингтоне, сразу за переулком Квакеров. Когда я училась в Оксфордской школе, — частной женской школе в Хартфорде, — у нас там в качестве обязательного предмета была верховая езда. Сержант Эннингер часто сажал меня на пони по имени Леопард. Пони был в крапинках, я в веснушках, и я нежно любила его. Шли годы. Я стала знаменитой и однажды отправилась к сержанту Эннингеру, чтобы взять напрокат лошадь. Он к тому времени перевел свою конюшню в Кини-парк. Он, наверное, считал, что раз я преуспела в своей профессии, то и ездить верхом стала куда лучше прежнего, а посему посадил меня на свою самую норовистую лошадь. И мы поскакали с места в карьер — мои сестры Мэрион и Пег и я — с безумной скоростью, рвя узду, по холмам и ручьям. Это слишком сильно сказано — «я держалась в седле». Но я чувствовала, что живу.

— Ну, Кэти, как справилась?..

Милый сержант Эннингер…

— Чудесно справилась. Ведь я здесь, правда?

Ребенком, когда мне было года четыре, меня определили в обычную начальную школу, которая состояла из подготовительной группы и начальных классов. Проучилась я там вплоть до пятого класса: идти мне было в восточном направлении по Готорн, потом поворачивала на север по Лорел-стрит через Фармингтон до Найлз, потом поворачивала направо, и с левой стороны передо мной оказывалась школа. Всего около мили. Я возглавила группу детишек, которые требовали, чтобы сержант полиции О'Молли по-прежнему нес службу на перекрестке Фармингтон-авеню и Лорел-стрит. Его решили было перевести в другое место.

А он был веселый, и мы написали прошение и добились своего. О'Молли остался.

На восточном конце Найлз-стрит находилась церковь Святой Троицы. Я дружила с дочерью пастора — Флоренс Миль. Она была красивой девочкой — курчавые каштановые волосы, пышные, длинные. Я же была усыпана веснушками, и стригли меня всегда «под мальчишку». В сущности, мне тягостно было сознавать себя девчонкой, имея трех братьев, — старшего Тома и двух младших, Боба и Дика. Мне всегда хотелось быть мальчиком. Если хотите знать, меня звали Джимми.

Интересно все-таки, на какие невероятные поступки способны иной раз дети. Мы учились тогда в пятом классе. Нашей учительницей была мисс Лайнс. Худая, высокая, строгого вида. Но очень мягкая душой. Я хорошо училась по ее предмету — арифметике. Она любила меня, а я любила ее. Мы очень привязались друг к другу.

Однажды во время второго завтрака мы с Флоренс наврали своим почтенным родителям, будто идем на ленч, а сами спрятались в школе. Все учителя обыкновенно уходили на второй завтрак в длинную узкую комнату — то ли на втором, то ли на третьем этаже, окна которой выходили на Найлз. Убедившись, что все учителя заняты едой, Флоренс (дочь священника) и я (дочь двух чрезвычайно «уважаемых» родителей) выскочили на улицу и во всю мощь наших юных легких вульгарными голосами стали вопить: «Старуха Лайнс! Старуха Лайнс!»

Этот наш поступок позорным пятном лег на школу, на наших родителей и, видимо, не на шутку озадачил мисс Лайнс. Мама велела мне отнести из дома в школу герань в горшке и подарить ее мисс Лайнс — в знак признания своей вины и своего раскаяния. Мисс Лайнс поставила горшок с геранью себе на стол, где он и простоял несколько недель, символизируя собой мое

унижение.

А в Калифорнии так много герани — она напоминает мне о том, что следует всегда помнить: согрешила — расплачивайся.

Мисс Лайнс простила меня. Долгие годы мы были друзьями.

Мама и Джо Беннет (миссис Тоскан Беннет) были неразлучными подругами и активными участницами борьбы за женские права: за контроль над рождаемостью, за признание прав чернокожего населения, против проституции. Мать Джо Беннет, Катарина Бич Дей, также входила в их организацию. Состоятельная — у нее была машина и шофер, коренная жительница Хартфорда, она пользовалась большим авторитетом в обществе. Еще Мама дружила с Эмили Пирсон из Кромвеля, штат Коннектикут, — дочерью владельца «Кромвель гарденс» (огромный комплекс оранжерей и теплиц, оптовая продажа, красивые розы). Эмили изучала медицину и впоследствии получила диплом врача. Она практиковала в Кромвеле и была очень отчаянным реформатором.

Это были женщины с сильными характерами, со средствами, с радикальными взглядами, что в ту пору значило немало.

Мужья в большинстве своем разделяли взгляды своих жен. Это было необычно.

У Папы были энергия и ум, но не было денег: весь доход его заключался в жалованье. У Тоскан Беннет были и деньги, и семейные связи в местной общине.

Наш дом во время чаепития превращался в место собрания. Нам, детям, разрешалось присутствовать, но разговаривать много не дозволялось, если вообще дозволялось. Мы познакомились с Эммелин Панкхерст, Маргарет Сэнгер, Ребеккой Уэст, Ричардом Беннетом и с кучей докторов и профессоров.

Папа попросил Джорджа Бернарда Шоу написать предисловие к «Испорченным вещам» — французской пьесе Бро о венерических болезнях. У него было сто экземпляров (или тысяча), которые он за свой счет отпечатал на английском языке и разослал по адресам вместе с объявлением о создании Ассоциации социальной гигиены. Он обращался к адресатам с просьбой вернуть ему стоимость книги, если она произведет на них впечатление. Его усилия на девяносто восемь процентов увенчались успехом. Ричард Беннет поставил пьесу на Бродвее. Он был отцом Констанс и Джоан.

Как-то, вспоминая об этом, я решила просмотреть папины письма в надежде обнаружить его переписку с Шоу. Безрезультатно. Он уничтожил ее. Ему было важно подготовить пьесу и представить ее людям на языке, который они понимали. Важно было сделать мир таким, в котором бы всем лучше жилось,

особенно обездоленным. Способствовать прогрессу.

Было много людей, которые упорно не соглашались с тем, к чему стремились Мама и Папа. Как я уже рассказывала, над нами потешались реакционеры, и мы почти привыкли к этому. Что бы ни предпринимали недоброжелатели, относись ко всему скептически. Улыбайся. Не слушай и не воспринимай дурное. «Доброе утро». «Благодарю вас». «Как интересно». «О, понимаю, она не слышала меня…»

Постепенно большинство встало на нашу сторону. И Мама была права, и Папа тоже, конечно. И мы, само собой, тоже были на правой стороне. Все ведь это было на благо беззащитных, угнетенных, бедных! То, за что боролись Мама и Папа, взяло верх.

Мы чувствовали, что наши родители лучшие люди на свете, и были безумно счастливы, что мы — их дети. И по сей день мы испытываем это чувство.

Часто моя сестра Пег — ныне она занимается фермерством, — заглядывая мне в глаза, спрашивает:

— Помнишь, как было с Мамой и Папой? Разве мы не были счастливы?

И мой брат Боб — врач, его переполняет гордость за них. И Дика — он драматург — тоже.

Все мы сознаем, что родились под счастливой звездой. Я вспоминаю о тех вещах, которым училась и от которых одновременно получала удовольствие.

Все виды спорта — гольф, теннис, прыжки в воду, плавание, бег, прыжки в высоту… Папа взял на себя устройство хорошего мостика и вышки для прыжков в воду на пирсе. Борьба, акробатика, гимнастика в Фенвике. Он завел обычай проводить соревнования — легкоатлетические матчи. Наша семья выиграла так много первых мест, что они могут быть показателем числа побед, которые способен одержать один человек.

Мои любимые прыжки в воду. Черт возьми, я люблю все виды спорта! Я была худенькой, очень сильной и до безрассудства бесстрашной. В Фенвике был пирс, а на пирсе вышка для прыжков. Расстояние от нее до воды, естественно, было непостоянным: оно зависело от приливов и отливов. На пирсе были перила — приблизительно в метр-полтора высоты. Чтобы лучше прыгнуть, я часто становилась на перила, спрыгивала с них на край мостика и кидалась в воду — «складным ножичком», «по-лебединому», с оборотом в полтора винта или кувырком. Прыгая с разбега, я делала оборот в полвинта; с места — задний флип или задний кувырок. Было здорово.

Все эти сложные прыжки я выполняла, разыгрывая целое представление. Однажды у нас был турнир. Моя замечательная

подружка Али Барбур — я буду много рассказывать о ней в главе, посвященной Фенвику; кстати, она не была спортсменкой — выполняла «молитвенный» прыжок. Так он называется: встаешь на колени на краю вышки и падаешь вниз.

Так вот, у нас проводился турнир по прыжкам в воду, модный для того времени. Я рассчитывала стать победительницей. Сделала свои полвинта. Это едва ли не самый рискованный прыжок, какой только можно себе представить. Соскок с края вышки — выброс одной ноги вверх — прогибание спины — подведение другой ноги к первой — вытягивание носочков — вхождение в воду спиной назад к вышке. Я проделала это блестяще, как мне показалось. Али выполнила свой «молитвенный» прыжок — мило, как мне подумалось. Победу присудили Али Барбур. Можете себе представить? Мне сказали, что я развела ноги и не оттянула носочки. О, какое горе! Мои носки. Настоящий позор. Проиграть «молитвенному» прыжку! Можете себе вообразить такое?

Особое пристрастие мы с Бобом питали к гольфу. Летом мы жили в Фенвике, где имелось частное девятилуночное поле, и нам, как очень маленьким, разрешалось играть на нем в любое время, мы обычно начинали в пять. Папа был непревзойденным снайпером. Когда мне было то ли двенадцать, то ли тринадцать, Мама записала меня в Хартфордский гольф-клуб, где я занималась у одного англичанина по имени Джек Стейт. Боб был очень способный мальчик. Мы действительно многому научились. Мама, никогда не занимавшаяся спортом, не поощряла гольфа, плавания и прыжков в воду. Она верила в образование.

Той зимой мы жили в Хартфорде, и я решила брать частные уроки, вместо того чтобы ходить в Оксфордскую школу. Мне хотелось иметь возможность каждый день играть в гольф. Собственно говоря, мне вообще не хотелось нигде учиться: я имею в виду в школе. Слишком много девочек. Слишком много любопытства. Я расскажу почему.

Мой брат Том, который был старше меня на два с половиной года, только что умер при странных обстоятельствах. Я всегда восхищалась им. Мне было тогда четырнадцать лет.

В самом деле, смерть Тома осталась загадкой. Шла пасхальная неделя. Кингсвуд — хартфордская частная школа для мальчиков — закрылась на каникулы. Мы с Томом поехали в Нью-Йорк в гости к тете — Мэри Тоул. У нее был прелестный дом на Чарльтон-стрит в Вилледж. Когда-то она вместе с Мамой училась в колледже Брин Мор. С тех пор они были очень дружны. Тетя Мэри была адвокатом. В соседнем доме по Чарльтон-стрит жила Берта Рембо, судья по профессии. Они были компаньонками. Обе

были очень красивы и очень удачливы. Мэри Тоул никогда не выходила замуж. Мы называли ее Тетушкой, и она была великодушна и весела. Когда мы приезжали к ней в гости, она водила нас на спектакли и знакомила с достопримечательностями большого города.

На сей раз мы ходили в театр смотреть «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

В сущности, я уже не могу вспомнить, чем, собственно, мы были заняты, когда вернулись домой из театра. Но одну деталь я хорошо помню, поскольку упомянула о ней, когда рассказывала потом о случившемся. Том тогда, взглянув на меня, произнес такую фразу: «Ты моя девочка, правда? Изо всех девочек на свете ты для меня любимей всех». Зачем я упомянула об этом? Правда ли это? То есть действительно ли Том произнес такие слова? Теперь я уже не знаю.

Живя у тетушки Мэри, Том обычно спал в мансарде дома, в своего рода художественном салоне. «Салон» был битком набит старым хламом и чемоданами и не имел потолка — только балки да крыша. Постелью ему служила стоявшая у стены раскладушка.

А факты таковы. На следующее утро я поднялась наверх, чтобы разбудить его. Вижу: он рядом с постелью, колени подогнуты, висит на жгуте, свитом из разорванной простыни. Жгут был привязан к балке. Он был мертв. Повесился.

Абсурд.

Находясь в состоянии немого шока, я обрезала жгут и опустила Тома на постель.

Том был мертв. Просто мертв.

Да. Я дотронулась до него. Холодный. Мертвый.

Что было делать? К кому обратиться? Тетушка слишком эмоциональная — она сошла бы с ума.

Врач. Найти врача.

Я сбежала вниз и выскочила на улицу. На одном из домов напротив я видела раньше табличку с надписью: «Доктор такой-то». Я подошла к двери и нажала на звонок. Было около восьми часов утра. Дверь открыла женщина.

— Да?

— У меня умер брат.

Секундная пауза.

— Что? — переспросила она.

— Брат. У меня умер брат.

— Значит, врач уже не может ему помочь?

— Не может.

Клац!

Она закрыла дверь. Просто взяла и закрыла.

Секунду-другую я стояла. Нет — да… Действительно, врач уже ничего не может сделать. Слишком поздно. Она права. Врач ничем не может помочь… О, милая бедная Тетушка. Она…

Лучше мне вернуться в дом.

Я подошла к входной двери дома тети Берты, нажала на звонок. Она открыла. «Том умер», — сказала я. И разревелась. Так, мне казалось, надо было поступить. Люди умирают — вы плачете, но внутри я была как замороженная.

Тетя Берта выслушала меня. Позвонила Тетушке. Потом вызвали Маму и Папу. Они с Джо Беннет приехали в Нью-Йорк.

Я хорошо помню тогдашнее смятение. Мы везли тело Тома через Гудзон на пароме в крематорий в Нью-Джерси. Помню, что я с Папой стояла на носу парома. Я глядела на Маму — она стояла с Джо Беннет, примерно в шести метрах от нас. Она плакала. Моя Мама плакала! О Боже! Чем ей помочь? Мне еще ни разу не приходилось видеть, чтобы моя Мама плакала. И потом я никогда не видела ее плачущей. Она была стойкой.

Ей немало пришлось пережить в жизни. Самоубийство отца. Смерть матери от рака в тридцать четыре года. Ей в ту пору было шестнадцать. Бремя ответственности за двух своих сестер — совсем еще детей двенадцати и четырнадцати лет. Если она и плакала, то только наедине с собой.

Мой отец не плакал. Он принимал жизнь такой, какой она ему открывалась.

Я только однажды видела его — как бы это сказать? — подавленным. Это случилось в начале 1951 года. Папа и я поехали в Фенвик. Маму мы оставили в Хартфорде, чтобы она смогла вздремнуть после обеда. Вернулись в пять — к чаю. Вошли в дом, прошли в гостиную. Камин не горел. Кресло Мамы было пусто. Камин не горит? Мы помчались наверх, распахнули дверь спальни. Мама лежала на постели — мертвая.

Я взглянула на Папу.

— О нет, нет, — прошептал он. — Я не могу… Она не может…

— Идем вниз, папочка. Идем вниз… Не гляди, не надо…

Отдыхала Мама каждый день. Это было настоятельной необходимостью. Вероятно, она стала одеваться к чаю и почувствовала себя плохо. Прошла из своей туалетной комнаты в спальню, легла на постель, левой рукой потянула на себя покрывало… и умерла.

Я стояла. Моя Мама мертва — моя дорогая мать — единственная на свете — ушла.

Я взяла ее руку — еще теплую, отжала ее пальцы от простыни, поцеловала ее и спустилась к Папе.

Никаких прощаний. Ушла — и все.

Когда умер Том, Мама ходила на кладбище на кедровом холме хоронить урну с его пеплом, но впоследствии никогда уже не упоминала о нем. Она ни разу не произнесла: «Я пойду на кладбище». Не делал этого и Папа. Они вернулись в жизнь.

Сначала газеты писали, что Том совершил самоубийство. Причин, которыми можно было объяснить такой поступок, не находилось.

Потом Папа заявил: весьма вероятно, что Том, видимо, тренировался в повешении. Папа рассказывал нам раньше, как в детстве Том делал такой трюк — притворялся, будто он повешен.

На футбольные и бейсбольные матчи приезжали команды с Севера страны. Им было хорошо известно, как южане относятся к неграм. Им казалось, что и виргинцы — Папа был виргинцем — жестокие и презирают негров. Чтобы вывести эти команды из равновесия, виргинцы обучили нескольких негров притворяться, будто они повешены. Папа был специалист в этом трюкачестве. Нужно было держать шею в определенном положении, чтобы иметь доступ к воздуху.

Опасное развлечение. Может статься, что Том отрабатывал этот трюк и вместо веревки использовал простыню — петля оказалась скользкой и он не смог от нее освободиться? Папе казалось, что это наиболее приемлемое объяснение. И как это, наверное, мучило Папу, но мы никогда не говорили об этом.

Никто из семьи или близких друзей Тома не мог представить себе, зачем бы он сделал это умышленно.

Джимми Соуби, вместе с Томом учившийся в Кингсвуде, считал, что причин у него не было. Том был на хорошем счету в школе: староста, отвечающий за дисциплину, прекрасный спортсмен, превосходный ученик, вожак мальчиков. Зачем?

Приходила на ум и такая мысль: может быть, у него возникли какие-нибудь трудности из-за девушки, которая ему нравилась, и он не выдержал и, может, в приступе отчаяния… Как бы там ни было, ни теперь, ни потом никогда нам не узнать — почему.

Поначалу мне казалась невероятной мысль о том, что он тренировался в повешении. Теперь я сомневаюсь. В глубине души — сомневаюсь.

Удивительно, как запомнилось мне поведение Папы и Мамы. Они никогда не стенали, независимо от повода, — в силу бесполезности этого занятия.

Реальностью было одно — Том умер. Сначала, находясь в состоянии жуткого шока, Мама заплакала. Да. Но она никогда не позволяла факту его смерти угнетающе действовать на семейную атмосферу. Наш дом не был средоточием грусти.

У моей сестры Пег был сын Том, который погиб во время войны во Вьетнаме. Сначала пришло извещение, что он пропал без вести, потом вторичное — что погиб. Однажды племянница стала рассказывать о нем — он был таким-то и таким-то — другим младшим детям. Ее рассказ услышала Пег.

— Не надо об этом рассказывать! — сказала она дочери.

— Но… — возразила та.

— Никаких но, — строго ответила Пег. — Он умер. Мы все любим его, но его больше нет. Не трави себя. Это бесполезно.

Она, конечно, права.

Как бы там ни было, этот случай как бы отделил меня от того мира, какой я знала прежде.

Я попыталась было ходить в школу, но — надо сказать — я была… я чувствовала себя одинокой. Я знала нечто такое, чего не знали девочки: трагедию.

Их распирало любопытство, а я не любила разговоров на эту тему, вообще ее не касалась — не хотела, не говоря уже о том, чтобы обсуждать подробности. Учебный год закончился в конце мая, и я уже не вернулась в школу. Осенью начала брать частные уроки у учителей.

К счастью, я была рослой для своих лет и хорошо водила, поэтому Мама разрешила мне ездить на своей машине к преподавателям: физика, английский, французский, история. Я могла бы делать это и на велосипеде, но на машине было куда лучше. Поскольку начальник полиции был постоянным клиентом Папы, его подчиненные старались не замечать меня. В самом деле: все шло хорошо до того злополучного дня, в который нам с Мамой предстояло поехать в Брин Мор. Я отправилась в Хартфордский гольф-клуб, чтобы взять там свои клюшки. Я много слышала о Мэрионском крикет-клубе, а так как он находился рядом с Брин Мором, то и решила вступить туда.

Я ехала по Эйсилим-авеню — широкому проспекту, — когда справа, с боковой улицы выехал старичок, за ним было преимущество проезда. Чтобы не столкнуться с ним, я выскочила на встречную полосу. Вместо того чтобы резко развернуться и тем самым избежать аварии, он сделал тот же маневр, что и я, и мы благополучно столкнулись. В довершение всего я успела еще снести полицейскую будку с телефоном. К тому же я разбила бок машины старичка. Сам он, слава Богу, не пострадал. Он расплакался и обнял меня. Ну, решила я, теперь самое время, наверно, и мне поплакать. Так я и сделала.

Начальник полиции позвонил Папе:

— Привет, Хеп. Вы слышали насчет Кейт?

— Она столкнулась с одним старичком на Эйсилим.

Врезалась ему в бок. Разумеется, он виноват, но и она, конечно, не права.

— Да, именно так. Хотя вот еще, Хеп, она снесла полицейскую будку. И мне ужасно неприятно говорить, но передок твоего старенького «рео» тоже совсем плохой… О, думаю, пяти сотен вполне хватит, чтобы покрыть все издержки, Хеп.

Мама и я отправились в Брин Мор поездом.

Достаточно происшествий!

Мои ученические годы были очень приятными. Как уже сказано выше, я ежедневно занималась гольфом у Джека Стейта. Похоже, из меня получался очень хороший игрок. Я могла бить почти на милю и очень технично работала с шарами. Единственное, в чем была слабовата, — это ведение клюшкой. О Боже! Интересно, тряслись ли тогда у меня голова и руки. Не то чтобы это было уж очень заметно, а просто чувствовалась неуверенность. Словом, как бы там ни было, но гнать мяч в лунку легкими выверенными ударами я не умела. И тогда — и теперь — и всегда.

Меня очень утешало то, что я не обязана ходить в школу и общаться с девочками. Мои две действительно верные подруги — Али Барбур и Тимми Робинсон — бросили Оксфорд и поступили в школу Этель Уокер в Симсбери. Относительное одиночество не угнетало меня. У нас была швея — Мэри Райан, которая, как правило, приходила по четвергам. Я всегда с ней беседовала. Она была ирландкой. Очень красивая женщина. А еще у меня был свой маленький театр, который я сама смастерила из деревянного ящика. В днище ящика через каждые полдюйма были сделаны щели, в которые можно было вставлять декорации и актеров. Я сочиняла разные сюжеты.

Был у меня и занавес, который можно было поднимать и опускать. Я показывала представления братьям Дику и Бобу. Им вроде бы нравилось.

По субботам Папа водил нас в кино на вечерний сеанс. В городе было три кинотеатра, которые мы могли посещать, — «Стрэнд», «Мэджестик», «Эмпайр». В «Эмпайре» показывали вестерны, и там легко было парковать машину. Немые картины с Томом Миксом — Уильямом Хартсом. Мои вестернские киногерои. Я обожала кино. До сих пор обожаю. Какое замечательное искусство! Леатриче Джой и Томас Мейан в «Непреднамеренном убийстве».

Я должна рассказать все до конца. Был еще кинотеатр «Поли» — на Мейн-стрит. Мы никогда не ходили туда, потому что там демонстрировали водевили, а Папа был к ним абсолютно равнодушен. И вот однажды произошла забавная история. Мама

почти никогда не бывала с нами в кино. Ей казалось, что кино — это глупо. Ну да ладно. Помню случай в «Мэджестик». Поскольку Папа оказался занятым, в кино нас повела Мама. Картина была очень сентиментальная, но Маму она почему-то необычайно забавляла. Мама смеялась во весь голос прямо-таки гомерическим смехом и никак не могла остановиться. В партер спустился билетер и попросил ее покинуть зал. Мне было стыдно. Такой позор. Понимаете, Мама просто не получала удовольствия от киносюжетов. Она была очень рациональна. Удивительно, что волею судеб у нее родилась дочь, ставшая кинозвездой.

Родители, как правило, смотрели все хорошие пьесы, которые шли в театре Парсона. Если мы изъявляли желание посмотреть спектакль, они покупали нам билеты на дневное представление. Наши посещения были нечастыми. Я подговаривала Дика и Боба ходить в аптеку и покупать там для меня киножурнал. Журналы эти казались мне замечательными. Одновременно они покупали себе и мне сливочное мороженое, покрытое фруктовой помадкой и шоколадным порошком. Такое мороженое называлось «шоколадным империалом». Деньги на эти деликатесы я зарабатывала уборкой снега с нашей аллеи зимой и обрезкой веток и стрижкой травы на лужайках в остальное время года.

Дом № 133 по улице Готорн, так давно занимаемый нами, подлежал сносу, и «Эрроу электрик» намеревалась расширяться именно за счет поглощения территории нашего участка.

Папа, с четырьмя детьми и с пятым на подходе, не мог ждать в такой ситуации. Он нашел дом № 352 на Лорел-стрит, даже в малой степени не идущий в сравнение по красоте с домом № 133, но лучший из того, что имелось в наличии на то время. Папа отремонтировал его, причем за вполне умеренную сумму. Мы собирались уже было переезжать, как вдруг «Форест стрит ассошиэйшн» приобрела дом № 133 как исторически ценное здание. Они тут же поставили в известность Маму. Она стала уговаривать Папу остаться в старом доме. Однако Папа проявил твердость и отказался. Сказал, что он арендовал дом на два года и что назад хода нет. И мы переехали.

Мама обожала дом на Готорн, и он и усадьба имели какой-то неуловимый шарм и индивидуальный облик. Она расстраивалась при мысли о доме на Лорел-стрит. Я считала, что Мама права: дом № 133 был и неповторим, и красив; дом же № 352 был в самом деле неказист. Бедная Мама. Она так никогда и не смогла забыть этого. Мне пришла на память такая мысль: если у вас есть выбор, следует быть очень предусмотрительным, чтобы не пойти по какой-то дороге лишь потому, что вы так предварительно запланировали. У вас есть выбор, будьте очень внимательны,

чтобы не оказаться под сильным влиянием того, что имеет существенное значение только в беге на длинную дистанцию. Мы не были богаты, и Папа думал о потраченных деньгах.

Мы жили в доме № 352 и, кроме того, купили часть усадьбы по адресу Блумфилд-авеню, 201, что напротив Хартфордского университета. Там мы собирались построить замечательно красивый дом.

Том и я родились на Гудзон-стрит, в доме № 22.

Дик и Боб родились в доме № 133.

Мэрион и Пег родились в доме № 352.

Сейчас я в Хартфорде, куда частенько приезжаю. Еду по нему на своей машине — из Нью-Йорка. Только что миновала Капитолий и Лорел-стрит. Тут теперь большая автострада. Она строится уже несколько лет. На месте вон той развилки стоял аптекарский магазинчик — «Чайльдс». Одно из моих преступлений состояло в том, что я имела обыкновение увеличивать там наш кредитный счет. «Херши», шоколадки и лакричные палочки. Поскольку я не знала удержу, кредит в конце концов должен был прекратиться. Я с удовольствием могу съесть и сегодня полкилограмма шоколада — благодаря магазинчику «Чайльдс». Тренировка — великая вещь.

Кстати, если вы едете по Лорел мимо Капитолия и потом по железнодорожному мосту — к перекрестку Лорел и Готорн (которая справа от вас), — то оказываетесь в том месте, где раньше располагались «Гросери Мэрфи» и «Батчер шоп». Здание все еще стоит. Корзиночки с инжиром, воздушные бисквиты — «убийственный» букет из шоколада и зефира на ванильной булочке (они были настолько приятны на вкус и настолько быстро съедались, что их перестали выпекать). Да, мистер Мэрфи, кто бы вы ни были, я хорошо вас помню. Те квадратные жестяные коробочки со стеклянными окошечками, через которые можно было видеть, что находится внутри, — не чета нынешним стандартным упаковкам. И мистер Мэрфи позволял нам пробовать его сладости.

Что же, пора покинуть магазинчик Мэрфи и повернуть либо налево, либо на запад по Готорн, к дому под номером 133. Сначала завод — «Эрроу электрик компани», потом угол нашей лужайки с фасадной стороны. Аллея.

Наш дом в стиле викторианской готики — три островерхих фронтона, украшенных кружевной отделкой черного цвета, — исчез. Аллея — деревья, затейливые и простые, — ручей — бледно-желтые нарциссы. Ничего нет. Даже ручей замурован в трубу. Что ж, таков стиль сегодняшней жизни: «трубные» вещи — консервированные вещи — замороженные вещи —

компьютеризованные вещи. Надо бояться этого. Втискиваясь в квартиру под номером ХУ-133-609-00, лишенную простора и воздуха, нельзя развить восприимчивый к красоте ум, богатое воображение или независимый дух. Да, конечно, нас так много, и нам необходимо экономить пространство.

А все же они оставили нетронутой северную часть Нук Фарм. Она включает прилегающий участок Форест-стрит. Дом Марка Твена и дом Гарриет Бичер Стоу. Моя сестра Мэрион участвовала в кампании по их спасению. Сколько труда пришлось приложить, чтобы отреставрировать их. И хотя эти здания относятся к эпохе, в которой жило предыдущее поколение, тем не менее это та самая атмосфера, в которой воспитывалась и я: покрытые циновками полы наверху, стиль камина — панели, сланцевые и мраморные, кухни с окнами, сделанными «запрудой», чтобы ловить солнце… Удобные для отдыха уголки. Все в доме задумано так, чтобы человеку жилось удобно и приятно. Пойдите и посмотрите на него. Обратите внимание на детали. Все строилось с такой тщательностью. Ковры и отсутствие оконных занавесок на южной стороне. Цветочные натюрморты Гарриет Бичер Стоу. Мебель, которую она раскрасила. Сад — она выращивала помидоры и герань. О, герань!

Как я уже упоминала, в детстве я ездила по Хартфорду на машине, когда мне нужно было попасть на уроки к учителям. Без прав, конечно. Так вот, я поворачивала с Эйсилим в южном направлении на Авеню. На углу Элизабет-парк меня останавливал строитель, копавший канаву. Мы приветствовали друг друга взмахом руки и улыбкой всякий раз, когда я проезжала утром. И вот однажды он остановил машину, подошел и протянул мне большую коробку конфет. Я сильно разволновалась. И уехала. Тем же вечером за ужином рассказала об этом событии Папе и Маме. Папа пришел в ярость.

— Обязательно верни ему эту коробку.

— Но я уже съела половину…

— Ты должна непременно вернуть ее. И не смей больше останавливаться.

Возвращать наполовину пустую коробку я, конечно, не собиралась — просто изменила свой маршрут.

В ту пору Эйсилим тянулась только до Стил-роуд, постепенно превращаясь в тропинку: кусты, деревья… Понимаете — фактически пыльная стежка. И когда мы были совсем девочками, нас предупреждали, как опасно ходить по ней: из кустов могут наброситься на нас неизвестные мужчины — представьте себе!

— И что же ты сделала? — поинтересовалась я у подруги, которая рассказывала мне о том, как это случилось с ней. — Что

ты сделала? — спросила я.

— А ты как думаешь? Я глядела. А он этого и хотел, понимаешь?

— Ну да, конечно, — ответила я.

И теперь я всегда улыбаюсь, когда сворачиваю с Эйсилим мимо Стил-роуд. Ну да, вам смешно: действительно — «именно этого он и хотел».

Разве не забавно? Хартфорд для меня делится, собственно, на два города: на тот, каким он был, и на тот, какой он теперь. Я еще вернусь к этой теме более детально, а пока пропущу несколько лет и обращусь к настоящему.

Коннектикут. Разве мы не счастливы? У нас чудесные полевые цветы, парки, холмы, красивые старые дома. Мы живем в своем ритме: иногда медленном, иногда быстром. Реки, водоемы, Лонг-Айленд-Саунд. Чудесный климат, деревья, сады, снег, дождь. И все хорошо соразмерено: ни велико, ни мало.

Да, это — моя родина. Я застряла в снегу. В ураган потеряла здесь дом. И здесь играла в теннис. Играла в гольф. Было весело. Я жила тут и буду тут похоронена.

Тут же, 12 декабря 1928 года, я вышла замуж за Ладди. Дедушка Хепберн отслужил молебен. Там же состоялась свадьба Мэрион и Элсуорта. Пег и я были подружками невесты. Тут умерли Папа и Мама. Мама в 1951-м, Папа в 1962 году. Сайте (второй жене Папы — Мадлене Санта Кроче) было невмоготу одной жить в таком большом доме. Она переехала к своей сестре.

Папа фактически был последним обитателем хартфордского дома.

После смерти Мамы он женился на Санте. Она была одной из его медсестер. Я всегда чувствовала, что Папа женится на Санте, потому что ему не хотелось, чтобы кто-то из детей думал, что должен взять на себя заботы о нем. Это сработало. Санта всегда его любила, и это радовало. Благодаря Папе ее жизнь пополнилась новыми впечатлениями. Они побывали в Греции и Египте. Я ездила с ними дважды. Раз их сопровождала моя калифорнийская подруга Франсис Рич — было весело. Потом Папа заболел.

В 1960-м, 1961-м, 1962 годах Папа хворал. Санта очень о нем заботилась, и временами, когда ей приходилось совсем уж нелегко, ей помогала моя секретарша, Филлис, с которой вы познакомитесь позже.

Помню, как я долго-долго разговаривала по телефону о Папе с братом Бобом. Я тогда вместе со Спенсером находилась на Западном побережье, поэтому не вполне могла оценить состояние Папы. Он не любил жаловаться на свое здоровье. Он просто

никогда не говорил, что страдает. Вообще же, по словам Боба, у Папы было тяжелое состояние. Обнаружилось, что у него лопнул мочевой пузырь, что в нем полно камней, в печени — тоже, да и желчи еще, разумеется. Его организм непрестанно подвергался отравлению. Боб сказал, что боль, вероятно, была поистине мучительной, — но ни слова жалобы. Папа считал, что стенать по поводу здоровья — отвратительное занятие. Его оперировал доктор Уэллис Стэндиш. Кровяное давление у него было настолько низким, что в конечном счете отрицательно повлияло на его способность думать и говорить. Позже ему пришлось делать операцию простаты. Эту операцию провел Боб. Было непривычно оперировать близкого родственника, но Боб решил, что сумеет сделать ее лучше всех. Это была его специальность. И он сделал операцию. Боб сказал, что Папа во время операции вел себя так, будто был спокойным наблюдателем своей собственной кончины — не произнес ни звука. Он просто терпел или перехватывал взгляд Боба и улыбался или подмигивал ему.

На короткое время я вернулась в Хартфорд. Папу поместили на первом этаже, в кабинете, где, к счастью, имелась совмещенная ванная комната. Он выглядел довольным, как всегда, но чувствовал себя намного слабее.

Однажды утром Боб и я завтракали в столовой напротив залы. Мы заглянули посмотреть, как чувствует себя Папа, а он, казалось, тихо покидал этот мир: улыбался и смотрел на нас, а потом вдруг перестал дышать, и у него отвисла челюсть. Он закрыл глаза — ушел — просто ушел. Боб и я сидели возле него. Какой замечательный человек был наш Папа. Такой сильный. Такой цельный. Такой стойкий и веселый. Его никогда не забудут. Он всегда будет жить в нашей памяти.

Вспоминая об этом, Боб каждый раз замолкал — чувства просто переполняли его. Его память была свежа — способность Папы терпеть боль казалась ему невероятной.

Так шел к своему концу этот очень энергичный человек. Ему было восемьдесят с небольшим. Он определил для себя жизненное кредо и следовал ему неуклонно: «Налегай на весла своей собственной лодки».

Какие чудесные образцы жизни дали нам наши родители! О, мы были такие счастливые!

Санта прожила в доме несколько лет, а потом все-таки решила переехать к своей сестре. Жить одной в таком просторном доме было и тоскливо, и неуютно. Она сообщила нам о своем решении.

Боб не хотел там жить. Пег не могла. Не могла и я. Дик жил в Фенвике. Жизнь в доме на Блумфилд-авеню под номером 201

закончилась. Осталось только все убрать, выехать и передать дом Хартфордскому университету.

Переезд был для всех нас нелегкой работой и очень-очень грустной — это был конец нашего начала.

Фенвик

Сейчас лето, и мы едем в Фенвик. Фенвик был и остается еще одним райским местом для меня. Он расположен в устье реки Коннектикут, километрах в шестидесяти от Хартфорда. Папа открыл его в 1913 году. Мне было пять с половиной.

В ту пору Фенвик был глухим местечком, в котором насчитывалось примерно сорок домов. Дома были большие, покрытые дранкой, обшитые досками. Трехэтажные. Немножко в викторианском стиле. Большие веранды. Очень каменистые тогда и с множеством казарок отмели; пирс — на фундаменте пирса большая, типа павильона, купальня, существующая и ныне.

Когда-то тут (на месте современной площадки для гольфа), а именно — между первой и девятой (последней) лункой, стояла огромная старая гостиница.

На северо-восточном выступе находился яхт-клуб.

Это полуостров, языком загибающийся от Сейбрука на юг. Тогда он походил на кончик носка. Фенвик фактически весь окружен водой. Он лежит напротив Лонг-Айленда, точнее — южной оконечности Лонг-Айленд-Саунда. Прямо на восток от него, через реку Коннектикут, находится Лайм. Западная его часть подходит к устью реки.

Первоначально это место именовалось Линд-Фарм. На самой южной оконечности — на кончике носка — стоит красивый старый маяк, построенный приблизительно в 1760 году. Позже, в 1860 году, построили внешний маяк, который соединялся с берегом волнорезом. Он позволял регулировать движение по реке Коннектикут.

Все знали друг друга. Большинство жителей приехало из Хартфорда с Вашингтон-стрит. Это — семьи: Брейнард и Брейнерд, Дэвис и Балкли, Бакли и Гудвин. Они были очень симпатичные люди — все республиканцы — все сторонники «Этна лайф иншурэнс компани».

В 1917 году, волею счастливого случая, старый отель и яхт-клуб дотла сгорели при жестоком западном ветре. (Случай счастливый, но случай ли?) Ветер снес два питейных заведения, которые давали незначительный доход общине. Поскольку Фенвик в большей своей части принадлежал «Этна лайф иншурэнс компани», пожар был весьма заметным событием. Все

были застрахованы «Этной». Поэтому никто не хныкал. А после исчезновения баров исчезли и воскресные любители выпить.

Для детей это был поистине райский уголок. Я уже говорила, что там имелось девятилуночное поле для игры в гольф, принадлежавшее частному лицу. Детям позволялось играть на нем при одном условии: нужно было только хорошо себя вести. Было два теннисных корта. Теперь их четыре — один с цементным покрытием, остальные — с земляным. Поле для гольфа теперь уже не частное. На нем теперь новые, очень хорошие лужайки и трапы, и оно вполне рентабельно. Для меня это и в самом деле — часть моего «я». Одно слово — рай. Я всегда чувствовала себя здесь абсолютно свободной, раскрепощенной. Я здесь своя с шести лет. Вчера вечером мы посидели за рюмкой вина с человеком по имени Джек Дэвис, у которого я выиграла скачки в три ноги, когда нам было лет по десяти — тому уж семьдесят лет назад. Теперь Чарли Брейнард и я — самые пожилые из аборигенов. Картина жизни здесь такая же, как и везде.

Фенвик был для нас замечательным местом. Это была в полном смысле летняя колония, которая к началу сентября, когда начинались занятия в школе, пустела.

В детстве мы вместе с подружкой Алисой Барбур позволяли себе весьма опасные авантюры. Мы с ней были тайными взломщиками. Дверей мы не ломали, но внутрь дома нам всегда удавалось проникнуть и без этого. Однажды мы влезли в чей-то дом через окошко в подвале. Именно тогда я украла щипцы для колки орехов. Принесла их домой, спрятала у себя в спальне, а потом почувствовала себя такой виноватой, что вернула. Нас никто никогда не заставал на месте преступления. Я была исполнительницей, Али — мозговым центром.

Одной из таких наших безрассудных авантюр было проникновение в дом Ньютона Брейнарда. Дом был очень большой и высокий. Я вскарабкалась на крышу третьего этажа. Али не могла подняться так высоко. Внутрь пришлось спускаться через застекленный верх мансарды, лаз в которую по беспечности оставили незапертым. Потом, очутившись на втором этаже, я открыла окно и впустила Али. И вот — я сняла крышку лаза. Внизу была кромешная тьма. Чернота. Спрыгнула вниз. К счастью, я приземлилась на пол холла третьего этажа, чуть-чуть не угодив в пролет винтообразной лестницы, которая вела на первый этаж. Это был весьма волнующий момент. Жуткий.

Забавно, что о наших похождениях никто даже не подозревал до тех пор, пока Али не завела дружбу с парнем по имени Боб Пост. Он составил нам компанию в очередной нашей вылазке —

последней, как оказалось. Нам не удалось найти никакой лазейки. «Давайте выбьем дверь — заднюю», — предложил Боб. Мы взяли двухметровый чурбан и шарахнули им по двери. Естественно, не обошлось без шума, и повар из соседнего дома увидел все происходящее.

Проникнув внутрь, мы наткнулись на коробки с пудрой и пуховками. Разодрали эти коробки и обсыпали пудрой панели на стенах. Словом, учинили настоящий погром. Нас, разумеется, застукали. Бедному Папе пришлось заплатить за причиненный нами ущерб, а мы же были опозорены. Я никогда больше не пользовалась услугами Боба Поста.

Кроме того, вместе с Али Барбур мы осуществили постановку настоящей сказки — «Красавица и Чудовище». Я изображала Чудовище, Али — Красавицу. Пьеса разыгрывалась у нее на веранде — публика сидела на лужайке между их домом и домом их соседей. Пришли все, и мы собрали семьдесят пять долларов, на которые купили потом проигрыватель для индейцев навахо. Об их проблемах мы узнали на одной из воскресных проповедей епископа Нью-Мексико. Мы были преисполнены самых благородных побуждений.

В Фенвике у нас проводились замечательные гонки на треке, а также соревнования по прыжкам в воду, эстафеты и скачки в три ноги. Это были захватывающие состязания. Да-да, именно так. Мы все были так молоды.

Наш дом стоял на восточном краю жилой застройки. С трех сторон перед нами была водная гладь, а с востока — широкое безлюдное пространство.

Спустя годы Папа устроил небольшие мостики, одним концом уходившие в воду. По ним мы сбегали на очень красивый песчаный пляж.

Во время урагана 1938 года, снесшего наш дом, дом семьи Брейнардов был разрушен — рухнула вся тыльная сторона. Морган Брейнард купил после этого дом Прентис-Пост, который стоял на относительно возвышенном месте — не очень уютный, зато там спокойнее.

Сейчас он — предмет моей головной боли. Видите ли, в настоящее время этим домом владею я. То есть вообще-то я им не владею. Надо сказать… В общем, владельцев у этого дома — куча, и каждый в принципе считает, что он хозяин этого дома. Мы въезжаем в подъездную аллею, паркуем наши машины, входим в дом, садимся, где нам нравится. То есть, не то чтобы, где нам нравится… Но… Позвольте объяснить. У нас есть большая кухня. Раньше вместо нее было две комнаты — кухня и кладовая, но моему брату Дику это было не по вкусу, и он убрал стену, и

теперь… Ну, можете себе представить. Впервые увидев это нововведение в доме, я очень удивилась.

Как бы там ни было, теперь это одна большая кухня. В ней две раковины — двойные. Одна большая плита — две духовки, шесть конфорок. Это была плита, на которой готовил Ладди. Ладди — мой бывший муж.

Теперь Ладди нет — он умер, а я всегда любила его плиту. И мы рассказывали его сыну и дочери или обоим вместе, что мы любим плиту, потому что она шестиконфорочная и очень удобная по своим размерам для той площади, которой мы располагали. Однажды приехал мой брат Дик и не застал никого дома. Он демонтировал плиту, погрузил ее в свой трайлер и укатил с нею. Они, вероятно, были весьма удивлены, вернувшись домой.

Как вы понимаете, вся еда готовится на большой кухне. Дик, можно сказать, живет в кухне, и кухня, можно также сказать, соответственным образом и выглядит. Помимо двух раковин, есть еще два окна над ними, а между раковинами — плита, о которой я уже рассказывала. Над плитой ряд полок для всякой всячины. Это — с одной стороны. На стене напротив висят большие французские часы примерно около полуметра в диаметре — красивые, старинные. С кукушкой. Разные симпатичные плошки и сувениры. Красиво смотрятся на фоне белого кирпича.

Еще есть большой холодильник, установленный на массивной подставке, — это холодильник Дика. Чуть сбоку и ближе к стене стоит мой холодильник — поменьше, на такой же платформе (на случай ураганов). Холодильники эти стоят теперь по линии, где раньше была стена, разделявшая кухню и кладовую.

В моем углу кухни висят полки, на которых хранится вся фарфоровая посуда. В центре той части кухни, которая принадлежит Дику, конечно же значительно большей по размерам, стоит круглый стол, а над ним висит лампа от Тиффани. Стол этот, вокруг которого стоят четыре стула, — центр империи Дика. Уютное местечко. У него есть вкус. Здесь собираются его гости, которых медом не корми — дай поговорить. Он готовит им еду и угощает их. Его сын Тор и жена Тора, Тесс, тоже готовят и угощают. В меньшей степени функцию поваров и официантов исполняем Филлис и я. Зачастую мы вообще не общаемся с людьми, которые приходят в дом, сидят, разговаривают, выворачивают свои души наизнанку. Дик, наверно, рассказывает сюжет последней пьесы, которую он посмотрел в Уотерфорде в Центре О'Нила. Или Тор читает лекцию о ценных бумагах. Бывает, что гости задерживаются. Безусловно, территория Дика — центр дома. Конечно, мы не всегда выходим к ним, но мы их слышим. В кухне нет двери, в

буфетной — тоже.

Двери как таковой нет, но есть дверной проем, через который из кухни можно попасть сразу в столовую большой дружной семьи. В былое время дверь все-таки была — со створками, на пружинах. Но она почему-то раздражала Дика, и он ее снял.

Филлис и я угощаем наших гостей либо в столовой, либо снаружи, на веранде, куда есть выход из столовой. Разумеется, мы все равно слышим нескончаемые кухонные разговоры. Атмосфера, сравнимая с ресторанной.

Потом мы спим в наших старых комнатах: я в восточном крыле, на втором этаже.

Дик и Тор — на верхнем этаже, соответственно в восточном и западном крыле.

Мы все здесь, как бы ни складывалась жизнь — к лучшему или к худшему.

Именно здесь я провожу свое свободное время.

Понимаете — это мой фамильный дом.

Чуточку странно, но это вроде бы помогает.

Дик здесь живет.

Я наезжаю — на долгие выходные.

Брин Мор

Я училась в колледже Брин Мор. В классе выпуска 1928 года. Сначала я жила в комнате общежития, совмещенной со спальней, — первый этаж, первая дверь справа. Пембрук — Уэст. Существовал также Пембрук-Ист, между ними — проход, а над ними — огромнейшая столовая. Мои подруги из школы Этель Уокер жили в другом помещении — Мэрион. В течение нескольких лет не посещая школу, я с трудом общалась с множеством малознакомых девочек. Спать ложилась очень рано. Вставала в четыре или в половине пятого, шла в конец здания, в ванную комнату, и принимала контрастный душ. Завтрак мой обычно состоял из фруктов, хлеба и молока, поэтому я могла завтракать одна в своей комнате, тем самым избегая необходимости находиться в обществе слишком большого количества девочек. Потом я вообще перестала ходить в столовую. Как-то в самом начале семестра я зашла туда и направилась к столу для живущих в Пембрук-Уэст. На мне была французская голубого цвета юбка-клеш, застегивавшаяся спереди на большущие белые пуговицы, и исландский сине-белый свитер, модный в то время. Я, конечно, не считала себя красивой. К своему ужасу, я услышала, как кто-то, сидевший за столиком, где мне надлежало сидеть, произнес — с характерным нью-йоркским

акцентом: «Самоуверенная красавица!»

Я чуть не упала замертво. Бог видит — я не считала себя красавицей. О Боже! Вовсе нет. Не замедляя шага, я приближалась к своему столику. Села. Стала завтракать. В тот год я больше ни разу не появлялась в столовой.

Обычно я ела со своими подругами в Мэрион либо у себя в комнате, покупая себе обед в буфете колледжа. Папа выдавал мне семьдесят пять долларов на месяц, а еда тогда не была такой дорогой.

Впервые я отправилась в Европу вместе со своей подругой Алисой Палаш после окончания первого курса колледжа — в 1925 году. У меня было 500 долларов, у нее — 750. Путешествовать по Англии мы намеревались на велосипедах, но когда, сойдя с парохода, ехали поездом в Лондон, то пришли в ужас от обилия холмов и маленьких горок, а потому решили купить машину и ночевать либо в салоне, либо прямо на земле, либо на сене, чтобы тем самым свести к минимуму расходы. Для Палаш это было мучение, поскольку по утрам она любила пить кофе. Я тогда еще не пила кофе — довольствовалась фруктами, хлебом и холодным молоком. В сущности, мне не хватало только одного: контрастного душа.

Иногда мы решали как следует поесть и тогда шли «мыть руки», а если поблизости оказывалась колонка, я сбрасывала с себя платье, садилась на корточки и освежалась холодными брызгами из-под крана. Со мной во время путешествия всегда было полотенце. Было весело. Мы объездили всю Англию, побывали в Уэльсе и Шотландии. Вернувшись в Лондон, мы продали машину дороже, чем купили, что, конечно, было большой удачей.

Мы тогда побывали в Париже — жили в гостинице «Каир» на бульваре Распай. Напротив был маленький ресторан, и мы питались преимущественно в нем. Садились за столиком возле длинного настенного зеркала, и Палаш начинала раздражаться, поскольку ей казалось, будто я занята исключительно тем, что смотрю на себя в это зеркало, без устали изучая выражение своего лица.

Мы исходили весь город, что, конечно, было весьма интересно. Домой уезжали без гроша в кармане.

Во второй год своей учебы я жила вдвоем с девушкой, с которой уже успела познакомиться, и это меня вполне устраивало. Постепенно я все-таки привыкла ко всем девочкам, надо полагать, и они привыкли ко мне. У нас была своя небольшая компания. Куда как легче жить, когда можешь рассчитывать на чью-нибудь поддержку. Члены той компании —

каждый в меру нашей раскиданности — остались моими друзьями, особенно те, кто живет в штате Коннектикут или Нью-Йорке. Последние три года, проведенные мной в Брин Мор, уже не были для меня тягостными. Не будучи занятой ни в каком кружке, я тем не менее участвовала в нескольких театральных постановках, очень веселых. Я дурачилась со своими приятелями и много смеялась. У одной из подруг (Либ Ретт) была машина. О, какое наслаждение! Куда мы только не ездили!

Я сыграла главную роль в одной пьесе — «Правда о Блейдах» А. А. Милна. Роль мальчика-подростка. Мне пришлось надеть на себя парик, чтобы прикрыть мои длинные волосы. Помню один случай, когда мы играли спектакль в нью-йоркском «Колони Клаб». С горем пополам мне удалось-таки засунуть руку в карман брюк и сесть. Спустя короткое время я попыталась вынуть руку из кармана. Тщетно. Еще раз. Еще и еще раз. Я немного стушевалась и все дергала и дергала из кармана руку. Публика покатывалась со смеху.

Я играла также Терезу в «Колыбельной песне» Мартинеса Сьерры.

В год окончания колледжа я сыграла Пандору в «Женщине в лунном свете» Джона Лили. Этот спектакль был частью большой программы по случаю Майского Дня. Он ставился на подмостках крытой аркады библиотеки, нас освещало солнце. Пьеса к тому времени еще ни разу не ставилась в нашей стране, поэтому вызвала неподдельный интерес.

На эту роль, кажется, меня выбрал Сэмюэл Артур Кинг. Доктор Кинг вел у нас курс ораторского искусства, посещение которого было обязательным. Занятия мне очень нравились. Доктора Кинга пригласил в колледж М. Кэри Томас, бывший директор Брин Мора, большой знаток американской речи и ее неудачного воспроизведения. Мама и Папа также следили за правильной речью и часто напоминали нам, что четкое, хорошее произношение характеризует человека с самой выгодной стороны.

Играть Пандору было необыкновенно интересно. Под влиянием планет она постоянно меняла характер своего поведения. То была воинственной, попадая под чары Марса; то нежной, находясь под воздействием Венеры; смешной, плачущей и так далее. Папа сказал, что на этом спектакле он видел только грязные подошвы моих ног, которые с каждой минутой становились все черней и черней. Да еще — мое веснушчатое лицо, которое с каждой сценой становилось все пунцовей и пунцовей.

Когда я училась в Брин Мор, там не разрешалось курить

нигде, кроме курительной комнаты, которая находилась на первом этаже. В ту пору я жила на втором этаже в Пембрук-Уэст, сразу за столовой, которая была своеобразным соединительным мостиком между Пембрук-Ист и Пембрук-Уэст. Это был мой выпускной год — 1927/28. Помню, как я взяла свою корреспонденцию и начала просматривать ее. Дверь моей комнаты была открыта в залу.

«Господи, что это?» — Маленький пакет. Я разорвала конверт — пачка ментоловых сигарет.

«О, какой приятный запах — попробовать, что ли?» — Я вынула одну сигарету, прикурила и пустила дым.

«О, немного странно. Что ж, начало положено». — Я вынула изо рта сигарету и выбросила ее.

В тот же день, спустя некоторое время, ко мне подошел член студенческого совета самоуправления и сказал:

— Нас известили о том, что вы курили у себя в комнате. Вы нарушили устав.

Я глядела на него — у меня словно язык отнялся.

— И кто же вам сказал об этом?

— Я не вправе это разглашать.

— О, понимаю. Да… Ну что ж…

Правда же состояла в том, что я вообще не курила и потому ничего не знала о правилах курения. Очевидно кто-то, случайно проходя мимо моей комнаты, увидел в открытую дверь, как я курила ту ментоловую сигарету. Вероятно, этот кто-то был из числа моих недругов — иначе не наябедничал бы, а просто взял бы и окликнул: «Эй, чем это ты занимаешься?»

Я не могла отрицать самого факта курения. Подобная ситуация кого угодно поставила бы в затруднительное положение.

По нижеприведенным письмам вы можете удостовериться, что я находилась под подозрением в течение восьми дней. Итак — отлучение от занятий на восемь дней.

Доктору Томасу Н. Хепберну 20 октября 1927 года

Уважаемый доктор Хепберн!

Содержание копии письма, адресованного мисс Хепберн, полагаю, объяснит вам все.

Данное правило установлено попечителями колледжа, и выполнение его является строго обязательным. Мне жаль, что ваша дочь, прожив три года в общежитии, не прониклась ответственностью к такого рода вопросам, в результате чего студенческий совет вынужден был принять соответствующие меры.

С наилучшими пожеланиями
Мэрион Эдвардс Парк
(Подпись)

Мисс Кэтрин Хепберн 20 октября 1927 года
Пембрук-Уэст
Уважаемая мисс Хепберн!

Ввиду Вашего нежелания соблюдать правила, запрещающие студенту курить в своей комнате, совет самоуправления Брин Мора поручил мне уведомить Вас о том, что Вы не допускаетесь в помещения колледжа и освобождаетесь от всех занятий с полудня воскресенья 23 октября до вечера пятницы 28 октября. Ваше отсутствие на занятиях в течение этой недели будет расцениваться администрацией колледжа как неоправданные пропуски.

Мне жаль, что Вы нарушили запрет, который был оговорен общестуденческим соглашением и которое, учитывая условия жизни в больших зданиях, где наблюдается скопление людей и легковоспламеняющихся предметов, должно находить у Вас понимание, если на таковое Вы способны.

Копию этого письма я посылаю Вашему отцу, чтобы ему были понятны причины Вашего возвращения домой в такую пору.

С наилучшими пожеланиями
Мэрион Эдвардс Парк
(Подпись)

Президенту Мэрион Эдвардс Парк 22 октября 1927 года
Уважаемая президент Парк!

Я, естественно, очень взволнован тем, что моя дочь Кэтрин лишена на пять дней возможности заниматься, поскольку ей и так пришлось пропустить несколько дней из-за свадьбы ее лучшей подруги. Вполне вероятно, что этот дополнительный перерыв может помешать ей успешно завершить курсовую работу, необходимую для выпуска и получения степени. Поскольку такое наказание вызвано, очевидно, серьезностью совершенного проступка, я, будучи глубоко заинтересованным в успешной учебе моей дочери, естественно, обращаюсь к оценке этого проступка. Проступок этот заключается в том, что она «курила в своей комнате».

Признаю, что в отношении студентов, курящих в своих комнатах, существует запрет, установленный общестуденческим соглашением. Иначе говоря, формально это является предписанием, которое вправе устанавливать орган самоуправления. Обращаю внимание на Вашу фразу: «Данное

правило установлено попечителями колледжа». Если это так, это предписание вряд ли можно считать решением студенческого органа самоуправления.

Причины, вызвавшие появление этого предписания, — это «условия жизни в больших зданиях, где наблюдается скопление людей и легковоспламеняющихся предметов». Чтобы подтвердить правомерность этих причин, Вы взываете к «пониманию, если на таковое Вы способны…».

Я, однако, поступил бы так: коль скоро Вы воспитываете этих девочек и потом обращаетесь к их «способности понимать», было бы не лишнее выяснить, смогут ли причины, на которых зиждится предписание о запрете курить в их комнатах, быть поняты ими при таком обращении. Если нет, то колледж — именно в силу этого факта — теряет свой авторитет как воспитательное учреждение.

Кэтрин знает, что ее родители курят. При желании они курят в своих комнатах — и, как это ни удивительно может показаться, Кэтрин курит редко, хотя никакие домашние ограничения на нее не распространяются.

Кэтрин никогда не бывала в общежитиях, деловом офисе или даже большой больнице, где курение запрещено, хотя в этих учреждениях куда большее «скопление людей» и куда большее число «воспламеняющихся предметов».

Мне кажется поэтому, что обращение к способности понимать несостоятельно.

В данном случае обращение должно сводиться к одному: она обязана соблюдать правила, сколь бы бессмысленными они ей ни показались.

Со своей стороны я сделаю следующее: строго укажу ей на то, сколь безрассудно с ее стороны в угоду мимолетному капризу ставить под удар успешное завершение учебы и сводить на нет затраты на ее образование. В такой мере я вправе отвергать Ваши строгости. Я не ставлю под сомнение правильность предписаний студенческого органа самоуправления, но не оправдываю как повод, взывающий к ее «способности понимать».

С наилучшими пожеланиями

Томас Н. Хепберн

Еще до окончания выпускного курса я подружилась с парнем по имени Джек Кларк, чей дом находился рядом с колледжем. Его лучшим другом был Ладлоу Огден Смит.

У Джека были друзья в театре, кроме того, он был знаком с Эдвином Кнопфом, руководителем труппы — солидной, с крупными звездами — в Балтиморе. Мэри Болэнд, Кеннет

Маккенна, Элиот Кэбот. Я уговорила Джека написать для меня рекомендательное письмо Кнопфу и однажды на выходные отправилась вместе с Либ Ретт в Балтимор, где жила сестра моей матери — Эдит Хаутон Хукер. Я пришла на встречу с Кнопфом, и он сказал: «Что ж, когда окончите колледж, черкните мне».

Я окончила колледж.

Папа всегда говорил: если хотите чего-нибудь получить, не пишите. Не звоните по телефону. Явитесь лично. Собственной персоной. Куда как тяжелей отказать человеку, который смотрит вам в глаза.

Я думала: нет, писать не буду. Явлюсь сама.

Так я и поступила. Тетя Эдит с семьей на все лето уехала из Балтимора в Мэн, поэтому я осталась в «Брин Мор клаб». Он тоже был наполовину закрыт, но мне разрешили жить в относительно дешевой спальной комнате холла. На сквозняке. Высокие потолки, очень темно и страшно. Зато не очень далеко от театра. Я была слишком стеснительной, чтобы ходить в ресторан. Я вообще еще ни разу не была в ресторане, честное слово. И уж тем более одна. Вместе со мной в город приехал мой большой друг Боб Макнайт, у которого была машина (видите, как мудро я выбирала друзей). Он направлялся в Рим, чтобы изучать скульптуру, поскольку стал стипендиатом Римской премии. Мы жили вместе. Еду покупали в гастрономическом магазине. Все было очень невинно. Мы оба были очень самонадеянны, упивались жизнью и ее возможностями. Не тратили свои силы на пустое времяпрепровождение. Все или ничего — так стоял вопрос для Меня, Меня, Меня. Для нас обоих. Попасть в колею. Мы поддерживали друг друга.

Я отправилась на встречу с Эдди Кнопфом. Зашла в здание с парадного входа. Я даже не знала о том, что у них там существует такая вещь, как служебный вход. Услышала голоса. «Наверно, репетируют», — подумала я. Потом чуть приоткрыла дверь, чтобы можно было видеть сцену. Действительно — шла репетиция. Я прошмыгнула в дверь, тихонько прошла в самую глубину зала, села и затаилась, как мышка. Прошел час. Мне потребовалось сходить в туалет. Вскоре терпеть дольше не стало никакой мочи. Во всем театре, кроме сцены, было темно, словно в преисподней. Я на ощупь прошла по вестибюлю, потом спустилась по лестнице в другой вестибюль. Наконец добралась-таки до туалета. Затем тем же путем вернулась на прежнее место. Прошел еще час. И еще один. Они заканчивали. В зале зажглись огни.

Эдди Кнопф увидел меня. Он пошел по проходу в зал. Остановился около меня и сказал:

— О, вы! Да, запишитесь на репетицию в понедельник… На

одиннадцать часов. — И ушел.

Боже мой! Мне дали работу! Он дал мне работу! Он узнал меня!

Он дал мне работу!

В следующий понедельник в десять сорок пять я была в его офисе.

— Я пришла на репетицию.

— Вход с другой стороны.

Так мне стало известно о существовании служебного входа.

Я прошла через него. Группа собралась большая. Готовилась к постановке пьеса «Царица», с Мэри Болэнд в роли Царицы. Распределили роли. Мне досталась достаточно солидная — почти на десять страниц.

Кроме меня, было еще несколько молоденьких девушек, но мне дали самую большую роль.

Нас всех познакомили друг с другом. Потом мы сели вокруг большого стола и читали пьесу. Восхитительно! Моя роль была действительно очень недурной. Ну разве это не удача?

Репетиций было очень много, и шли они подолгу. Наконец объявили, что завтра, в одиннадцать часов, будут раздавать костюмы. Подумалось: значит, надо прийти пораньше. Пришла в десять и — увы! — была не первой. Была последней. Для меня это, разумеется, было полной неожиданностью. Я оказалась не такой умной, как думала. И конечно, мне достался самый плохой костюм. Короче, чем следовало, на несколько сантиметров и очень жал в вороте.

Потом произошло нечто удивительное. Одна из девушек подошла ко мне и сказала:

— Я была первой, но хочу, чтобы ты взяла мой костюм. Он самый красивый.

Я онемела и ничего не могла сказать. Только смотрела на эту девушку. На ней был костюм, и он был замечательный. Я попыталась было заговорить.

— О, но я… Но я… Но нет же, я бы не смогла…

Она перебила меня.

— Я скоро выхожу замуж, — сказала девушка. — И не собираюсь быть актрисой. А ты, наверное, хочешь ею стать. То есть, мне кажется, что ты хочешь стать большой звездой. Я хочу, чтобы костюм был твоим.

Что было ответить? Конечно, я сказала:

— О да, да. Благодарю тебя… То есть спасибо тебе огромное… То есть это так здорово… Я так тронута — это так… Но ты… Ты — настоящий ангел, ты — само благородство. Не могу поверить, что ты… О, пожалуйста… О, я потрясена… Я…

нет, нет, позволь мне договорить…

Она перебила меня:

— Послушай, я сейчас сниму его. Ты отдашь мне свой, а я отдам тебе мой. И ты будешь счастлива.

Мы обменялись костюмами. Я повернулась и посмотрела в зеркало. Блеск! «О, я…» Обернулась — ее уже не было.

Представляете себе человека, способного проявить такое благородство? Разве я не везучая? Везучая. Продлится ли оно, мое везение? У меня был самый лучший костюм. Я даже не помню, как ее звали.

Вскоре должна была состояться премьера. Я совершенно не умела накладывать грим, да и вообще не пользовалась им, если не считать губной помады — «Кристи № 2», яркой, красно-оранжевой. Мэри Болэнд научила меня кое-каким премудростям. Например, как подводить глаза. Я наблюдала, как она гримируется. Мэри была такой доброжелательной. Поделилась со мной различными мелками и карандашиками.

Они все были очень добры ко мне, звезды труппы. Премьера состоялась. Я получила два очень благожелательных отклика на свою маленькую роль. Меня немного знали в Балтиморе, как я уже говорила.

Думаю, что в рецензии меня упомянули не по этой причине. Не суть важно почему, но «Принтед уорд» написала, что моя игра была «захватывающей». И я получила роль в постановке следующей недели — «Факельщики». В главной роли опять была Мэри Болэнд. Роль мне досталась слабенькая, и я понимала, что и сыграла-то ее так себе. Стоило мне разволноваться, как мой голос уходил куда-то под самый купол черепной коробки. Я просто не знала, как его контролировать. Поговорила с Кеннетом Маккенной. Он посоветовал мне после окончания сезона поехать в Нью-Йорк и позаниматься там над постановкой голоса у некой Фрэнсис Робинсон-Даф. Одной из ее учениц была Ина Клэр. Даф была очень хорошо известна в актерском мире.

«Она самый лучший специалист по сценической речи в Нью-Йорке».

Ну а зачем, собственно, откладывать, подумала я. Брошу все и поеду в Нью-Йорк. Разыскала ее. Узнала, что она чрезвычайно занята.

Мой отец очень огорчился, узнав, что я решила стать театральной актрисой. Он считал, что выбранная мною профессия — дурацкая, что актер — это почти то же самое, что бродяжка. Что я превращусь в дешевую пижонку, что профессия, которой я собираюсь себя посвятить, — несерьезная. Что для нее требуется лишь смазливая наружность. Что она ненадежна и никчемна. Его

отнюдь не привлекала перспектива поддерживать меня в таком сомнительном деле. Моя мать полностью была на его стороне.

Она мечтала совсем о другом для меня, лишь бы только меня миновала судьба стать обычной гувернанткой своих собственных детей. По ее мнению, женщины должны жить полноценной, содержательной жизнью. Стараться обеспечить себе большую независимость от мужчин. Папа тоже так считал. Но он и слышать ничего не хотел о том пути, который я для себя выбрала.

Но я экономила деньги, которые мне выдавали на карманные расходы, и когда поехала в Балтимор, то скопила больше 250 долларов. Для меня — огромная сумма, но для Нью-Йорка этого было недостаточно. И конечно, совсем маловато, чтобы оплатить занятия у Фрэнсис Робинсон-Даф. Поэтому я написала Папе письмо, которое, как мне думалось, должно было убедить его в том, сколь необходимы мне занятия, чтобы достигнуть чего-то в той профессии, которую я для себя выбрала. Поддержит ли он меня? Он уже прислал мне пятьдесят долларов, выигранные им, как он сказал, то ли в гольф, то ли в бридж. Карточные деньги — не настоящие деньги, потому-де он и посылает их мне. После этого я, конечно, поняла, что еще немного — и он будет на моей стороне. Мы были очень близки — Папа, Мама и я. Никто из нас не любил ходить окольными путями. Поэтому, разумеется, он сказал мне «да» — оплатил занятия у Даф. Вот почему, прожив в Балтиморе две недели, я отправилась в Нью-Йорк.

У тети Бетти Хепберн нашлась свободная комната в большом доме в восточном районе, на Шестидесятых улицах. Она была вдовой дяди Чарльза, папиного брата.

Фрэнсис Робинсон-Даф была мастером своего дела. Ее дом был на Шестьдесят второй улице — между Второй и Третьей авеню. Жила она вдвоем с матерью. Мать была когда-то артисткой оперы и теперь давала уроки оперного пения. Фрэнсис была высокой — около 168 сантиметров, — статной, дородной, с большим животом, среднего объема грудью, затянутой в корсет. Ее студия располагалась на верхнем этаже. Она сидела и показывала мне, как подавать голос прямо из диафрагмы. Я должна была класть свою руку на ее диафрагму и держать так, а она вытягивала вперед губы, словно хотела задуть свечу. Странные ощущения. Моя рука покоилась на ее корсете — и мне было неловко. Ее грудь — ее диафрагма — верх корсета. Не думаю, что тогда я действительно разобралась в том, что лучше «подавать воздух из диафрагмы», чем напрягать голосовые связки. Теперь я могу прокричать «Эй!» прямо «из диафрагмы». Но неспособность точно соразмерять голосовые усилия с объемом воздуха «из диафрагмы» стоила мне огромных неприятностей в

моей карьере. Всякий раз, когда мне приходилось играть роль, в которой нужно было говорить одновременно и быстро и громко, я теряла голос и начинала сильно хрипеть.

Очень жаль, что я оказалась неспособной понять с самого начала все тонкости процесса задувания свечи. Я бы избежала многих мучений. В известном смысле я понимаю, почему не могла увязать голос с диафрагмой. Мне кажется, что я слишком наивно относилась к жизни, к ее проявлениям и к своему будущему, что была чересчур «зажатой» и потому не могла раскрепоститься.

Фрэнсис Робинсон-Даф проявила ко мне неподдельное участие. Она прилагала максимум усилий, чтобы помочь мне проложить дорогу в театр. И покуда я пробивала эту дорогу, меня постоянно поддерживали Папа и Мама: Мама — по телефону, Папа — письмами.

Дорогая Кэт!

Не могу допустить, чтобы в день, когда тебе исполняется 21 год, ты не позволила себе маленькие слабости. Ты теперь вольная птица, и твой Папа не контролирует твой полет. Ты только подумай об этом! Не вздрагиваешь ли ты невольно при мысли о минувших годах рабства? Именно поэтому я дам сейчас советы, столь же полезные для тебя в будущем, сколь полезны они были в прошлом.

Во-первых, не воспринимай жизнь или ее проявления слишком серьезно. Поднимай уголки того рта, что я подарил тебе одной лунной ночью.

Во-вторых, постарайся хорошо делать одну вещь — использовать опыт уже прожитой жизни и свой собственный ум.

В-третьих, никогда не позволяй себе ненавидеть кого бы то ни было. Это самое разрушительное оружие врагов.

В-четвертых, всегда помни, что твой Папа вправе назвать тебя всяческими именами, когда недоволен твоим поведением, но ты не обижайся на него и всегда обращайся к нему, какие бы трудности ни возникли — он, Бог даст, поможет тебе. Не может быть, чтобы он был настолько глупым, как кажется с виду.

В-пятых, забудь обо всем вышесказанном и помни только одно: я был бы счастлив поцеловать тебя 21 раз и дать тебе миллион долларов…

Твой безнадежный Папа

II

Ладди

Итак, я оказалась в большом городе — Нью-Йорке, брала уроки у Фрэнсис Робинсон-Даф. В сущности, я совершенно его не знала. Равно, как и вы. По городу я ездила на машине. В те дни можно было парковаться почти везде. Он был совершенно не похож на нынешний Нью-Йорк. Не было автострады Франклина Делано Рузвельта. Не было Вест-Сайдского шоссе. Не было моста Джорджа Вашингтона. Холанд-таннел только готовились пустить в эксплуатацию. Не существовало еще Линкольн-таннел.

Паром на Стейтен-Айленд.

Паром на Нью-Джерси.

Мосты в Бронкс.

Мосты в Лонг-Айленд.

Не существовало туннеля до Лонг-Айленда.

В восточном районе, на моем «пятачке», включавшем Сороковые и Тридцать девятую улицы, на Третьей, а также на Второй авеню была подземка. Я говорю о конце 20-х — начале 30-х годов. Центральный парк был открыт для машин, и я заезжала в него, ставила там машину и проводила в нем весь день. Народу в парке было тогда немного, а уж любителей бега и в помине не было. Еще не был построен ПанАм Билдинг[1], портящий зрелище силуэта Центрального вокзала на фоне неба.

Трудно вспомнить, когда возникли мосты и туннели и громадные небоскребы, а улицы запрудили толпы.

Дни свои я в основном проводила в ожидании, что кто-то позвонит и предложит мне работу.

Жила я в отдельной квартире моей тети. Окна — с фасадной стороны многоквартирного дома, на четвертом этаже, по Шестьдесят второй улице. Крохотная ванная, кухня и спальня. Тетя Бетти Хепберн тогда отсутствовала.

По сути, у меня в этом огромном городе не было по-настоящему знакомых людей. Правда, Джек Кларк, его сестры Эгги и Луиза. Они из Брин Мора — из города, не из колледжа. Их приятель Ладлоу Огден Смит. Они жили на Тридцать девятой улице, восточнее Третьей авеню и все были со мной очень милы.

Потом еще Фелпс Патнэм.

В мой выпускной год в Брин Море — точнее, весной 1928 года, меня пригласили на ленч в дом Хелен Тафт Мэннинг. Она была деканом колледжа. На ленче присутствовал также некто

Фелпс Патнэм, большой друг Фреда Мэннинга — мужа Хелен.

Патнэм был поэтом. Среднего роста, красиво посаженная голова.

Он был очарователен. Я взглянула на него и была ошеломлена, как бывает вдруг ошеломлен человек без какой-либо видимой причины, встретив человека противоположного пола. Он буквально околдовал меня. Я воспарила в облака и витала там все последние дни учебы в колледже. Я жила в одноместной комнате в башенке второго этажа — Пембрук-Ист — и в полночь совершала ночную прогулку, для чего всякий раз вылезала через окно и по виноградной лозе спускалась вниз. Думается, что именно я вдохновила его на написание этого стихотворения:

…Она была живой анархией любви,
Она была необъяснимой, была кончиною любви,
Той, кем поглощено всецело витающее в грезах Я,
Той, чье появленье в этом мире тесном
Так было мимолетно, что
Душа навек отрады романтической лишилась.
Она была моею пищей, моей сестрой, была мне кровным чадом,
Моею страстью, моею вольностью, моею дисциплиной,
И к моей главе она простерла робко трепетные руки.
Она была как жизнь и смерть одновременно неучтивой
И любезной, как любезно нам бывает сухое белое вино
В день жаркий середины лета.
В хуле ль, во славе, мой голос тонет в крови венах,
Я не способен говорить, я говорить не мог и раньше,
Хотя и знал, какою падкою любовь бывает на нежные слова,
Ни слова я не мог исторгнуть из себя.
Ведь она была мне больше, чем вселенским идеалом.
Она была чистейшей пробы слепком моего желания…

Фелпс Патнэм.
«Дочери Солнца»

Я приехала в Нью-Йорк. Фелпс жил на Пятьдесят четвертой улице, у реки, в большом доме, в квартире, принадлежавшей Расселу Давенпорту из «Тайм форчун». Давенпорта не было в городе. Квартира была прелестная, с великолепно оборудованной ванной и чудесной кухней, а с железной пожарной лестницы было так удобно наблюдать за проходящими по реке пароходами. Замечательное место. Тихое, романтическое. По реке курсировали

преимущественно пароходы «Трейси». Будучи реалисткой, я очень скоро поняла, что и мне куда удобней было бы жить именно в многоквартирном доме. Сподручней. И вот однажды вечером я перевезла мои пожитки с Шестидесятых улиц на Пятидесятые. Я и не думала жить с Фелпи «во грехе». Я просто хотела жить с ним. Грехи могли подождать. Жизнь сама по себе была своего рода экстазом… Возможности… надежды. Я и без того пребывала в состоянии постоянного возбуждения. Больше мне ничего не было нужно.

Фелпс знал всех. То есть, понимаете, — Роберта Бенчли, Тони Спикизи. Короче, места. Надо знать места, людей. Надо быть на плаву. Мне никогда этого не удавалось. Просто мне казалось — и все еще кажется, что надо идти своим собственным путем, упорно и целеустремленно, по следу, который ведет «туда».

Где именно это «туда», я и по сей день не знаю.

Фелпи был вроде бы женат. Кроме того, он был гол как сокол. Я тоже не была богачкой. А он привык жить на широкую ногу, любил вкусно поесть, сладко попить, любил удобства. Во мне было достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что пока, и только в том случае, если содержать его буду я, наши отношения останутся дружественными. Так оно и было.

Я не знала тогда, что мой отец сказал Фелпсу: «Послушай… Надеюсь, тебе ясно, что моя дочь Кэт положила на тебя глаз. Ты хороший парень. Значит, я не могу винить ее. Но ты женат и значительно старше ее. Так вот… Она постарается обольстить тебя, она — как молодой бычок, которого еще не обратали. Советую тебе быть настороже. Потому что, если ты дотронешься до нее, я тебя пристрелю».

Фелпса, думаю, это напугало. Ему, конечно, нравилось быть в женской компании. Но еще больше он любил выпить. И конечно, не хотел иметь неприятности. Поэтому он оставил меня жить в той квартире и уехал в гости к своему другу — председателю Верховного суда Тафту в Новую Шотландию.

И я осталась одна-одинешенька в своем романтическом гнездышке, гуляла сама по себе, в трех метрах над землей.

Потом вернулся Давенпорт, и я съехала. Перебралась в просторную семейную квартиру своей подруги по колледжу, Мегс Меррил. На Парк-авеню, № 925. Ее семья на лето уехала в Хантингтон, Лонг-Айленд. Каждый день я занималась у Фрэнсис Робинсон-Даф. И получила свою первую работу в Нью-Йорке.

Еще в 1927 году я познакомилась с Ладди — Ладлоу Огденом Смитом. Я уже писала, что он был лучшим другом Джека Кларка, который жил в доме рядом с колледжем Брин Мор. Лужайка Джека примыкала непосредственно к лужайке Брин Мор. Он жил

со своим отцом и двумя сестрами. Его мать находилась в психиатрической больнице. После смерти отца на его плечи легла забота о сестрах. Обе сестры и Джек решили никогда не обзаводиться собственной семьей и не иметь детей. Они выполнили свое намерение. Джек был высокий, худой, красивый. Удивительное лицо. Он был похож на иностранца. Темные волосы, темные, широко поставленные глаза. Розовые щеки. Неординарный нос, длинный, с горбинкой. Длинный рот, полные губы. Что ж, я пытаюсь описать его, но это описание получается смешным. Уверяю вас, он не выглядел смешным.

Ладди и Джек были действительно хорошими друзьями. У обоих водились деньги. Богачами они не были, но денег у них вполне хватало, чтобы жить без особых хлопот. За городом у них имелась, как бы это сказать, — если скажу «хибара», прозвучит уничижительно. Это был крошечный дом — белая штукатурка, темная крыша, темный интерьер. Большой камин. Маленькое крылечко. У подножия холма — просторный луг. В их владении находилось примерно двадцать акров, поэтому никаких других домов поблизости не было видно. От колледжа до дома можно было добраться всего за сорок минут. Было весело. И мы выезжали туда на пикники. Под словом «мы» я подразумеваю девичью компанию, именовавшую себя «общежитием». Девушки жили в зданиях Брин Мора, примыкавших к дому Джека, и подружились с Джеком и Ладди: моя подруга Алиса Палаш, чей отец возглавлял кафедру минералогии в Гарварде; Либ Ретт — у нее была машина! Помните? Очень удобно. Эдель Меррил. Эпизодически — Элита Дэвис. Она была из Сент-Луиса, из богатой семьи и доводилась родной племянницей тем Дэвисам, которые учредили Кубок Дэвиса в большом теннисе. Нам всем было примерно по восемнадцать-девятнадцать, самое большое — по двадцать, и мы были невинны и жизнерадостны.

Джек и Ладди искали приключений. Но максимум, чего они добились, это фотографирование обнаженной натуры. На фотографиях я была запечатлена лежащей на большой софе, которая была у них в гостиной. Я позировала свободно и уверенно, поскольку была о себе весьма высокого мнения. Не помню, кто еще позировал. Знаю, что Палаш не позировала. Они отдали мне фотографии. Помню, я положила их в плетеную корзину с такой же плетеной крышкой. Помню еще, она была обвязана лентой. Я хранила эту корзину много лет. Потом, не знаю когда, она потерялась. В самом начале моей жизни в Нью-Йорке она, совершенно точно, еще была у меня. И безусловно, была еще цела, когда я переезжала летом в квартиру Меге Меррил на Парк-авеню, № 925. Меге вышла замуж за Армитейджа

Уоткинса по прозванию Крошка Уилли Уоткинс. Кажется, Уилли пришел однажды, чтобы переночевать. И случайно открыл плетеную корзину.

— Тут куча твоих фотографий. Обнаженная натура.

— Да, — подтвердила я. Мне показалось, что ему очень хотелось продолжения разговора.

Я не стала этого делать.

А теперь уже и не помню подробностей, кроме этого маленького эпизода. Не помню и того, куда делись фотографии. Может, я уничтожила их? Куда делась плетеная корзинка? Видимо, я рассуждала примерно так: если не буду на них глядеть, их, следовательно, как бы вовсе и нет. Странно. Я и сейчас так же считаю: если на что-то не обращать внимания, значит, этого просто вообще не существует.

Я никогда не читаю рецензий. Поэтому их не существует. Не гляжу на картины, которые когда-то нарисовала. Их не существует. Мои прошлые грешки, так сказать.

Но я начала рассказывать о Ладди. В сущности, именно благодаря его благородству я вышла на свою дорогу. Он был воплощением чуткости. Ладди был родом из Страффорда, штат Пенсильвания, — это всего несколько станций за Брин Мор по Мейн-Лайн. Окончил колледж в Гренобле, во Франции, чудесно музицировал и без особого труда мог за несколько дней научиться говорить на любом языке. Он был способен ужиться со всеми. Ладди работал в Филадельфии, потом переехал в Нью-Йорк и работал там.

После того как Фелпс Патнэм, воспользовавшись советом Папы, перебрался жить к Верховному судье Тафту в Новую Шотландию, я осталась одна в квартире Давенпорта на Ист-Ривер. Потом, как я уже говорила, Давенпорт вернулся, я съехала с его квартиры и поселилась у Меррил.

Джек Кларк и его сестры жили тогда в Нью-Йорке, а Ладди жил неподалеку от них. Я стала захаживать к ним на обед, вместе с ними ходила в кино. У Ладди была машина, и мы ездили на ней в Фенвик на выходные. И скоро стали видеться все чаще, чаще и чаще.

Что? Где это случилось? О да, конечно… Это случилось на квартире Кларка. Их не было дома, и, мне кажется, я знала, что Ладди влюблен в меня. Понимаете, моя слабость состояла в том, что я любила самое себя. Вы, конечно, понимаете. Я хотела стать большой звездой и… Что? Я уже рассказывала все это раньше? О да, рассказывала. Короче говоря, Ладди и я остались одни в квартире, и в комнате была кровать, и не было никакой причины не сделать этого. Что ж, это все-таки произошло. Думаю, что

Ладди понимал, что делает, и я не возражала… Итак, это произошло — я перестала быть невинной. С этого дня он стал моим женихом. С вашего позволения, скажу так: да, он был моим женихом, но… И это самое весомое «но», когда-либо вами слышанное.

Он был моим другом!

Начало карьеры

Итак, моя первая работа. «Кнопф Сток компани» вдруг приняла решение попытаться поставить на нью-йоркских подмостках, с участием Маккенны, «Большое озеро» — пьесу, которую с большим успехом уже обкатали в Балтиморе. Они пригласили меня и предложили стать дублершей главной исполнительницы. Естественно, я была в восторге. Выучила роль, сделала свои пометки и ждала, будучи абсолютно уверенной, что я на голову выше Люсиль Николас, исполнявшей главную роль. Она была очень опытной актрисой. У нее не было сомнительного преимущества молодости. Она не мнила себя великим талантом и не была преисполнена чрезмерной самоуверенностью, основанной лишь на энергии и эгоизме. Конечно, мне тогда казалось, что я ужасно боюсь, но сегодня, оглядываясь в прошлое, можно без преувеличения сказать: все-таки у меня тогда было недостаточно страха. Я готова была войти в любую открытую дверь. Даже если бы внутри полыхал огонь. Репетиции шли уже неделю, и вот как-то утром, во время ленча, меня попросили задержаться и сыграть одну сцену. Движимая каким-то вдохновением, я, вероятно, очень хорошо ее провела. Они сняли с главной роли Николас и назначили меня. Конечно, я не полностью осознавала, что делаю, но делала это с каким-то шиком. Изменение положения было для меня естественным поворотом в судьбе — я исполняю главную роль… Со дня моего зачисления в труппу прошло четыре недели. Происшедшее казалось каким-то сном, как если бы… Я была близка к цели.

Вихрь воспоминаний. Бергдорф Гудмен, отвечавшая за костюмы, обувь… Бездна бижутерии… Поездка в Грейт Нек на вечерний пятничный спектакль. Это было очень популярное место, в котором шли одноразовые вечерние спектакли. Я поехала на своей машине. Генеральная репетиция в Нью-Йорке в Национальном театре, ныне — Недерландер, на Сорок первой улице. Там были сделаны фотографии. Мои, как мне мнилось, были великолепны.

На премьеру в театр Грейт Нек я приехала примерно в шесть часов. Подумала: ой, не буду заходить… Очень страшно. Останусь

на улице до последнего. Грим успею наложить в пять минут. С прической у меня вообще никогда не было проблем. Притворюсь, будто ничего особенного мне не предстоит. Зайду примерно в восемь десять.

И я послонялась, съела захваченный с собою обед. Наконец объявилась в театре за двадцать минут до начала — к ужасу всех без исключения. Но я действительно успела управиться с гримом. Оделась. Быстренько пробежала глазами свой текст.

Вскоре после выхода на сцену мне нужно было спародировать гида-француза, которого играл Кеннет Маккенна. По пьесе я вместе со своими матерью и отцом совершала турне по Европе. У меня было хорошее французское произношение.

Эта мизансцена вызвала оживление в зале. Раздались аплодисменты. Естественно, я подумала: вот оно — я звезда. Сразу же во мне родилась самоуверенность. Голос пошел вверх. Темп ускорился. И естественно — для всех, кроме меня самой, — я перестала понимать смысл произносимого мной текста. Слишком высоко… Слишком быстро. Я не чувствовала себя основной партнершей Маккенны — уже мнила себя звездой. Он был Моим партнером.

После окончания спектакля я обратила внимание, что почему-то никто не торопится заглянуть ко мне в уборную, чтобы сказать, как здорово я отыграла. Но поскольку мне еще не доводилось быть основной звездой премьерного спектакля, я, естественно, не знала, как, собственно, все должно происходить. Поэтому подумала: у них там, наверно, какие-то проблемы. Мне и в голову не могло прийти, что проблема — это я.

Некто Харлан Бриггс в этой пьесе играл моего отца, и я предложила подвести его в город. «Чудесно», — сказал он. Мы поехали. Поскольку ни от кого я не услышала чего-либо настораживающего, мне, разумеется, и в голову не приходило спросить его, не сделала ли я чего-нибудь не так. Он же, вероятно, к тому времени уже понимал, что меня решили заменить. Но промолчал. Высадив его, я приехала к себе на квартиру на Парк-авеню. Легла спать…

На следующее утро собралась уж было отправиться на репетицию, как вдруг позвонила Фрэнсис Робинсон-Даф и попросила заехать к ней сейчас же. «Я опоздаю». Она сказала: «Не волнуйся, нареканий не будет».

По дороге я подумала: «Что это, однако, значит — „нареканий не будет“?»

Подъехала к ее дому, поднялась наверх в студию, вошла… И сердце мое сжалось, едва я увидела ее продолговатое и очень серьезное лицо. «Я уволена?»

— Да, — подтвердила она.

— Ну… — У меня перехватило дыхание. — Плакать не стану… Разве вы не гордитесь мной?

— Нет, — возразила Робинсон-Даф. — Меня больше бы устроило, если бы вы плакали. Вчера вечером вы завалили спектакль. Слишком выпячивали себя.

— Ну что ж… Уволена… О Боже, какой стыд. Им, наверно, жутко неприятно. Кто будет играть вместо меня?

— Та, кто играла раньше… Люсиль Николас.

— Да, да, конечно. Она, наверное, очень рада. Хорошо. Теперь все же я поеду в театр. — Просто чтобы они видели, что я не слишком огорчена. — О Боже… такая неприятность для них.

— Кэтрин… Мне кажется, было бы лучше, если бы ты не ходила туда.

— О нет… Это вообще никуда бы не годилось. Это ненадолго. Я просто…

И я ушла — направилась в театр. Поздравила главную исполнительницу. Мне предложили остаться во втором составе. Я отказалась, считая, что поступаю разумно. Поблагодарила всех за все доброе и ушла. Что они подумали обо мне?

Потом села в поезд на Хартфорд и дома рассказала все без утайки.

Все решили, что впредь не пропустят ни одной премьеры с моим участием. Но очень может статься, что эта пресловутая премьера была единственной. Мы от души смеялись. Ха-ха… Я отправилась обратно в Нью-Йорк. На следующий день мне позвонили — Артур Хопкинс… и Дж. Дж. Шуберт.

Пошла сначала к Шуберту. Он видел мою игру в «Большом озере».

— Вы были очаровательны, моя дорогая. Среди публики, в пятницу вечером, были женщины… мужчины… джентльмены… сутенеры… шлюхи… дамы и дети. Вы им понравились — всем.

— Да, — сказала я, — всем, кроме администрации.

— Ну и дураки они, что отпустили вас. Я предлагаю вам контракт сроком на пять лет. Вначале двести пятьдесят долларов, в конце — тысяча пятьсот. Ежегодные премиальные.

Сориентировалась я быстро… Не покупай кота в мешке.

— Это, конечно, очень заманчиво, мистер Шуберт. Но не думаю, что приятно быть зависимой от кого бы то ни было, из-за чего не сможешь поступать так, как пожелаешь. Мне бы хотелось быть вольной птицей. Вам, возможно, захочется, чтобы я делала нечто такое, что мне неинтересно. И каково же тогда будет мое положение? Однако я очень благодарна вам за столь любезное предложение.

— Подумайте хорошенько. Не делайте глупости, Кэтрин.

— Да, я подумаю, сэр. То есть спасибо вам. — Судя по его виду, он был весьма изумлен, что его предложение не принято. Я повернулась и вышла из кабинета.

Прошла пешком по Аллее Шуберта и дальше по Сорок пятой улице до офиса Артура Хопкинса. Нашла лестницу, которая с тыльной стороны оркестровой ямы вела внутрь Плимутского театра. Поднялась наверх, подошла к его двери. Офис был маленький… Его секретарша, мисс Хесс, — слева, его собственный кабинет — справа. Мисс Хесс пригласила меня войти, позвонив ему предварительно по телефону. Я подошла к двери и остановилась. Хопкинс сидел за письменным столом лицом ко мне и читал какую-то рукопись. Прошла минута, другая — как мне показалось. Наконец он поднял голову.

— Здравствуй, дорогая. Я видел тебя вчера вечером. — Хопкинс улыбнулся. — Ты была хороша. Я бы хотел, чтобы ты работала у меня.

— Благодарю вас, сэр. Я не против.

Он посмотрел в рукопись. Я стояла. Шли минуты. Н-да, подумалось, вот так-то. Он хочет, чтобы я работала у него. Так что лучше, пожалуй, ретироваться. Он, видно, слишком занят.

И я повернулась, чтобы уйти. Хопкинс окликнул меня.

— Разве тебе неинтересно узнать, что ты будешь делать?

— Конечно, интересно, сэр. Очень интересно.

Он взял рукопись, оторвав ее от письменного стола.

— Прочти вот это… роль Вероники.

— Благодарю вас, сэр.

— Да… Со следующей недели мы начинаем репетиции. — Он вновь забегал глазами по своей рукописи. — В понедельник. В одиннадцать часов.

Я вышла. У меня была работа. Вот так, подумалось.

Артур Хопкинс был очень колоритный мужчина. Небольшого роста, тучный, приземистый, круглоголовый. Глаза карие, ясные, широко, очень широко поставленные. Прямой взгляд. Родом он был из Уэльса и потому чрезвычайно немногословный. Выражался просто. Думал просто. Держал слово. Исключительно привлекательная личность. Не поддавался ничьему влиянию. Список его в театре очень внушительный: Берриморы… «Ричард III»… «Гамлет»… «Анна Кристи»… «Праздник»… «Заводной». Он ставил это, сообразуясь со своими истинными театральными пристрастиями.

Хопкинс ни словом не заикнулся о жалованье… о моем положении. Ничего. И, стоя там, в его кабинете, я думала: «Ну и ладно. Важно то, что я ему нужна. Он знает, что я от него никуда

не денусь. Так зачем тогда тратить время на пустые разговоры об этом?»

Пьеса называлась «Эти дни». Автор — Кэтрин Клагстон. Мне предстояло сыграть в ней школьницу. Симпатичная роль. Там есть одна очень хорошая сцена, в которой директриса задает вопросы, а она, ученица, односложно отвечает: «Да, мисс Ван Ольстин… Нет, мисс Ван Ольстин». Очень спокойно. И при этом ни слова не говорит о девушке, про которую ее спрашивает директриса, то есть о главной героине, которую играла Милдред Маккой, — она совершила какой-то непозволительный проступок. В пьесе играла еще одна девушка — Мэри Холл, у которой тоже была очень хорошая роль. Она была смышленая, полненькая, веселая. Из Йеля.

Мы репетировали в Нью-Йорке и Плимутском театре. У Хоппи был свой собственный метод проводить репетиции. Все усаживались вокруг большого стола и читали пьесу по ролям. Снова и снова. И снова — от начала до конца. Пока все до единого окончательно не выучивали текст и не чувствовали, что пьеса полностью осела в их сознании. Потом — вперед галопом… Играть вприпрыжку. На сцене все вставало на свои места.

Такая манера работы над пьесой казалась мне тогда, равно как и сейчас кажется, весьма разумной. Вскочить с места с рукописью в руке и расхаживать по сцене, заглядывая поминутно в текст, — это всегда было для меня непостижимо. Я делаю это, но предварительно разучиваю роль. Мне кажется, что метод Хоппи, по которому мне пришлось работать в самом начале своей театральной карьеры, оказался для меня весьма благотворным. Если я знаю пьесу до начала репетиций, мне легче почувствовать, что следует сделать, чтобы сыграть ту или иную сцену. К тому же я заранее готова к тому, чтобы аргументированно спорить с режиссером… И текст к тому моменту сидит во мне. Многие актеры говорят: «О, но я не могу учить роль, пока не пойму, в каком направлении мне двигаться». Я лично никогда не видела в этом смысла. Это сродни тому, как если бы кто-то сказал, что не желает учиться ходить, пока не узнает, куда надо идти. В силу своей ограниченности я обязана учить роль. Потом моя интуиция подсказывает мне нечто вроде направления движения. Или режиссер. Не суть важно — кто… Стоите ли вы… Сидите ли вы… Просто: так слышит это публика.

Премьера «Этих дней» состоялась. Сначала в Нью-Хэвене, потом в Хартфорде, моем родном городе. Волновалась страшно. Потом в Нью-Йорке, в четверг вечером. Нью-йоркская премьера игралась в Корт-Театре на Сорок восьмой улице. Мы одевались вместе с Мэри Холл. Рецензии были вялые. Я удостоилась

похвалы. Мэри тоже. В пятницу вечером все, казалось, были чуточку не в себе. Не я, конечно: ведь меня похвалили. Ясно же, что всякий разумный человек прочитал именно этот отрывок… Конечно, из всей статьи я удосужилась прочесть лишь этот единственный фрагмент. Мне казалось, что это большой успех. Я и подумать не могла, что впереди неприятные неожиданности.

— Ты видела объявление?

— Ужасно…

Я не понимала, о чем они говорят. Какое объявление?

Как раз перед тем, как мне выйти на сцену, один из рабочих сцены похлопал меня по плечу.

— Да не переживайте вы. Вы всегда можете найти себе другую работу.

— Что вы имеете в виду? — Смутно начинаю догадываться, о чем он говорит.

— В субботу мы закрываемся.

Все актеры набились в кабинет Хопкинса, чтобы выяснить, нет ли у него для них другой работы. Я подумала: ладно, он знает, где я живу, — если понадоблюсь, сам позовет.

И он позвал — в субботу вечером. Шуберт-театр, Нью-Хэвен, в воскресенье днем — дублершей Хоуп Уильямс.

Между прочим, за «Эти дни» он платил мне 125 долларов в неделю. Очень высокое жалованье для начинающего актера. Очень великодушно. Столько же платил и за «Праздник». Мы никогда не обсуждали этот вопрос.

Через несколько лет Хопкинс вспомнил, как в пору «Этих дней» он отправил меня, чтобы я купила себе костюм. Он хотел, чтобы я выглядела нормально. В магазине миссис Франклин в Филадельфии я заказала трикотажный костюм ручной вязки… за 175 долларов. Еще во время своей учебы в Брин Море мне хотелось иметь такой. Увидев счет, Хоппи сказал, что это на 25 долларов больше, чем он заплатил за все костюмы главной героини, но раз я так довольна своей покупкой, у него язык не поворачивается отчитать меня.

Я была всецело поглощена дублерской работой. Хоуп Уильямс играла блестяще — весь вечер. Обаятельная актриса с уникальной дикцией. С замечательным детским личиком. Кроме нее, в составе были Дональд Огден Стюарт, его жена Беатрис Стюарт (он позже женился на Элле Винтер, вдове Линкольна Стефенса) и Бэбс Берден. Все они были типичными нью-йоркцами по рождению, или воспитанию, или по тому и другому, вместе взятому. И очень доброжелательны ко мне. Я никого из них не знала по-настоящему близко, но они были такие душки. Спектакль имел большой успех в Нью-Йорке.

После моего участия в «Празднике» в качестве дублерши Хоуп, которое продолжалось уже две недели, мы с Ладди решили пожениться. В Хартфорд приехал мой дедушка, у меня было шикарное платье — из жатого белого бархата со старинной золотой вышивкой вокруг шеи и чуть ниже, на груди, и на рукавах. Я сказала Артуру Хопкинсу, что увольняюсь. Потом была свадьба — в хартфордском доме номер 201 на Блумфилд-авеню. С обеих сторон присутствовали семьи в полном составе.

После свадьбы мы провели медовый месяц на Бермудах. Ладди всегда был готов проявить понимание — к счастью для меня. Я сказала: «О да, мы будем жить в Страффорде, штат Пенсильвания». И мы начали подыскивать себе дом. Но моего энтузиазма хватило на две недели. Мы вернулись в Нью-Йорк и поселились в его нью-йоркской квартире — на Тридцать девятой улице. А я пошла к Хопкинсу и попросилась на прежнюю работу. Он сказал: «Да, конечно. Я ждал тебя». — «Правда?» — «Ну конечно». — Он улыбнулся.

Итак, декабрь 1928 года. Я была замужем. Бросила театр. Поехала жить в Пенсильванию. Вернулась в Нью-Йорк и получила прежнюю работу. Бедный Ладди. Жена на две недели. О, Ладди! Смотри на вещи проще.

Я просидела на всех спектаклях на подмене почти шесть месяцев.

Спустя месяца три после моего возвращения в театр Хопкинс как-то заглянул на репетицию второго состава. Со мной занимался Джимми Хэйген, режиссер сцены. Позже он написал очаровательную пьесу — «Однажды в воскресенье днем». Артур просидел в зале всю репетицию. Я «работала на публику», потому что втайне была убеждена, что некоторые очень эмоциональные пьесы играю лучше Хоуп. Когда мы закончили, Артур подошел к сцене.

— Чудесно, — сказал он и похлопал меня по плечу. — Только не надо жалеть себя.

Откровенная критика сверхэмоциональной молодки. Позже, уже осенью, когда пьеса готовилась для выездных гастролей (на лето я уезжала в Европу), мне в полночь позвонил Джимми Хэйген.

— Ты еще не забыла роль, Кейт?

— А что? — спросила я.

— Хоуп заболела. Мы выступаем в Шуберт-Ривьера на Верхнем Бродвее. Она не уверена, что сможет сыграть завтра на дневном и вечернем спектаклях и в понедельник на премьере в Бостоне. Не можешь ли выйти за нее завтра вечером?

— В общем… Да… Надо подумать. Пожалуй…

Я встала, взяла рукопись и начала просматривать. Действительно, я еще помнила роль. Память в таком возрасте цепкая. «Почему, Джулия? Стыдно, Джулия. Разве можно так проводить утро? Кто твой партнер — я его не знаю?»

И я вышла… в платье Хоуп. Как — этого мне не дано понять — я на несколько дюймов выше ее ростом. По ходу спектакля порой ловила себя на мысли, что Хоуп здорово все-таки играла, что мне необходимо найти свою собственную линию в роли. Не подражать ей. Это было испытание огнем. В тех местах, где Хоуп вызывала хохот, меня ждала тишина. Но к третьему акту я отчасти нашла себя. Весь состав пребывал в неменьшем волнении, чем я сама. Когда мы играли в Нью-Йорке, Хоуп спросила меня, не стану ли я возражать, если она на один вечер останется дома, а я, таким образом, получу возможность сыграть эту роль. У меня хватило ума сказать: «Нет… нет… нет. Что вы, не надо». Я была права. Выходить на сцену вместо кого бы то ни было — значит быть вечно второй, как минимум.

Тем не менее я прошла через это… Равно как и весь состав. И публика — тоже. Разочарована я была лишь в одном: Хопкинс не пришел посмотреть на мою игру. Спустя годы я спросила его:

— Разве вам не было любопытно?

— Нет, — сказал он. — Я видел. Я знал, что ты хороша.

Но это меня не удовлетворило… И до сих пор у меня остался горький осадок. Мне тогда так хотелось, чтобы он пришел. Почему, по-вашему, он не пришел?

Уже после «Большого озера», после того, как меня вывели из спектакля, мои фотографии оказались на стенде, с боковой стороны театра «Бижу» рядом с пешеходной дорожкой на Сорок пятой улице. Их увидел некто Генри Солсбери из киностудии «Парамаунт», позвонил мне и спросил, не соглашусь ли я прийти на пробу. Нет, это пустой номер. Я даже не актриса, а так, просто фиксатор. Они подпишут со мной договор на мизерный срок, и я вмиг потеряю то, что уже имею. При встрече с мистером Солсбери я высказала ему именно эти соображения. Но прибавила: «Если когда-либо и решусь сняться для пробы, то сделаю только ради вас». Мне казалось, что это было благородно.

Он посадил меня в большой лимузин и повез в театр на премьеру пьесы с участием Джека Демпси. Господи, подумала я, чем не замечательные времена? Но не води компании с незнакомыми людьми. Не водись с боссами — ты утратишь свою тайну.

У меня не было своего агента. Кое у кого тогда уже были агенты, но они еще не контролировали бизнес, как это делается сейчас. Обычно, то есть, по правде говоря, не обычно, а всего два-

три раза, я ходила в разные офисы. Приходила и садилась. В конце дня секретарша подходила ко мне и спрашивала: «По какому делу? По какому вопросу вы пришли?» Единственный случай, достойный упоминания, — это когда я сказала секретарше продюсера Эла Вудса: «Я пришла узнать, не вакантна ли у вас роль девушки в «Прощай, оружие». — «О, — сказала секретарша, — у нас состав определен надолго вперед. Хотя… — У нее было доброе, отзывчивое сердце. — Вы все-таки поговорите с мистером Вудсом». Я так и сделала. У него тоже было отзывчивое сердце. Я спросила его, кто будет играть эту роль. Он сказал: «Элисса Ланди». Этим вопросом я исчерпала все свое красноречие. Просидела весь день. Все вокруг были одеты так, чтобы сразить наповал. И хотя я пришла достаточно рано, шанса получить роль у меня не было.

Чтобы они не подумали, будто я приму все, что угодно, я обыкновенно одевалась в костюм, который висел на мне как балахон. В качестве головного убора использовала старенькую вязаную шапочку… или вообще ничего, особенно когда в моде были шляпы. Надевала также видавшее виды зеленое твидовое пальто, которое застегивала булавкой. На плечи набрасывала свитер, распускала слегка волосы… Характерный штрих для того времени. Я хотела выглядеть так, чтобы казалось, будто мне все равно — получу я роль или нет. У меня была машина, и это придавало мне определенную уверенность. По крайней мере я могла без суеты приехать. Но вообще-то я не так часто отправлялась на поиски работы. Мне везло. Однажды вечером, когда я была в театре «Эмпайр», ко мне подошел шикарного вида незнакомец и сказал:

— Прошу прощения, вы работаете в театре?

— Я хотела бы работать в театре.

— Позвольте дать вам рекомендацию в театр «Гилд»?

— Благодарю вас.

Это было в 1929-м. Мужчина этот был Морис Вертгейм — один из попечителей театра «Гилд». А еще знаете, кем он был? Я выяснила — он был отцом Барбары Тачмэн, автором таких книг, как «Августовские пушки» и «Гордый замок».

Я представила «свои верительные грамоты» в театр «Гилд». Письмо от Мориса Вертгейма оказало магическое действие. Я встретилась с Терри Хелберн (также выпускницей Брин Мор), Лоуренс Лангнер, Филипом Меллером. Они готовили пьесу Сэма Бермана «Метеор». В главных ролях выступали супруги Лант. Не почитаю ли я за «инженю»? Да, конечно. Они дали мне рукопись.

Спустя годы я напомнила Терри Хелберн (она вместе с Лоуренс Лангнер возглавляла «Гилд») этот случай. Терри сказала:

«О да! Был список девочек или мальчиков — у Лоуренс, у Вертгейма, у меня. Их нужно было использовать».

Я, вероятно, еще не могла тогда удержать за собой роль. Но получить уже могла любую. У меня был своего рода конек. От мимолетной фразы я могла завестись… независимо от того, читала я текст или нет. Я могла захватить их внимание. Могла смеяться… Могла плакать… Была стремительной. Скорость очаровывала меня. Иной раз я по нескольку дней думала только о какой-нибудь читке. Или встрече с кем-то. Я что-то ела… упражнялась… сколько-то спала. Потом я выезжала из дому на машине Ладди и напрягалась, как стальная пружина. Перед выездом раз по сорок бегала в ванную комнату. Я всегда являлась заранее. Потом сосредоточивалась. И читала. Я как бы пребывала в перманентном возбуждении. Мне никогда не давалось легко общение с людьми. Наверное, меня сковывал страх. Вероятно, меня слишком занимала мысль, какое я произвожу впечатление. Но сосредоточенность была полнейшей. Этому способствовало не содержание роли. А самое обычное желание: вдохнуть жизнь в роль… сделать живым персонаж… зажечь публику. Ошеломить ее. Ослепить. Когда вся внутренняя эмоциональная энергия находилась словно в тисках и не могла выплеснуться наружу, тогда я была просто обречена на неудачу. И всегда очень точно знала, зажата я или раскрепощена. Принять ванну… холодную… горячую… расслабиться. Как работает мотор? Смысловая сторона роли представляла собой своего рода каркас. Но пламя жизни… тогда и теперь… — это пламя жизни.

Замечательная история Лоретты Тейлор. Она играла в «Стеклянном зверинце». Лоретта всегда казалась мне — и Спенсер Трейси тоже, оба ирландцы, оба сдержанные, — казалась мне каким-то воплощением скетча. Она всегда как бы находилась внутри роли и вне роли: просто показывала, как набирается номер телефона, показывала все, что зритель пережил когда-то как свой непосредственный опыт; предлагала им это… позволяла им взять то… потом пользовалась этим… Без напряжения, легко… потом наполняла, расцвечивала характер. Никто никогда не видел, как крутятся внутри колесики. И всегда происходило чудо. Был виден остов, но все, как целое, было магией. Спенсер, играющий на флейте, как Джадж Тимберлен, прикуривающий сигарету одной рукой в «Черном дне у Черной скалы», ненавязчиво разработанный характер… Только легкие штрихи. Они были моими идеалами.

Впервые я увидела Лоретту в Чикаго в «Стеклянном зверинце». Я ездила по штату с Терри Хелберн. Театр «Гилд». Полет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, пересадка, Чикаго.

Терри сказала мне:

— Кейт, не хочешь задержаться и посмотреть «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса с Лоретой?

— Да, пожалуй.

Мы остались в Чикаго. Я уже слышала восторженные отзывы о Лоретте от Джорджа Кьюкора и не хотела упустить возможность увидеть ее воочию. Мы остановились в отеле «Блэкстоун», потом отправились в театр. Зашли через служебный вход. Задолго до начала спектакля.

Лоретта была уже там: сидела за своим столиком, еще не одетая, — мягкие чудесные белокуро-рыжеватые волосы в мелких кудряшках, — и как раз гримировалась. Возьмет чуть того, возьмет чуть этого. Светлые ресницы, брови; глаза такие широко расставленные, такие широко распахнутые — свидетельство множества безумных, трогательных и забавных мыслей. Сочный большой рот. Нос — вроде тех, что у клоунов. Характерная для ирландки жесткая, песочного цвета кожа, румянец на щеках.

Джордж Кьюкор заметил однажды, рассказывая о своих визитах к старым звездам, что, гримируясь, они сидят, обставившись склянками, в которые опускают свои пальцы. Потрут щеки — розовые; губы — красные; верхние веки — голубые, фиолетовые. Линия здесь, линия там, чуть пудры, и веки становятся черными. Все — память и магия.

Она не укладывала волосы. Она как бы расчесывала их, делала пушистыми. Была похожа на Спенса. И оба были похожи на печеный картофель: основательные, безо всяких выкрутасов, жесткие в известном смысле. И все время без устали говорят и шутят, точно клоуны — высший класс. В этом была ее жизнь. А как она умела делать это — подсказывала сама ее природа. Ей понадобилась минута, чтобы дойти до маленькой комнатки, до вестибюля. Никакого напряжения. Никакой спешки — такова Метода, — никакого зажима. Оба были от природы способны показать вам, рассказать вам, расчувствовать, пленить вас, заставить вас смотреть. Такова была настоящая жизнь. С утра до вечера — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, — за ними было не угнаться. Именно эта гонка сжигала их.

О чем она рассказывала нам? Не помню. Ах да — о Джулии Хейдон, исполнявшей роль дочери в спектакле. Когда актеры вышли на поклоны, Джулия повернулась к зрителям спиной и поклонилась Лоретте (я нисколько не виню Джулию). Иному это польстило бы. Но Лоретта воспринимала это как пижонство:

— Не делай этого, моя дорогая, — я дам тебе пинка. Собью тебя с ног.

Вернемся, однако, к теме рассказа. Джулии Хейдон мучительно трудно давалась ее роль. Несколько месяцев спустя я опять увидела этот спектакль в Нью-Йорке. Джулия смотрелась уже значительно лучше. Я сказала об этом Лоретте. «Да, — согласилась она. — Кроме того, она играет себе в удовольствие. Это очень важно».

И добавила: «Помню, как я во второй раз играла в пьесе «О, душа моя, Пег!» После пятилетнего перерыва. Премьера была в Филадельфии, и критики писали, как великолепно я сыграла, как здорово вжилась в роль. Писали и писали. Возвращаясь в Нью-Йорк на премьеру в тамошнем театре, я сказала своему мужу, Хартли Мэннерсу: «Разве это не здорово, что они думают: я такая хорошая?» Он улыбнулся и сказал: «Конечно. Но мне больше нравится, как ты это делала. Ты играла себе в удовольствие».

Лоретта заметила, что ужасно разозлилась на него. Перестала с ним разговаривать. Потом поразмыслила и поняла, насколько изящной, насколько глубокой была его мысль. И возвела ее в свой принцип. Если публике известно, сколько труда и усилий стоит вам игра, ей становится скучно. Это, как ни странно, справедливо, независимо от характера пьесы — будь она смешная или серьезная.

Как бы там ни было, я прочла «Метеор» в состоянии необыкновенного волнения. На следующий день я снова пришла на читку. Режиссер Фил Меллер. Супруги Лант. Терри и Лоуренс. И Черил Кроуфорд. И разумеется, Сэм Берман.

Я выполнила свою программу-минимум — получила работу.

Потом произошло как раз то, что характерно для театра. Мне позвонили. Шуберты. Не приду ли я почитать за главную героиню пьесы «Смерть, берущая отпуск»? В роли главного героя — Филип Меривейл.

В общем, да… Я бы пришла… Когда начинается читка? Сейчас. «О Боже, — подумала я. — А как же «Метеор»? Что ж, попробуй… Выберешь лучшее».

Они прислали мне рукопись.

Я прочла ее и была сражена. Роль показалась мне поистине чудесной. Очень романтичная… Молодая девушка, уходящая в смерть. И главная роль… И Филип Меривейл и Джеймс Дейл. Лоуренс Мартсон постановщик. Я прочла за главную героиню и получила эту роль.

После этого я решила, что обязана сообщить администрации «Гилда», что у меня есть более выгодное предложение. Я сделала это. Мне было немного неловко перед четой Лант, перед «Гилд».

Но Грация в «Смерти, берущей отпуск» казалась мне просто великолепным предложением, и я не в силах была устоять перед таким соблазном.

Начались репетиции. Вначале были — скажем так — проблемы. Пришлось даже плакать. Я убегала в туалет театра, закрывалась там и ревела вволю… Но слезы еще никогда не помогали в деле. Супруги Меривейл — Вива и Филип — всячески ободряли меня, Джеймс Дейл тоже. Они уверяли, что роль мне вполне удается. Мы отправились в Вашингтон, в Национальный театр. Премьера. После нее один положительный отзыв: «Новая Мод Адамс» и один укол: «Еще одна девушка, мятущаяся по свету, подобно голове смерти, с металлическим голосом».

Потом была премьера в Филадельфии. И опять — раз похвалили, раз укололи. Я даже не подозревала, насколько мое положение было шатким.

В среду вечером, за полчаса до начала спектакля, ко мне зашел постановщик и сообщил:

— Мы выводим вас из состава.

— Что? — спросила я, еще не понимая смысла того, что он произнес.

— Мистер Шуберт выводит вас из состава.

— О да, понимаю… — промямлила я, стараясь сдержаться. — В таком случае передайте мистеру Шуберту, что у меня нет намерения выходить из состава. Так что если он хочет уволить меня, пусть берет и увольняет. Но сейчас будьте добры закрыть дверь с другой стороны. Мне пора готовиться к вечернему спектаклю.

— Кэтрин, я обязан был сообщить вам об этом сейчас, до начала спектакля. В противном случае нам пришлось бы выплатить вам дополнительное недельное жалованье.

— Бедняжка, — посочувствовала я. — Уходите же.

Итак… уволили. Самое время показать мистеру Меривейлу, мисс Дейл и мистеру Дейлу, что я еще жива. Я пошла к ним. Они все пустили слезу. Это меня взбодрило. Начался спектакль. У них ручьями текли по щекам слезы, стоило им только взглянуть на меня. После спектакля Меривейл сказал: «Обязательно приходите к нам на ужин, посидим втроем — вы, я и Вива». Я пришла, и он вместо разговора прочел пьесу о Наполеоне, которую сочинял. Пьеса оказалась скучной и длинной, так что я до смерти устала, слушая ее. Вконец утомленная от его чтения, я совсем забыла про увольнение и спала как убитая.

Позвонила домой — рассказала Папе и Маме о случившемся. Мама уже видела меня в Вашингтоне. Поэтому в Филадельфию приехал Папа. Наш спектакль он назвал чистейшей воды

дребеденью. Комментарий блестящий.

— Если девушка настолько глупа, что готова совершить самоубийство, то она, несомненно, психически больная. Ты превосходно ее подала. Безусловно, она — сумасшедшая. Ты играла явную психопатку.

Наконец-то понятно, почему меня уволили. Но, к счастью, я не знала, что последние десять дней наши спектакли смотрела Роуз Хобарт, которой теперь предстояло меня заменить. Это обстоятельство наверняка немного покоробило бы меня. По меньшей мере.

Обратно в Нью-Йорк. Премьера «Метеора» уже прошла. Хорошо бы получить чего-нибудь… Хоть что-нибудь. Побыстрей. Чтобы не болтаться без дела и не жалеть саму себя. Я пошла в «Гилд». Увиделась с Черил Кроуфорд. У них не было подмены для Эунис Стоддард, которая играла инженю с Назимовой в «Месяце в деревне». Если меня устроит… Жалованье минимальное. «Отлично, — сказала я. — Согласна». Каждое представление, на котором я по долгу службы присутствовала, наблюдая за игрой Назимовой, Генри Траверса и Дадли Диггса, доставляло мне истинное наслаждение. Двадцать пять долларов в неделю. Потом более выигрышную роль получила Хортенс Олден, игравшая служанку.

— Чудесно, я возьму эту роль. А как насчет надбавки?

— Нет… Надбавки не будет. Нам не составит особого труда найти людей, которые согласятся выполнить эту работу за минимальную оплату. Либо ты будешь это делать, либо нет — решай.

— Я буду делать это в любом случае, — сказала я и стремительно вышла из кабинета. Пять долларов… Почему бы им не положить мне пять долларов? Ладно, когда-нибудь… они пожалеют. Так и случилось.

Наступила весна 1930 года. У меня вроде бы не намечалось никаких изменений. Летом вместе с Эунис Стоддард я ездила на две недели в Европу. Потом в Стокбридже, Новая Англия, обратилась в театральное объединение «Александер и Кирклэнд энд Стриклэнд компани», готовая на любое предложение. Вместе со мной поехала моя подруга Лора Хардинг. Мы обе были ученицами Фрэнсис Робинсон-Даф. Она была очень привязана ко мне. Лора уже была в Стокбридже год назад. У нее была своя машина. Ладди трудился как пчелка в Нью-Йорке, но наезжал очень часто. В Новой Англии мы столовались в старинном доме священника и его жены. В одно время с нами здесь находился Ричард Хейл. В эту труппу входили Джеффри Керр и Джун Уокер. И Филис Коннар. Первой пьесой должна была стать «Этот

восхитительный Крайтон». Ричард Хейл играл Крайтона. Джун Уокер играла Твини. Джеффри Керр — сына. А Филис Коннар — леди Мэри. Ее двух сестер, леди Агату и леди Кэтрин, — соответственно я и Лора.

С самого начала мне было обидно, что не я играю леди Мэри. Я считала, что по всем своим качествам более подхожу для роли, чем Филис Коннар. Другие главные роли казались мне чересчур скучными, «нафталинными». Видеть себя во всех ведущих ролях я могла только в воображении. Это, конечно, общий недостаток актрис. Но Лора сказала, что пришла в ужас, когда услышала от меня подобное. Принятая в труппу, она считала, что ей просто повезло. Мне же казалось бесспорным, что это им очень повезло, что я играю в их труппе. Мысль о том, что я, по сути дела, пока почти ничего не могу, никогда меня не посещала.

У Лоры было много красивых драгоценностей. Мы любили покрасоваться.

Это было очень веселое время. Мы обе сходили с ума по Ричарду Хейлу. А он сходил с ума по своей собственной жене. Джордж Кулурис тоже был в труппе. И мы с азартом сражались с ним в настольный теннис.

Вторую неделю шел спектакль «Романтическая юная леди», в котором у меня была роль некой роковой женщины в черном, очень хрупкой. Я поняла, что попусту трачу время, ибо не было никакой перспективы получить приличную роль. И я ушла. Лора была в шоке. Я же была рада, обретя свободу. Остаток лета провела в Фенвике. Мы с Ладди отлично отдохнули.

Затянувшийся перерыв осенью 1930 года. Иногда то тут, то там проблескивал слабый луч надежды, но ничего реального. Я продолжала заниматься. Потом на горизонте возникла пьеса «Искусство и миссис Боттл».

Эту пьесу Бенна Леви вознамерились поставить Кеннет Макгоуэн и Джозеф Рид. Главные роли предназначались Джен Коул и Леону Квартермейну. Намечалось привлечь Дж. Хантли-младшего и Джойса Кэри — друга Ноэля Коуарда. Режиссер — Клиффорд Брук. Они уже поставили «Двенадцатую ночь». «Искусство и миссис Боттл» должна была стать второй пьесой в репертуаре этого сезона в театре «Максин Эллиот» на Тридцать девятой улице за Шестой авеню. Их офис находился очень близко от того места, где жили мы с Ладди, — на углу Лексингтона и Сорок первой улицы.

Послали за мной. Я явилась на встречу. Прочла для них и вроде бы понравилась. Они видели меня в «Этих днях». Получила роль. В тот период мне часто доставались роли англичанок или американок, непременно белых, с безупречной англосаксонской

родословной. Они не приглашали необходимого числа английских актеров. Вдобавок не хватало актеров с хорошим произношением. Мне положили 125 долларов. Моя роль очень хорошая, из амплуа инженю. В ней было мало текста, который бы определял смысловую нагрузку пьесы. Эта задача легла на Джейн Коул. У меня было несколько хороших сцен. Прекрасная возможность для инженю произвести впечатление.

Приступили к репетициям. Являлась на них, одетой в тряпье, как это водится среди современных актеров, но тогда это было неслыханно. Кроме того, я не пользовалась гримом. Только ярко-красной губной помадой.

Бенн Леви считал меня совершенно непривлекательной по части наружности, интеллектуального потенциала и таланта. «Что она делает? Неужели каждое утро она умывается хозяйственным мылом?»

Бенн Леви был почти прав. Мне и в самом деле нравилось наводить на лицо глянец.

Джейн Коул отвела меня в сторонку. Она сказала, что я ей очень нравлюсь, но что Бенн Леви не привык к такому американскому типу. И предложила мне немного смягчить образ, который, как уверяла она, ей нравится, а ему претит.

Джейн наложила мне грим. Но это не помогло. Леви по-прежнему считал меня непривлекательной, и меня отпустили. Со своей стороны, я, разумеется, считала, что они глупцы и еще пожалеют о содеянном. Так и случилось. Через неделю меня позвали обратно. Я сказала, что теперь им придется платить мне не 125, а 150 долларов, поскольку моему самолюбию нанесен ущерб. Я ничем не рисковала, ибо знала, что, кроме Леви, меня все любят, что они находятся в жутком цейтноте и что уже пробовали на эту роль всех молодых актрис, каких только можно было сыскать в городе. Они согласились платить мне 150 долларов, несколько потрясенные моей американской напористостью в ведении дел.

Мы сыграли премьеру — и я произвела фурор. Как и после «Этих дней», у меня была хорошая пресса. Тут необходимо сказать, что Джейн Коул всячески опекала меня. Она, казалось, была страшно рада моему успеху и делала все, чтобы выставить меня на первый план. Как всегда бывает со старым и новым, меня хвалили отчасти за ее счет.

Ноэль Коуард не только почтил своим присутствием спектакль, но соизволил преодолеть пять лестничных маршей, чтобы заглянуть ко мне в костюмерную, которую я делила с Альфредом де Лиагром, похвалил меня и пожелал дальнейших успехов. Я открыла для себя редкое благородство и горячий

энтузиазм коллег по театру. Часто приходится слышать о зависти. Я никогда с нею не сталкивалась. Мне кажется, что театр, в силу специфики своего внутреннего существования, дает обильную пищу для зависти, поэтому всякий здравомыслящий, с самого начала своего появления в нем, стремится противостоять ей.

Сезон закончился, и я во второй уже раз отправилась на лето в Айворитон, штат Коннектикут. Лоуренс Онхольт и Мильтон Штифел возглавляли там очень солидную акционерную компанию.

Именно в Айворитоне я действительно многому научилась. Они дали мне работу, которую можно определить как «главная роль напополам»: играла, когда им не удавалось нанять известную актрису. С этой точки зрения мне очень мало что удалось сделать в театре, зато меня знали в округе — благодаря Маме и Папе. Компания пользовалась хорошей репутацией. Да и находилась она всего в пятнадцати милях от Фенвика.

В тот год Генри Халл — в ту пору большая знаменитость — согласился поставить для них несколько пьес. У Генри был дом в Лайме; это напротив Коннектикут-Ривер, недалеко от Олд-Сейбрук и Фенвика, моей родной обители. Я обычно ехала на своей машине до Лайма, потом, миновав его, чуть севернее сворачивала на восток и оказывалась на территории усадьбы Генри. Машину оставляла в поле у берега озера, пешком, через небольшой лес, шла к дому Генри. Мы репетировали с ним по нескольку часов.

Однажды я проделала именно то, о чем рассказала выше. Однако, когда после репетиции пришла на поле к тому месту, где оставила машину, ее там не оказалось. Я была в растерянности. Украли. Очевидно, украли. Я вернулась в дом. Генри и миссис Халл пошли со мной в поле. Машины нет. Тогда я остановилась и посмотрела вниз в сторону озера. О Боже, что это? Очертания какого-то правильного, как у крышки коробки, квадрата… Это… О, ей-богу… Это моя… Это моя машина… Моя машина… Ее верх.

Я помчалась вниз по склону. Да, моя машина, примерно на двадцать футов находящаяся в воде. Собственно, был виден только ее верх. Мы бегом кинулись обратно к дому и позвонили в гаражную мастерскую Лайма. Попросили их побыстрей приехать. И чтобы они захватили с собой трос подлиннее, веревку и все прочее. Приехали. Вытащили машину.

— Как же теперь? Как? — спрашивала я.

— Подождите часок. Потом попробуйте завести, — посоветовали мне. Мы подождали. Потом повернули ключ и попробовали завести. Она завелась!

Генри Халл хотел взять меня в качестве партнерши на

главную роль в «Мужчине, который вернулся» — пьесе, которую он уже ставил раньше. Последняя сцена в этой пьесе происходила в притоне наркоманов. (Жена пряталась с рукописью в один из шкафов, стоявших на сцене, — на тот случай, если он собьется.)

Последние две строчки пьесы всегда приводили меня в восторг.

Генри. Дюйм за дюймом я пройду весь путь от этого притона до дома моего отца.

К.Х. А я? Как же я?

Генри. Ты? Я возьму тебя с собой.

Мы также играли «Кота и канарейку» и пьесу, которая с большим успехом прошла в Нью-Йорке. Называлась она «Да здравствует веселье!», с Франсиной Ларримор в главной роли. Поистине великозвездная роль для искушенной, примерно сорокалетней актрисы. Как я отважилась? Я так нервничала, что, проснувшись однажды утром, обнаружила, что вся верхняя губа у меня вспухла. Вид у меня был идиотский. Разревелась и позвонила Папе.

— Приложи лед, — подсказал Папа.

Помогло.

— Успокойся, — подытожил он.

Я попыталась.

И все-таки я сыграла ту роль. Потрясающая дерзость.

У меня до сих пор хранятся некоторые программки и других спектаклей тех двух лет. Правда, теперь уже и не вспомнить, о чем были те пьесы. Равно как и то, какие роли я в них играла. Я многому научилась.

Благодарю вас, Лоуренс Онхольт и Мильтон Штифел.

Летом в Айворитон позвонили из офиса Джильберта Миллера. Филип Барри написал пьесу под названием «Звериное королевство». На главную мужскую роль планировался Лесли Говард. Были две главные женские роли: его жена и его любовница. Фил хотел, чтобы я сыграла любовницу — Дейзи Сейдж. Я прочла рукопись и была от нее в восторге. Постановку должен был осуществить Джильберт Миллер. Роль была чудесная. Говард в пьесе жил как бы двумя жизнями, поэтому репетировались два пласта. Генеральная репетиция должна была состояться через четыре месяца. Разумеется, я готова была ждать и согласилась на условия офиса Миллера, но контракта фактически не подписала. В тот год мы с Ладди поехали в Европу. Время бежало быстро. И следовательно, работало на меня — я стала звездой.

Репетиции начались, кажется, в ноябре 1931 года. Я оделась по последней моде, обула туфли на высоком каблуке. Это было моей первой ошибкой: теперь я стала выше Лесли Говарда. Я старалась пригибаться, а в обеденный час сбегала домой и переобулась в туфли на плоской подошве. Они не очень смотрелись, но главным в тот момент было: как смотрится он?

С самого начала я почувствовала, что чем-то не устраиваю мистера Говарда. Старалась и так и сяк подладиться… Быть ласковой, женственной… Какой только я не старалась быть, чтобы свести к минимуму чересчур энергичные проявления моего характера. Я прилагала неимоверные усилия — ничто не помогало. Запомнился один неприятный эпизод, когда я сказала: «Нет ли у вас каких-либо пожеланий относительно моей игры, мистер Говард?» И он ответил — я ничего не выдумываю, именно так и ответил: «В сущности, мне совершенно наплевать, как вы играете, моя дорогая».

Вот так… Деликатности в его ответе не было ни на йоту. И я, естественно, растерялась, просто лишилась дара речи. И пошла восвояси. Возможно, он был в дурном расположении духа. Мне никогда не приходило в голову, что он считал меня чем-то, недостойным его внимания.

На следующий день нам нужно было репетировать наши диалоги. Надо было ехать в район западнее Восьмой улицы. У меня была машина. Еще шла первая неделя репетиций. Я предложила Уолтеру Абелю, который по пьесе был моим поклонником, подвезти его. Пока мы добирались, выяснилось, что решили репетировать сцены с женой главного героя, так что на один день нас освободили. Я сказала Уолтеру, что отвезу его обратно домой. По пути в город — он жил на Восьмой авеню — я рассказала ему, как ужасно волнуюсь, как хочу, чтобы роль позволила мне утвердиться, что Фил, в сущности, написал ее для меня. Что…

— О, — сказал Уолтер, — в этом деле ничего просто так не бывает. Как это ни смешно. Разумеется, роль замечательная. Но будут другие.

— О, не для меня, — посетовала я. — Вот в чем дело.

Я высадила его. А когда ехала в гараж, невольно задалась вопросом: а не пытался ли он подсказать мне, почему мы не репетировали? Нет ли чего?.. О нет…

Я вернулась домой. Только открыла дверь квартиры, как услышала телефон. Звонил мой брат Дик, из Гарварда. Он начал рассказывать мне, какую замечательную вечеринку устроят они в мою честь по случаю премьеры и моего дебюта в Бостоне.

Предчувствие.

— Нет, — сказала я. — Еще сглазите. Не надо ничего планировать.

И в этот самый момент раздался стук в дверь.

— Вам телеграмма, мисс Хепберн, — сообщил мистер Брайс, наш консьерж.

— Просуньте ее под дверь, пожалуйста, мистер Брайс.

Я закончила свой разговор с Диком. Прошла к двери. Небрежно вскрыла телеграмму. Она была от Джильберта Миллера.

«Согласно пункту 1 Вашего контракта уведомляем Вас данной телеграммой об истечении срока. Джильберт Миллер».

Уволена… О Боже… Нет… Ведь я несколько месяцев ждала этой роли. И она как нельзя подходит мне. Почему? Так обидеть. За что? О нет! Нет-нет, тут, вероятно, какая-то ошибка! Позвоню-ка Филу Барри. У меня был номер его телефона. После бесчисленных попыток я наконец дозвонилась-таки. Он принимал душ. Я представилась и сказала, что у меня очень важный вопрос. Фил взял трубку.

— Меня уволили.

— Да, я знаю.

— Но почему… за что уволили?

— Ну, если уж говорить правду, пусть и горькую, то ты не показалась в должной мере убедительной.

— О да… Понимаю… О Боже… Да… Нет… Благодарю. До свидания.

Я повесила трубку. Момент был отчаянный. Меня уволили, потому что моя игра не была убедительной. Но я хорошо играла, разве не так? Я так старалась! Роль словно по мне скроена. Что же было не так? И выпячивания никакого с моей стороны не было. Я сдерживала себя. Конечно, я чувствовала, что не нравлюсь Говарду — то есть, может, рост мой его не устраивал: то выше, то ниже его… Может… В общем, что-то ему не нравилось. И никакой платы. Ни цента. А я ведь четыре месяца ждала эту роль. Некрасиво. Да, совсем некрасиво. Нечестно. И все об этом узнают. И как это объяснить? Что ж, надо просто сказать, что меня уволили. О, какой это был удар. Он выбил меня из седла. Хорошо бы скорее получить другое предложение. Я чувствовала себя никому не нужной. Мучилась вопросом, где же я все-таки споткнулась? Чувствовала, что могу играть ту роль. Я все еще брала уроки у Фрэнсис Робинсон-Даф. Она не мучила меня. Я же старательно следила за своими «пи» и «кью». Старалась быть мягкой и приятной. Почему, черт возьми, они уволили меня? Я

совсем неплохо исполняла ту роль. Причины предыдущих увольнений были мне понятны. Но это увольнение — нет. Это была моя роль. Почему…

Уже потом кто-то из знакомых четы Миллеров рассказал мне, что в тот день, когда меня уволили, жена Джильберта — Китти Миллер — сказала: «Дурачки вы, мальчики. Эта девушка когда-нибудь станет большой звездой. Вы просто боитесь, что она затмит собой сам ваш спектакль». Интересно, действительно ли она так сказала? Может быть, да. Может быть, нет. Как бы там ни было, это пролило бальзам на мою душу, и, хотя я никогда не встречалась с Китти Миллер, я, разумеется, всегда восхищалась ею.

Таковы были мои дела. Снова уволили. Вытолкали в шею без зазрения совести. Найти работу. Найти работу…

Телефонный звонок. Не соглашусь ли я сыграть вместе с Лореттой Тейлор в «Алисе у камина»? Режиссер-постановщик — Билл Брейди-младший. Дважды спрашивать им не пришлось.

Мы приступили к репетициям. У меня была крохотная роль. Все сидели кружком и читали пьесу. Билл-младший по ходу чтения поправлял меня в том или ином месте, на что Лоретта говорила: «Нет-нет, Билл. Давайте сначала посмотрим, что она сама хочет предложить». Я так и не узнала, действительно ли она считала, что у меня есть что предложить. Вечером первого репетиционного дня мне позвонил некто Гарри Мозес и предложил участвовать в бродвейской постановке пьесы «Супруг воительницы». Я прочла сценарий. Роль показалась мне чудесной. Если получу ее — откажусь от «Алисы у камина».

Роль я получила. Вскоре они решили, что их больше устроит Джин Диксон. В течение целых сорока восьми часов я считала, что потеряла обе роли. Потом они все-таки остановили свой выбор на мне.

«Супруг воительницы»

«Супруг воительницы» первоначально была одноактная пьеса, написанная Джулианом Томпсоном, главой компании «Маккессон энд Роббинс». В основу был положен древнегреческий миф о любви Антиопы и Тесея. Пьеса ставилась «Комеди Клаб» — любительской труппой, работавшей в очаровательном маленьком театре на Тридцать шестой улице. Хоуп Уильямс играла главную роль Антиопы. Хоуп — настоящее дитя нью-йоркских «Четырех сотен». Элегантная оригинальность, независимость, цельность. Милый нью-йоркский акцент. Открытость стиля. Замечательные внешние достоинства. Пластичная фигура, мальчишеская

прическа. И походка. Ее походка вызывала в памяти дикую лошадь прерии. Изящная и ни на кого не похожая. Она умерла совсем недавно. В возрасте девяносто одного года.

Ее первой действительно профессиональной работой была маленькая роль в «Парижском союзе» — пьесе Филипа Барри, с участием Мейдж Кеннеди. Ее первое появление сводилось к тому, чтобы пройти по сцене из одного конца в другой и исчезнуть. На ней было украшенное разными сборками и оборками воздушное платье невесты и огромная шляпа. Она выходила с одной стороны. Исчезала в противоположной. Прямая походка. Раскачивающиеся руки напоминали ветряную мельницу. Стоило ей пройти половину расстояния сцены, как публика взрывалась аплодисментами. Хоуп не понимала, почему все смеялись. Ей и в голову не приходило, насколько велико было несоответствие ее платья и походки. И она продолжала идти по сцене. Публика горячо аплодировала. За кулисами, на выходе, ее ждал Артур Хопкинс — постановщик, и она попала в его объятия.

— Я так и думал, — сказал Хопкинс.

— Что? — поинтересовалась Хоуп.

— Ты звезда.

И она действительно была ею. Так родился образ, сочетавший в себе черты подростка и женщины. За «Парижским союзом» последовал «Праздник», также написанный Филипом Барри. Затем «Рикошет». Его специально для Хоуп написал Дональд Огден Стюарт. Еще один большой хит. Обе эти вещи поставил Артур Хопкинс. Как-то во время прогона «Рикошета» Джулиан Томпсон подозвал ее к себе и сказал:

— Как бы ты отнеслась к своему участию в многоактной пьесе «Супруг воительницы»?

Хоуп согласилась, и он написал пьесу. Она влюбилась в текст. Хопкинс вроде бы тоже загорелся этим проектом.

Летом Хоуп отсутствовала. Когда она вернулась, ее уже ждала новая чудесная пьеса, которую для нее написала Гретхен Демрош, — «Случайный подарок». Хоуп прочла текст и не проявила энтузиазма. Однако интуитивно почувствовала, что ей следует смириться с решением Хопкинса. Так я получила роль Антиопы, первоначально предназначавшуюся для Хоуп.

Хоппи ошибся. Пьеса Демрош почти провалилась. Она продержалась всего три недели. Самый большой провал выпал на долю Хоуп.

Она, несомненно, оказала огромное влияние на мою карьеру. Многое из того, что было в интонациях, в походке Хоуп, я взяла в свой сценический образ. Это витало в воздухе — та мальчишка-женщина. Я как нельзя вовремя приехала в большой город.

Таким образом, «Супруг воительницы» был готов найти своего хозяина, и пьеса была куплена Гарри Мозесом: денег ему было не занимать, а жена его была помешана на театре.

Они знали, что я подменяю Хоуп в «Празднике» и что театральные критики уже заметили меня, особенно в пьесе Бенна Леви «Искусство и миссис Боттл», где играла Джен Коул, и в «Этих днях». Сначала, на стадии распределения ролей, я грезила Антиопой. Потом вдруг (как я уже говорила) они решили, что им необходимо привлечь звезду. Меня вывели из состава, ввели Джин Диксон. Прошло несколько дней. Еще одна перестановка. Меня вновь назначили на роль Антиопы. Ирби Маршал — Ипполита. Ромни Брент — ее женоподобный муж. Колин Кейт-Джонстон — Тесей. Ставить спектакль поручили Береку Саймону. Шел 1931 год, канун 1932-го.

Премьера состоялась в театре «Мороско» в Нью-Йорке. Пришла вся моя семья. Они не испугались. У меня был выход по узкой лестнице вниз, которая шла через задник. Чуть ли не двадцать ступенек, к тому же крутых. Лестница одним витком уходила к публике — примерно четыре ступеньки. По тыльной стороне висели фонари, образуя восхитительное зрелище. Наплечники. Жесткая туника, сотканная из металлических колец. Красивые посеребренные, охватывающие голень щитки — ноги смотрелись великолепно! Серебряный щит, высокий серебряный шлем и пелерина. Замечательный костюм. Я всегда была очень устойчивой, поэтому то обстоятельство, что ступеньки были всего лишь около метра длиной, узкие и довольно далеко отстояли друг от друга, а лестница к тому же без перил, не вызывало во мне никакого беспокойства. Впрочем, ради славы я готова была тогда рискнуть и самой жизнью.

Я поскакала по ступенькам, преодолевая одним махом по три и больше… Сделала стремительный поворот на угловом витке… Прыгнула через последние четыре ступеньки… Бросила на пол наплечник, приземлилась на одно колено и склонилась в почтительном поклоне перед Ипполитой, моей сестрой, царицей амазонок. Публика, естественно, разразилась громом аплодисментов. Что же ей еще оставалось делать? Я и не просила их. Но я была неопытна. Просто ощущение радости жизни и безумное желание всех покорить своим очарованием переполняло меня. В восторге от успеха, я птицей парила по воздуху: вниз по лестнице… вверх по лестнице… без перил. Черт… ступенек-то нет… Ах, неважно! Жизнь — радость — юность.

И я блеснула юностью. И выгодно смотрелась. И сделала хит. Об этой пьесе много спорили.

У меня была служанка (первое время): высокая негритянка,

дюжая и очень строгая. Не могу вспомнить, как ее звали — кажется, Лили, но не уверена. Работу свою она знала досконально. Получала 75 долларов в неделю. Получала от меня. Столько запросила. Столько и получала. Сама я получала 150 долларов. Спектакль шел около шести месяцев; потом нас уговорили пойти на уступки. Мне снизили жалованье до 75 долларов. Лили в корне пресекла мою попытку снизить ей жалованье. И брала с меня столько, сколько я зарабатывала как звезда. Что значат деньги? Все обращались ко мне с предложением попробоваться в кино. Все хотели, чтобы я приняла участие в той или иной картине. Я была нарасхват. И я не отказывалась.

В «Супруге воительницы» я впервые почувствовала себя настоящей актрисой. Моя костюмерная располагалась на уровне подмостков. Очаровательный старенький театр «Мороско». Удивительное совпадение: это совсем рядом с «Бижу», на Сорок пятой улице, напротив Шуберт-Аллеи, где раньше игралось «Большое озеро», а на стене, на стенде висели мои фотографии. Оба театра постигла печальная участь: их снесли.

Я довольно долго вела относительно замкнутый образ жизни. Мы с Ладди по-прежнему жили на Тридцать девятой улице, дом № 146. Это был многоквартирный — в пять этажей — дом из красного кирпича, квартиры с фасада и с тыльной стороны. Сначала мы жили на втором этаже. Вскоре переехали на самый верх; теперь у нас стало вдвое больше места. Замечательно. Лестница, по которой мы поднимались, была очень длинной, но мы были молоды и даже не думали об этом. Дом принадлежал англичанину Герберту Брайсу и его жене. Там имелся грузовой лифт, и всегда можно было заказать еду внизу и получить ее наверху. Пища была вкусная. Действительно, жили мы чудесно. Мы были счастливы. Иногда к ужину приходил Колин Кейт-Джонстон. И больше никого. Я никогда ни с кем не сходилась близко — ни в театре, ни в кино. Вероятно, потому, что выросла в многочисленной семье и очень любила подольше поспать. Странно слышать сегодня: «Какой (или какая) он (или она) был (или была)?» У меня нет ответа. Честное слово, — нет. Но вопрос этот задают.

О, в том доме произошла жуткая история. После обеда я никуда не выходила из квартиры. Было холодно, и я развела огонь в камине. Ладди обычно приходил домой приблизительно в половине шестого. Я пошла в ванную комнату принять душ, слышу, как входит Ладди: «Привет». — «Привет!» И вдруг слышу: «Кейт! Кейт! Скорей сюда!» Тон его голоса заставил меня выскочить из-под душа. Я помчалась в комнату. Ладди был

охвачен пламенем: полоса огненных языков тянулась до камина. В руке Ладди полыхала керосиновая лампа, и он не мог бросить ее. Я была в чем мать родила. Толкнула Ладди в живот. Он упал на пол. Тогда в мгновение ока я скатала ковер и, выбив из его горящей руки керосиновую лампу, стала сбивать пламя с Ладди. О Боже, горит!

В доме жило много мужчин — один за другим они вбегали в квартиру, принимались тушить огонь на полу… Я поднялась с пола. Пламя с Ладди полностью сбили — перед его пальто и рукава совсем сгорели. Вероятно, зайдя в комнату, он подложил дрова в камин, взял керосиновую лампу, плеснул немного в огонь, и тогда из камина полыхнуло. Он отпрыгнул назад и пролил керосин на пальто и на пол.

Я все еще была совершенно нагая, но совсем не помнила об этом и объясняла всем, что делать. Вдруг на помощь вбежал очень молодой парень и как вкопанный застыл на месте. Я помчалась в ванную комнату — «Ой! Извините!..»

С Ладди, к счастью, все обошлось. Он получил ожоги третьей степени, но в целом ничего опасного.

Ужас!

Первая поездка в Голливуд

Не было похоже, что «Супруг воительницы» продержится долго. Премьера прошла в марте. Что дальше? Генри Гулль попросил меня сыграть на пару с ним в конце июня 1932 года в Оссининге. «Невеста в солнечном свете». Я, разумеется, согласилась.

Ко мне в костюмерную зашел мужчина и предложил за 500 долларов сыграть один спектакль в Филадельфии в «Электре», где в роли Электры была занята Бланш Юрка. Мол, Кэтрин Александер будет представлять один греческий хор, я — другой. Очень сомнительная затея. Музыкальное оформление спектакля делал Стоковский — и 500 долларов… Спектакль состоялся в воскресенье в Филадельфии в Музыкальной академии. Моя дорогостоящая служанка, Лили, настояла на том, чтобы ей было позволено поехать вместе со мной. Вообще-то я не хотела ее брать, но отказать не посмела.

В поезде я спросила Кэтрин Александер, согласна ли она разделить со мной комнату в Бельвю-Страффорде. Она не возражала. Я совсем ее не знала — так, привет-пока. Мы отправились в театр репетировать и договориться насчет грима. Репетицию проводили мадам Дейкарханова и Аким Тамиров, очень похожий на грека. Они показались мне совершенно

неподготовленными. Я не могла поверить, что спектакль в самом деле состоится. Вернулась в гостиницу. Кэтрин сказала, что ей снова надо выйти в город. Я предложила пойти вместе. Она отказалась, сказав, что пойдет одна. Позже я узнала, что и ей предложили 500 долларов. Но, очутившись в театре, она почувствовала что-то неладное. Поэтому она вернулась и заявила, что не явится больше на репетицию, пока ей предварительно не заплатят вперед. И они заплатили. Я же не была настолько умна. Мне и в голову не могло прийти, что могут вовсе не заплатить.

Начался спектакль. Бланш Юрка очень много времени проводила на полу, сидя на коленях, и сильно испачкала себе руки. Потом она прикладывала их к лицу и по мере продолжения спектакля становилась все грязней и грязней. Лицом, костюмом — всем. Наконец представление окончилось. Мне сказали, что деньги перечислены. Я расплатилась с Лили. Но 500 долларов за один сыгранный вечер так и остались мифом.

Дэвид Селзник и Джордж Кьюкор искали девушку на роль Сидни Фейрфилд в фильме «Билль о разводе» Клеменса Дейна. В Нью-Йорке ко мне пришла агент Мириам Хауэлл, работавшая на Леланда Хейварда из «Американ плей компани». Не соглашусь ли я попробоваться на роль? Я ответила, что с удовольствием. Роль была чудесная. К тому же партнером должен был стать Джон Бэрримор. Агент предложила мне для пробы сцену, но я сказала, что предпочла бы использовать для показа свой собственный материал из «Праздника». Она не возражала. Их сцена показалась мне не слишком удачной. А кроме того, я чувствовала, что просмотр одного и того же отрывка в исполнении каждый раз новой девушки должен наводить тоску и раздражать. Я попросила Алена Кемпбелла быть моим партнером во время пробы, сказав, что вовсе не обязательно утруждать себя разучиванием роли: пусть сидит в откидном кресле, спиной к залу и просто читает по ходу сцены свой текст. Я слышала о случае, когда именно тот, кто присутствовал на чьей-то пробе в качестве партнера, получил работу. Мне не хотелось оконфузиться таким образом. Ален Кемпбелл согласился.

Потом он женился на Дороти Паркер. И был моим хорошим другом — актер, чуткий и скромный парень. Ей повезло с мужем. Повезло и мне. Итак, он выполнил мою просьбу. Сидел в откидном кресле, и я благодаря этому сохранила хладнокровие.

Некто Эдди Зенц наложил мне грим. У меня было такое ощущение, будто я искупалась в пудре — девственно-белой; губы — красные-прекрасные, веки — тяжелые-претяжелые — закрывались сами собой.

На пробе присутствовала агент Мириам Хауэлл, и мы с нею

договорились, как должна сниматься сцена. Это был отрывок из «Праздника»: сцена, в которой Линда Сетон слышит, как ее отец объявляет о помолвке своей сестры с Джонни Кейсом. Затем следует сцена разговора с ее братом. Она слушает, держа в руке стакан. Очень медленно опускает стакан и ставит его на пол.

Линда. Как насчет напиться, Недди?
Недди. Вопрос — как напиться?
Линда. Хорошо и допьяна.

Я знала эту сцену досконально, поскольку дублировала ее в течение шести месяцев. И боялась, что буду очень волноваться, потому мне не хотелось использовать материал, на котором легко можно было провалиться.

Я сняла весь тот немыслимый грим и сделала свой, к которому привыкла в театре. Почувствовала, что стала похожей на самое себя. Зачесала назад волосы, как носила их в обыденной жизни. Вообще я была полна решимости оставаться самой собой. Спустя несколько дней увидела пробу. Ну что ж, подумала я, недурно. Потом, десятью годами позже, видела ее еще раз. Впечатление было жуткое. Слишком возбужденная, я выглядела полной идиоткой в своем гриме и с зачесанными назад волосами. А ведь тогда мне казалось, что я совершенно бесстрастна.

Бесстрастностью там и не пахло. Такой я, в сущности, и была — девчонкой, безрассудно рвущейся в кино. На лице это было просто написано. Эта проба не сохранилась.

Потом я позвонила на студию «Парамаунт» и сказала мистеру Солсбери, что сделала пробу для РКО[2]. Не хочет ли он, чтобы я попробовалась и у них? Он согласился и попросил, чтобы я сыграла отрывок из «Супруга воительницы». Я сделала пробу — не очень удачную. Но обещание свое я выполнила.

Проба для «Парамаунта» хранится в «кунсткамере» Лос-Анджелесского университета. Материал был слабоват. Просто я сделала то, что мне велели. Но теперь, по прошествии многих лет, ясно, что в моей игре не чувствовалось нерва — не было настоящей жизни.

Джорджу Кьюкору, которому предстояло снимать «Билль о разводе», понравилось, как я опускаю на пол стакан на пробе. Мне предложили роль. Спустя годы Ларри Оливье рассказал мне, что его первая жена Джил Эсмонд также пробовалась для «Билля о разводе». Они были очень разочарованы, когда роль получила я.

Потом начались торги с Селзником. Он предложил 500 долларов в неделю, потом 750, потом 1000, потом 1250, наконец 1500 — именно столько, сколько я и просила. Он предлагал 1250

с четырехнедельной гарантией. Я согласилась на 1500 с трехнедельной гарантией. Кроме того, я настаивала на предоставлении пауз для работы в театре и для возможности просматривать материал. Во всяком случае, чтобы со мной обязательно советовались относительно материала. При моем успехе контракт становился для них невыгодным.

Спектакль «Супруг воительницы» сняли с репертуара. Прежде чем уйти, я настояла на своем праве доиграть свою норму в пьесе «Невеста в солнечном свете». Мы отыграли неделю в маленьком театре в Оссининге. В пятницу Генри Халл сообщил мне, что в четверг сбежал продюсер и заодно прихватил с собой всю выручку. Все, что осталось, лежало у него в шляпе. Он отдал мне мою долю. И я поехала на станцию в Хэрмон, откуда на экспрессе «Двадцатый век» добралась сначала до Чикаго, а потом на экспрессе «Супер Чиф» — до Лос-Анджелеса, где намеревалась искать свою удачу. Лора Хардинг, моя подруга, решила ехать со мной. Вдвоем все-таки веселей; мне это, конечно, было только на руку. И вот Лора сидит в поезде со всеми своими пожитками и с моими тоже. Она везла с собой двух собак: Джейми, шотландскую овчарку, и Твига, шельбурнского терьера.

Надо рассказать о Лоре Барни Хардинг.

Первой настоящей подругой, которую я обрела в Нью-Йорке, была она. Как я уже писала, мы познакомились с ней у Фрэнсис Робинсон-Даф. Лора тоже брала уроки по сценической речи и надеялась сделать карьеру в театре. Она объявилась в Нью-Йорке на несколько лет раньше меня. Ее отцом был Дж. Хаорс Хардинг, финансист. Она жила со своими родителями на Пятой авеню, № 955. Подрабатывала дубляжем, а годом раньше ездила летом на актерские курсы в Стокбридж. Она была очень веселой, добросердечной, умела ладить с актерами.

В первый свой приезд в Стокбридж Лора встретила там Джеймса Кагни. Именно он рассказал мне историю о том, как Лора устроила вечеринку для всех неотягощенных славою актеров, которые тем летом побывали в Стокбридже. Начало вечеринки назначили на пять часов. Джеймс и его жена пешком добрались до Пятой авеню. Отыскали дом номер 955. Но не поверили своим глазам: огромный каменный дом. Не может быть, но факт. Действительно, дом 955 — один из нескольких «мертвых домов». Его друзья с Ист-Сайд называли эти здания «мертвыми домами», потому что, проходя в Центральный парк поиграть в теплую погоду, всегда наблюдали одну и ту же картину: эти дома на Пятой авеню закрыты ставнями и затемнены.

Чувствуя себя маленькой мышкой, он позвонил в колокольчик. Дверь открыл Парк — облаченный в униформу

лакей ростом в 185 сантиметров.

— Добрый день, сэр. Прошу вас подняться по этой лестнице. Следуйте за мной, пожалуйста.

Кагни и его жена последовали за ним — мимо одной картины Эль Греко, мимо другой. Поднялись на второй этаж. Услышали голоса.

— Как вас представить, сэр?

Взглянув на него и сказав «да просто еще один актеришко», Кагни спокойно прошествовал мимо Парка и двинулся на голоса. Лора рассказала мне как-то забавную историю из той поры, когда она обзаводилась знакомыми в Нью-Йорке и с этой целью посещала вечеринки. Она не принадлежала к собственно нью-йоркской замкнутой элите — ее семья была родом из Филадельфии. Иногда ее приглашали на вечеринку, но никогда — на обед. И вот однажды Сейлор (ее шофер) повез ее на вечеринку. У них был кабриолет с поднимающимся верхом — на случай дождя. Лора вышла из машины, боясь и все же вместе с тем надеясь, что не будет выглядеть слишком вызывающей без мужского сопровождения. Сказала Сейлору, что, вероятно, не задержится. Это было в 10.00 вечера.

Вышла она с вечеринки в 4.30 утра. Машина стояла на месте. Сейлор сидя спал на переднем сиденье. Падал легкий снежок, покрывая собой верх и козырек его кепки. Он пробыл там всю ночь. Ждал.

Мы с Лорой много общались. Она знала все изысканные манеры того времени, и я перенимала ее опыт. Сумки и чемоданы фирмы «Виттон» — одежда — в какие магазины ходить — что покупать. Я находила мелкую работу. Она кого-то подменяла в спектакле театра «Гилд». При этом не очень серьезно относилась к своей карьере, воспринимая ее как своего рода средство для времяпрепровождения.

В Голливуде судачили о Лоре и обо мне, я же об этом не знала. Мы имели привычку завтракать в ресторане на территории киностудии. Если идти в ресторан, не миновать расположенной по левую сторону парикмахерской. Там имелся телефон.

Однажды Лора зашла туда, чтобы позвонить мне. Мужчина, поднявший трубку, беспрестанно повторял: «Кто это?» Наконец Лора сказала: «О, скажите ей, что звонит муж!»

Эту ее фразу услышал режиссер Марк Сендрил, который как раз в это время стригся в парикмахерской, и, разумеется, был совершенно ею шокирован. Через несколько лет он сказал мне, что, вероятно, именно он виноват в том, что по свету пошел гулять слух о том, что мы лесбиянки.

Как бы там ни было, слух этот начал распространяться и

достиг даже Нью-Йорка. Спустя примерно два года Лора вернулась в Нью-Йорк. Она стала работать агентом на Леланда Хейварда, который тогда уже был моим поклонником.

Нам было очень хорошо вместе. Она была мне верным другом всю мою жизнь.

Вот почему, когда подошло время ехать в Калифорнию на съемки «Билля о разводе», Лора решила, что она едет со мной.

Я не так много путешествовала по Соединенным Штатам. Несколько раз побывала в Европе. Время от времени наведывалась в Брин Мор. Но поехать на Запад! Мы провели день в Чикаго, снимая номер в отеле «Блэкстоун». Получили большое удовольствие от посещения великолепного музея — «Институт искусства».

В поезде ехали Билли Берк и Цигфельд, очень больной. И их дочь, Пэт. Берк предстояло играть роль моей матери в «Билле о разводе», но тогда я этого еще не знала. Цигфельду было трудно выйти из вагона. В Чикаго их должны были отцепить и подсоединить к поезду «Супер Чиф». Помню, как мельком раза два видела их в купе салон-вагона. Все было зачехлено: стены, стулья, каждый предмет в купе. Это казалось мне совершенно необычайной роскошью. Но, в сущности, так стоило жить. Как стоило иметь чемодан от Луиса Виттона. В те дни существовал определенный набор «необходимых вещей», свидетельствовавший о том, что вы знаете, как себя вести.

Лора Хардинг знала назначение всех тех вещей и сколь это значимо. О существовании их я узнала именно от нее. Детские подушки и детское шерстяное одеяло, чтобы создать атмосферу уюта в купе. За рулем собственного автомобиля она проехала по стране до Санта-Барбары. О таком я и не слыхала. Ведь я была родом из заштатного Хартфорда — городка среднего масштаба. Но искушенной в роскоши я, конечно, не стала.

Мы покинули Чикаго и в отличном расположении духа поехали дальше, занятые мыслями о том, что у нас получится в кино. На каждой остановке мы выходили из вагона и гуляли с собаками по платформе. Обедали в вагоне-ресторане, завтракали первый и второй раз у себя в купе. Я глядела в окошко — в закрытое. (В то время еще не было кондиционеров, поэтому очень часто мы открывали окна. Когда локомотив сильно дымил, мы закрывали их. Становилось душно — снова открывали.) В тот особенный день, первый день после выезда из Чикаго, я смотрела в закрытое окошко.

— О, взгляни, Лора, — месяц народился!

— Нет, нет, не через стекло, Кейт. Это приносит неудачу.

Мы выскочили из купе и помчались по составу к последнему

вагону-платформе, чтобы посмотреть на луну через мое левое плечо, а не через стекло. Открыли дверь, чтобы выйти на платформу.

— О Боже, что-то в глаз попало!

«Что-то», конечно, попало мне в глаз. Это «что-то» было множественного числа: крохотные три пылинки, иглообразные, с железнодорожных рельсов. Они вонзились в белок левого глаза. И стоило мне моргнуть, как они царапали верхнее веко, сидели прочно, не сдвигаясь с места.

Накануне поездки я ходила к Элизабет Хоз — очень дорогой нью-йоркской модельерше — заказать себе подходящий костюм. Я собиралась надеть его перед тем, как сойти с поезда в Калифорнии. Это был оригинальный серо-голубой костюм из шелка. Юбка клеш, очень — до пят — длинная. Пальто было похоже на плащ для верховой езды, с «хвостом», — такие носили в девятнадцатом веке. Блузка со стоячим воротничком, с оборкой. И шляпа. Каково!

Так вот шляпа смахивала на серо-голубое соломенное блюдо. У меня были длинные волосы, собранные в тугой пучок. Кто-то однажды сказал: «а ля консьержка». От этого «сервизного блюда», водруженного на голове, вид у меня был почти торжественным и несколько больше, чем почти — эксцентричным.

Но шляпа мне обошлась очень дорого, как, впрочем, и костюм, и я возлагала на них огромные надежды.

Перчатки, сумочка, туфли — темно-синие.

Костюм этот, как я теперь понимаю, мало соответствовал церемонии схождения с поезда в Пасадене 4 июля при температуре 30 °С. Хлопчатобумажный джемпер и ношеные белые брюки были бы, вероятно, куда более кстати.

Когда мы сошли в Пасадене (я в своем костюме), левый глаз у меня был ярко-красный, а правый, как бы в солидарность с ним, — совершенно розовый. Мучения. И изнурительная жара.

Мы медленно спускались вниз в Пасадену. Мимо впервые увиденных мною апельсиновых, грейпфрутовых и лимонных деревьев. Яркое солнце и никакого смога в те дни. Прекрасный аромат цветущих апельсинов. И сухая-пресухая почва. Мои красные-прекрасные глаза. Выехали с вокзала. Вдруг Лора воскликнула:

— Боже праведный!

— Что такое? — поинтересовалась я.

— Леланд Хейвард.

— Да, он мой агент.

— Главный заводила.

— Что…

— Когда я обзаводилась знакомыми в Нью-Йорке. На вечеринках. Этот с прилизанными волосами — главный заводила. Какой ужас.

Леланд стоял с каким-то коренастым, маленького роста мужчиной. Они разговаривали. Позже я узнала о чем.

— Которая?

— Та, что в чудно́й шляпе.

— Не смейся — мы отвалили тысячу пятьсот долларов за это…

— Она оригинальна.

— Еще как. Она что, пьет? У нее глаза опухли. Веки поднять не может.

— Здравствуйте. Прошу сюда. Принесите сумки из… Чудесно.

— Итак, прошу знакомиться — Мирон Селзник, еще один ваш агент.

— Лора Хардинг…

— Э-э, да… Здравствуйте… Рад… Давно… Приятно видеть вас здесь. Дайте мне купоны. О, отлично, все вместе. Машина… Серый «роллс-ройс». Джексон, вот сумки. Мы привезли с собой тележку. Она доставит ваш багаж в гостиницу.

— Извините, мне что-то попало в глаз. У вас нет знакомого врача…

Леланд перебил:

— Вас наверняка ждут с нетерпением. Мы отправимся прямо в РКО. Вас жаждет видеть Кьюкор. И Селзник. Они хотят приступить к работе сразу, как только будут готовы костюмы и пробы.

— Мы готовы. Хорошо. Я сяду впереди.

Двинулись в путь. Разговор был ни о чем. Мирон, в стремлении быть архидружелюбным, сказал:

— Я слышал, вы играете в гольф.

«Царица небесная, — подумала я, — в гольф? С ним?..»

А Мирон подумал: «Не дай Бог, еще согласится. Но мое дело — предложить. Какая она, Боже! Такую мне еще не доводилось видеть. Она похожа на труп. Что скажет Дэвид? Да ладно — что скажет, то и скажет».

— О да, очень мило. Но не думаю, что у меня будет очень много времени на гольф. Да и солнце здесь, кажется, такое жаркое… У вас нет знакомого глазного…

— В общем, если у вас все-таки будет свободное время, я всегда к вашим услугам…

— О, благодарю… но…

— Я вспомнил, где мы встречались… Это было…

И разговор перешел на Нью-Йорк, на вечеринки молодых

актеров. Вскоре мы въехали на территорию РКО.

Офис Джорджа Кьюкора — тесный, темноватый, на первом этаже.

Кьюкор оказался привлекательным мужчиной: с манерами, тучный, среднего роста, полный энергии, стремительный, яркий.

— Ну вот и чудесно, правда? А теперь позвольте… Да… Теперь… Давайте-ка мы… — Оглядывая оценивающим взглядом меня, потом — Лору…

— У нас есть эскизы одежды, которую вам предстоит носить.

— О, неужели?

— Где это?.. Позвольте… Да… Вот они…

Я взяла наброски. Их было три или четыре. И успела мысленно представить себе, что на моей героине будет нечто вроде твидового костюма. Стараясь не выдавать себя, я глядела на них с бесстрастным выражением лица… и с подчеркнутой сдержанностью.

— Да… Хотя, знаете, я не уверена, что это именно то, во что должна быть одета англичанка благородных кровей.

Джордж сверкнул глазами и уставился на меня.

— А что вы можете сказать о том, что на вас?

— О, понимаю… Вы опасный оппонент. Отвечать на ваш вопрос я сейчас не стану. Мне бы… Мне кажется, это… — И я рассмеялась.

— Может, вы снимете вашу шляпу?

Я сняла.

Волосы у меня были слипшиеся и в беспорядке.

— Что ж — не длинные. Хотя вполне достаточно, чтобы можно было поднять. Просто поднять. Пышные. Замечательно. А если мы попросим вас укоротить?

— Н-ну…

— Позвоните Джо Энн, пусть она спустится к нам.

— Кто такая Джо Энн?

— Парикмахерша. Джо Энн Оджер. Впрочем, лучше, наверно, будет, если мы сами к ней поднимемся.

В двери появился мужчина — лет пятидесяти, очень похожий на Бэрримора.

Вежливо: «Ага, вы, значит, уже приехали».

И смотрел на меня острым взглядом.

— Здесь слишком многолюдно. Выйдем в коридор. Я хочу вам кое-что сказать.

— Идите же, — ободрил меня Джордж.

Мы вышли с ним в коридор. Он улыбался. И был очень сердечен, доброжелателен.

— Ваша просьба мне чрезвычайно понравилась. Вы станете

большой звездой.

Потом посмотрел на мои глаза, сунул руку в карман и достал оттуда маленький пузырек. Затем сделал круглыми свои глаза и многозначительно улыбнулся. Очень доверительно.

— У меня такая же проблема. Попробуйте-ка это… Две капли… на каждый глаз.

— Мистер Бэрримор, мне что-то попало в сам глаз. Вот уже три…

— Да, дорогая. Я знаю… попробуйте.

И он удалился.

Я вернулась в кабинет.

— У вас, случаем, нет знакомого офтальмолога?..

— Ну а теперь, пожалуй, идемте знакомиться с Дэвидом… а потом подстрижем вам волосы.

И Джордж энергично вышел из комнаты. Мы — вслед за ним.

Пришли к Селзнику, который был чем-то очень занят и только и сказал: «Чудесно… Чудесно». Подумал же, вероятно, другое: «Так вот, значит, что мы имеем…»

Потом мы прошли в дальний конец киностудии, где располагались парикмахерские и гримерные.

Очень быстро мне обрезали волосы, оставив ровно столько, чтобы можно было сделать завивку. Главной гримерши на месте не было.

Потом обратно в кабинет Кьюкора. Вечерело. «Что ж, значит, до завтра. В девять. Мы проведем… Впрочем, я вам позвоню».

— У вас, случаем, нет знакомого глазного врача? У меня что-то…

И не осталось никого, к кому можно было бы обратиться. Джордж и его свита ушли. Все исчезли.

День закончился. Лора и я вышли из офиса. На улице стоял какой-то мужчина.

— Прошу прощения. У вас, случаем, нет знакомого глазного врача? Мне что-то попало в глаз.

— Представьте себе, есть, дорогая. Вам повезло. Я сам врач.

— Глазной?..

— Нет, я хирург. Я здесь недавно. Приехал из Нью-Йорка. Но у меня есть кабинет.

Он достал из кармана визитную карточку.

— Уилшир, кажется.

— Я не… Мы совсем не знаем города.

— Я на машине. Хотя не уверен, что смогу ее сейчас найти. Впрочем, попробуем, а?

— О, вы так любезны. Вы думаете, что сможете извлечь это?

— Постараюсь. Меня зовут Сэм Хиршфельд.

— Кэтрин Хепберн… Лора Хардинг.

Мы сели в его машину и поехали… Отыскали Уилшир… Нашли его офис. Я легла на стол. Он закапал мне капли. И стал «пробовать». И очень быстро сдался.

— Тут нужен специалист. У меня нет нужных инструментов.

Он взялся за телефон и стал звонить. Я не знала, кто он. Любой врач, вероятно, определил бы, кто он. Кого, черт возьми, он отыщет?

Наконец он дозвонился до женщины-врача, которая задержалась в своем кабинете. Да, она примет. Мы поехали в Лос-Анджелес. Припарковали машину.

Врач осмотрела меня. В глазу сидели три острых металлических кусочка, как иголочки. Было слышно, как они кляцнули о ее щипчики. Она извлекла их. И — морг! морг! — заморгала я глазом. Потом врач наложила на глаз повязку. Дала таблеток.

— Может случиться, что будет больно, когда перестанет действовать обезболивающее средство.

Добрый врач довез нас до самой гостиницы «Елисейская» в Голливуде. Заказать ужин в номер мы уже не могли: было слишком поздно. Нам принесли наверх только сандвичи с куриным паштетом. И мы завалились спать.

На следующее утро я пришла на киностудию с повязкой на глазу. Разумеется, в таком виде не могло быть и речи о пробе — в гриме, с новой прической и костюмом.

Первые фильмы

«Билль о разводе»

«Билль о разводе» должен был стать моей первой кинокартиной. Джон Бэрримор играл моего отца. Билли Берк мою мать, Элизабет Паттерсон мою тетю, а Дэвид Меннерс — моего жениха. Снимал картину Джордж Кьюкор.

Съемки начались со сцены вечеринки, которую давала моя мать. В длинном белом платье я пронеслась вниз по лестнице прямо в объятия Дэвида Меннерса. За мной следовала Лора Хардинг. Она споткнулась, и сцену пришлось переснимать. Джордж был в ярости.

О Боже, неужели я забыла рассказать вам, как мы провели второй день в Голливуде? Некто Карлтон Берк — авторитет в конноспортивных кругах — был поклонником Лоры. Он снял для нас красивый маленький домик во Франклин Кэнион. Мы пошли взглянуть на него. Там мы встретились с Карти Берком. С ним

была женщина, какая-то миссис Фербенкс. Дом нам понравился. Не очень импозантный, но симпатичный и удобно расположен.

Миссис Фербенкс пригласила нас прийти к ней на обед в пятницу вечером. Я отказалась, сославшись на то, что никогда не ужинаю вне дома, и хладнокровно сменила тему.

На самом же деле я подумала: «Дама скучноватая, так что не стоит ничего затевать».

Когда Карти и миссис Фербенкс ушли, Лора весьма язвительным тоном воскликнула:

— А ты знаешь, кто это была?

— Ты имеешь в виду миссис Фербенкс?

— Да. Это Мэри Пикфорд.

— О Боже!

К счастью, позже она позвонила и пригласила нас снова.

И я, вся трепеща от волнения, любезнейшим тоном проворковала:

— О, как замечательно… Да, конечно… Как мило, что вы беспокоитесь о нас.

Мы оделись как на парад и отправились к Пикфорд.

Можете себе представить? Пикфорд — в первую же неделю своего пребывания в стране кино!

Я сидела рядом с Фербенксом, Лора — рядом с Мэри. Карти Берк тоже был там. Мы просмотрели фильм, очень смешной. Вот оно, настоящее большое Кино. Пикфорд была очаровательна.

Больше нас туда не приглашали. Ни разу, представьте!

Так я получила урок. А именно: следи за тем, что говоришь и с кем. Вы можете не знать, с кем разговариваете.

Безо всякой раскачки мы приступили к съемкам картины.

Я уже рассказывала, как познакомилась с Кьюкором и Бэрримором. Мы быстро сделали пробы причесок, грима, эскизы костюмов. По плану предполагалось сначала снять все сцены Бэрримора и побыстрее освободить его, то есть сэкономить деньги — он дорого стоил.

Мы, повторяю, начали со сцены вечеринки, так что можно было задействовать весь состав актеров. Потом снимали эпизоды с Бэрримором. Первой была сцена его приезда в дом. По сценарию он, покинув лечебницу для душевнобольных, являлся в свой дом.

Я наблюдала за ним: находилась в гостиной, когда он открыл дверь. Вот он подошел к каминной доске. Ищет свои трубки? Топчется на месте. Я стояла возле камеры, следя за каждым его движением, по щекам у меня текли слезы, когда я поняла, что это — мой отец. В действительности же я с удивлением констатировала про себя, что это, конечно же, Бэрримор, великий

Бэрримор, но играет он до жути слабо. Я была поражена.

Когда сцена была сыграна, Бэрримор двинулся из глубины комнаты, буравя меня острым взглядом. Потом он приблизился к Джорджу и сказал, что хотел бы сделать дубль. Мне кажется, он понял, что это чрезвычайно важный момент для меня и что он не хотел бы, чтобы я провалилась.

Начали снова — он играл потрясающе. Сколько печали! Сколько трогательного отчаяния. И простоты.

Странный человек. Очаровательный мужчина, изумительный актер, добрая душа, он проявил высочайший интерес к прекрасному полу… вообще. При этом, казалось, ему было совершенно все равно, достигнет ли он успеха в своих ухаживаниях. Впечатление было такое, как будто он впервые сел за руль чужой машины.

Однажды он попросил меня зайти к нему в костюмерную на съемочной площадке. Я пришла. Постучала в дверь. Услышала, что можно зайти. Вошла. Он лежал на своем диванчике — как бы это выразиться? — в некотором дезабилье. Вероятно, я выглядела в это мгновение как человек, которому становится дурно. Повисла пауза. Он резко натянул на себя одеяло.

— О, извините. Увидимся позже.

Я ретировалась. О Боже, до чего же странно.

Как бы там ни было, после этого неприятного случая он вел себя по-рыцарски. Казалось, он просто поставил себе цель всячески помочь мне блеснуть. В наших общих сценах — а их было много — он всегда вставал таким образом, что я невольно оказывалась лицом к камере. Он был молодец, он был веселый, и, разумеется, он умел играть. Мне очень повезло, что он так благосклонно ко мне отнесся.

Самое забавное из того, что произошло на съемках, — сцена завтрака с Билли Берк во главе стола: я — сбоку, Элизабет Паттерсон — на противоположном конце. Я, видимо, не могла провести сцену так, как хотелось Джорджу. Мы отсняли двадцать дублей. Будучи неопытной, я совершенно не думала о том, что при каждом новом дубле необходимо съедать новый завтрак, — и не только мне, а и остальным тоже. Представьте себе — двадцать завтраков кряду. А я-то все ломала голову, почему Элизабет Паттерсон так дулась на меня. По прошествии многих лет она призналась мне, в чем была причина.

Съемки «Билля о разводе» заняли в общей сложности приблизительно пять недель. Три недели с Бэрримором, остальное — без него.

Закончив съемки, мы сразу же отправились с Ладди в Европу. На тот случай, если мне вдруг сообщат, что я — звезда, я сходила

к Чиапарелли и приобрела костюм, чтобы было в чем сойти с трапа. Костюм был коричневый с синевой, баклажанного цвета. Пальто в три четверти, юбка, блузка и вязанная английской резинкой шляпа. Очень удобный для носки костюм. В Вене до меня дошел слух, что я сыграла очень здорово, поэтому была во всеоружии. Это был мой первый французский наряд.

Картину представили на предварительный закрытый просмотр в Санта-Барбаре, и она была очень хорошо принята. Когда стало точно известно, что картина вошла в разряд хитов, мы с Ладди поменяли билеты с третьего класса на первый. Раньше я всегда путешествовала самым дешевым классом, в носовой части парохода, из того расчета, что если уж меня будет рвать, то пусть рвет в третьем классе, а не в первом.

Мне, конечно, повезло, что я попала на эту картину. В этой роли можно было себя показать.

«Кристофер Стронг»

Дороти Арзнер — женщина и при этом популярный режиссер. Она сняла много картин. Была настоящей профи. Работать на этой картине было весело, ничего из ряда вон там не происходило. История женщины-пилота и ее романа со знаменитостью. Теперь кажется странным — женщина-режиссер, а тогда это не казалось мне странным. В числе самых лучших монтажеров тогда было несколько женщин. Дороти пользовалась известностью и поставила немало великолепных картин, имевших огромный успех. Она носила брюки. Я тоже. Нам было приятно работать вместе. Сценарий был чуточку старомодным, да и картина не совсем нам удалась. В главной мужской роли в ней снялся Колин Клайв.

«Ранняя слава»

Я зашла в офис Пандро Бермана, увидела на его письменном столе сценарий, взяла его и начала читать. Автор Зоя Эйкинс. Просто очаровательно. Позвонила своей подруге Лоре Хардинг. Та приехала. Тоже прочла текст. И ей он очень понравился. Я пошла к Пандро и сказала, что должна это сыграть. Он сказал — нет. Это-де для Конни Беннет. Я сказала: «Нет — это для МЕНЯ». Настояла на своем. Картину снимал Лоуэлл Шерман, который в фильме «Сколько стоит Голливуд» сыграл главную мужскую роль, а партнершей его была Конни Беннет. Блестящая картина. Он был очень хорош.

Мне довелось видеть Рут Гордон в пьесе под названием «Церковная мышь». Играла она восхитительно, и я представляла себе мою игру в «Ранней славе» именно в таком ключе — монотонность голоса, сосредоточенность на окружающем тебя предметном мире.

Я сидела за стойкой, пила кофе и разговаривала с Обри Смит…

Чудесная роль.

Мой первый «Оскар». Я не могла поверить! Это произошло в 1933 году, когда премии были в новинку. В жюри тогда входило, если не ошибаюсь, пять человек. Среди них — Дуг Фербенкс-младший и Адольф Менжу. Дуг и я играли в фильме сцену на балконе из «Ромео и Джульетты» — в костюмах. В картину она не вошла. На съемку этой сцены пришли посмотреть Мэри Пикфорд и Дуг-старший. Вот страху-то нагнали. Мы отсняли эту картину в семнадцать дней.

«Маленькие женщины»

Это одна из моих любимых картин. Режиссер — опять Джордж Кьюкор. К ней было написано несколько сценариев. Все слабенькие. В сущности — никудышные. Потом заказали Саре Мейсон и Виктору Хирману. И они, на мой скромный взгляд, сделали блестящий сценарий. Простой, реалистичный и наивный, но такой, что верилось — это сама жизнь. Он резко отличался от первоосновы романа. Я — тоже. Другие — нет.

Девушки. Ситуация в целом. Джоан Беннет играла Эми. Она в то время была на одном из последних месяцев беременности. Фрэнсис Ди играла Мег, Джин Паркер — Бет. Профессора Бера — Поль Лукас, а Лори играл Дуглас Монтгомери. В роли Марми — Спринг Байингтон.

Великолепные декорации — их создал Хоуб Эрвин, очень известный нью-йоркский художник-декоратор. Они воспроизводили массачусетский колорит. Усадебный дом и дом мистера Лоуренса были построены в долине Сан-Фернандо. Генри Стивенсон играл мистера Лоуренса. Восхитительная работа.

Когда мы снимали длинный кусок, в котором умирала Бет и все плакали, особенно бурно я, у нас произошла накладка со звуком. Господи, как же мы намучились. Из-за этой неполадки пришлось снимать сцену снова и снова. Мука. Наконец меня стошнило, и съемку пришлось завершить только на следующий день.

Однажды в гости приехала Таллула Бенкхед. Она была очень дружна с Кьюкором. Он послал ее посмотреть на нашу работу.

Сцены настолько ее разволновали, что она уезжала, заливаясь слезами.

Все было сносно.

Работалось на картине очень приятно — Джордж Кьюкор на ней блистал. Он действительно прочувствовал атмосферу. Что касается меня — это была моя юность!

«Огнедышащая»

Несгибаемый дух горца на эдакий южный манер. Позор тебе, Кэти.

Потом я вернулась в Нью-Йорк играть в спектакле «Озеро».

И снова позор тебе, Кэти.

Ничего хорошего.

Возвращение в Нью-Йорк

Я взяла удачный старт, снявшись в фильмах «Билль о разводе», «Кристофер Стронг», «Ранняя слава», «Маленькие женщины», «Огнедышащая». Все — в течение одного года, вернее, полутора лет. Семь месяцев 1932 года и почти весь 1933-й. И даже получила «Оскара». Потом настал черед «Озера».

Нужно объявить мой следующий — выразимся так — «шаг». Я — как бы это сказать поточнее — упивалась собой, это легко себе представить. В Калифорнии — сплошной успех. А теперь — назад в Нью-Йорк. Мое положение было — да-да! — прочным. А мои отношения с бывшими друзьями складывались по-разному: я четко решила, что их мнение станет первой проверкой, своего рода оселком. Я стала фигурой, с которой нужно было считаться. В сущности, в такое положение тебя ставят сами люди, тебя окружающие. Они смотрят на тебя как бы снизу, а ты, с высоты своего нового положения, делаешь вид, будто ничего, собственно, не изменилось.

Вернувшись в Нью-Йорк, я решила, что нам с Ладди необходимо больше простора. Мы нашли дом, в котором я теперь живу. Меблировали его. Арендная плата — сто долларов в месяц. Мы поселились в нем, перевезя и свою скромную тогдашнюю мебель, а в 1937 году я наконец купила этот дом за двадцать семь с половиной тысяч долларов. Мне повезло. Владельцы — Шулер Смит и его жена — пришли и забрали остаток той мебели, которая частично исчезла за то время, которое я провела в том доме.

На верхнем этаже разобрали стену и оборудовали большую гостиную. На первом этаже оборудовали туалет, а потом — о

да! — я сделала себе камин в спальне. Дымоход там уже имелся. Я покрасила камин в белый цвет. Вот, собственно, и все новшества, которые были внесены в убранство дома. Он удобен и уютен — фасадом выходит на юг и всегда наполнен солнечным светом. Теперь небоскребы, выросшие на улице за домом, крадут много солнца — весьма прискорбный факт, тем не менее дом полон покоя и комфорта, к тому же он — мой собственный и нравится мне.

Вообще-то я не помню, как съезжала чета Смитов. Как бы там ни было, они оставили только серебряное блюдо для визиток, которое стоит на столике возле входной двери, и очень красивый стул в гостиной. Думаю, что за годы, пока я арендовала дом, они просто-напросто забыли, что, собственно, принадлежит им.

Ладди всячески помогал мне добиться успеха. Ни разу он даже вскользь не упомянул о том, что участие в «Искусстве и миссис Боттл» и в «Супруге воительницы» поставило меня перед необходимостью подниматься вверх по ступеням, которые неминуемо отдаляли нас друг от друга. Он заботился обо мне. Я пользовалась его машиной. У него была очаровательная квартира. Он перевел свой бизнес в Нью-Йорк исключительно ради того, чтобы мне было удобней. Он разрабатывал систему автоматической выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы и внедрял ее в крупные компании.

Когда 4 июля 1932 года я распрощалась с Ладди и уехала в Голливуд, оказалось, что это начало конца нашего брака.

Что, черт возьми, я бы делала без Ладди — моего покровителя? Я бы бежала со страху из этого огромного города, иссохла бы и умерла. А Ладди? Смысл его жизни был во мне, а смысл моей жизни сводился единственно к тому, чтобы стать кинозвездой.

Пишу эти строки, и мне стыдно оттого, какой полнейшей свиньей я была. Говоря о Ладди, нельзя не упомянуть, разумеется, и о том, что я разбила его сердце, тратила его деньги, а моя сестра (Пег) выжила благодаря его крови. Такова правда.

Это случилось в Вашингтоне, когда она была беременна двойняшками. У Пег развивалась так называемая эклампсия, и она распухала от отеков. Да, в больницу ее доставили своевременно. Они с мужем жили на ферме. Пег так разнесло, что она не могла уже носить ничего из собственной одежды, даже не обувала своих туфель. Но процесс опухания происходил так медленно и постепенно, что она как бы привыкла к нему. Потом Пег почувствовала, что происходит что-то неладное; опасаясь, что могут случиться преждевременные роды, муж решил, что нужно действовать. Они взяли телефонную книжку и стали обзванивать

врачей, но никто не соглашался приехать на дом. Тогда они сами поехали в больницу. Но по пути в больницу спустило колесо. Что было делать — пришлось ехать на ободе. К тому же они не знали, где в Вашингтоне искать больницу. Это было во время войны. В 1942 году. К тому же был час пик. Тем не менее они добрались-таки до больницы, где и выяснилось, что у Пег двойня, что ее жизнь — в опасности. Ладди находился в Вашингтоне в командировке по своим делам. Он узнал, что у Пег серьезное осложнение. Мы были тогда в разводе, но он оставался частью нашей семьи. Оказалось, что у него нужная группа крови. «О чем, собственно, тут и говорить. Берите мою кровь», — сказал Ладди. И у него взяли кровь. Все шло нормально, но какую-то часть крови пролили на пол. Потом кто-то из медперсонала наступил в ту лужицу. Все, естественно, происходило в великой спешке. Но для Ладди это было уже слишком. Он потерял сознание. А моя сестра выжила благодаря ему. Все это было давным-давно.

Милый Ладди. Он всегда встречал поезд или самолет, когда я возвращалась из Голливуда. Отвозил меня в Фенвик или Хартфорд. Мы жили врозь. Потом развелись. На Юкатане, в Мексике. Я не считала, что развод принесет нам какую-то пользу, но мне думалось, что он расставит все по своим местам.

Ладди снял другую квартиру. Он оставался по отношению ко мне максимально доброжелательным.

Трудно поверить, но в начале 1941 года, когда я подружилась со Спенсером, он сказал мне: «Почему ты эксплуатируешь Ладди? Почему ты не перестанешь использовать его?!»

Пришлось задуматься над этими словами. Ведь в своих действиях я всегда руководствовалась только эмоциями. И перестала обращаться с просьбами к Ладди.

Примерно через шесть месяцев он женился. У него родилось двое детей — мальчик и девочка. Потом жена умерла. Потом — значит спустя двадцать пять лет.

Ладди стали одолевать хвори. В 1967 году умер Спенс. Я стала наведываться к Ладди, справлялась о его здоровье, наконец попыталась помочь ему. Некоторое время он наезжал в Фенвик. Потом у него обнаружили рак, он лег в больницу, но операцию делать было поздно, он выписался и медленно угас. Я делала все возможное, чтобы вернуть ему хоть какую-то часть той любви, доброты и исключительной самоотверженности, какими он в свое время одаривал меня.

Понимаете ли вы, какую роль он сыграл в моем становлении? Полное самопожертвование — никаких ограничений — все для нее, для нее, для нее. Дорогой Ладди, благодарю тебя.

Но я не упомянула о самом необыкновенном событии. Ведь я

заставила его изменить свое имя с Ладлоу Огден Смит на С. Огден Ладлоу! Я не хотела называться миссис Смит. Эта фамилия казалась мне чересчур скучной. Кейт Смит! Я ведь не певица.

Надеюсь, вы понимаете, что все это я пытаюсь оживить в памяти именно сейчас. Я оглядываюсь назад и осознаю, в чем правда. Мотивы — пружина действия. Не думаю, что в своих поступках я была такой бесчувственной, как это может показаться. Надеюсь, что нет. Правда же состоит в том, что я была жуткой свиньей. Я всегда стремилась к самоутверждению собственного Я, Я, Я. Весь путь — вверх, вниз, — весь он таков.

У Ладди, приходившегося родственником изобретателю Томасу Эдисону, был настоящий ум ученого, и сам он был немного изобретателем. Он придумал проигрыватель-полуавтомат, но не запатентовал его. Ладди не удовлетворяло то, что пластинки при этом частично соприкасаются и могут поцарапать друг друга. Между тем такое устройство появилось в продаже. Ладди вел себя странно: казалось, что его это нисколько не волнует. Я была в ярости.

Он любил музыку, и у нас по всему дому были установлены репродукторы. Качество звука было великолепное. Когда его друзья обзаводились проигрывателями, они упрашивали его заехать к ним проверить качество звука. У него был идеальный слух.

Ладди умел делать все, касалось ли это моих дел, машины, камина. Плотник, механик, водопроводчик… Это было здорово. Но главное, с самого начала он был — как бы это сказать? — он был рядом. Везде. Всегда. Как никто. Ну как описать мои отношения с Ладди? Он действительно был близок мне. Он был как Мама и Папа. Он был рядом. Он был как дыхание. Мой друг.

Я могла попросить его обо всем. Он ни в чем мне не отказывал. Таких, как он, просто не бывает в жизни. Любовь без условий.

«Озеро»

Один из моих — чуть было не сказала «друзей», — но про Джеда Харриса никогда нельзя было сказать это с уверенностью. Джед Харрис был одним из наиболее удачливых продюсеров, работавших на Бродвее в середине и в конце 20-х годов. У него нескончаемой чередой шли хиты:

1926 — «Бродвей»
1927 — «Кокетка»
1927 — «Королевская семья»
1928 — «Обложка»

1930 — «Дядя Ваня»

1933 — «Зеленый лавр»

Все эти постановки имели «сокрушительный успех». Он делал миллионы. Потом наступил перерыв, закончившийся в 1938 году «Нашим городом».

Когда я впервые попала в Нью-Йорк — осенью 1928 года, — он был на гребне славы. Потом, в начале 30-х, я катала его в своей машине, а в 1932-м уехала в Голливуд. Оказавшись снова в Нью-Йорке в 1933 году, я уже познала вкус успеха и успела получить «Оскара» за «Раннюю славу».

Насколько ему все меньше везло, настолько я становилась более удачливой. Казалось, все, за что я бралась, было просто обречено на успех. Мне, вероятно, думалось, что я сумею помочь Джеду вновь поймать свою удачу, если сыграю для него в «Озере».

И вот что из этого вышло.

Несмотря на то, что его карьера бродвейского режиссера окончательно провалилась, Джед по отношению к себе и ко мне по-прежнему оставался Королем Насеста. Скромность не входила в число его достоинств. У него была такая манера обращения, как будто он считал, что вы ему чем-то обязаны. Тем более что познакомилась я с ним в то время, когда он, несомненно, стоял на куда более высокой ступеньке, чем я. Теперь же ситуация решительно изменилась в обратную сторону, но ни Джед, ни я не признавали этого. Он был гений, я была везучей дурочкой. Возвратившись в Нью-Йорк, я позвонила ему, чтобы поприветствовать.

— О!.. Как дела? — спросил он. — А я уже собирался позвонить. У меня есть вещь, которая тебе может понравиться. Я пришлю ее.

Это была пьеса «Озеро», написанная Дороти Мессингем.

Мое отношение к пьесе было, в сущности, странным. Фактически я не могу припомнить, какое мнение я составила себе об этом драматическом произведении. Мне кажется, что тогда я думала только о том, чтобы помочь Джеду. С большим трудом осмеливаюсь писать это. Я и в самом деле считала, что, если сыграю для него в пьесе, Джед сможет подняться. И думала, что он, вероятно, стесняется своего теперешнего положения, а я, став «важной птицей», способна помочь ему вернуть утраченный статус. Не знаю, как я могла быть такой дурой! Наши взаимоотношения с Джедом были, конечно, странными.

Я впервые увидела его, когда пришла к нему просить работу. Его секретаршей в ту пору была Джимми Шют, с которой я была дружна. Откуда-то Джеду стало известно, что у меня есть машина, и он стал использовать меня как своего рода личного

шофера. Он никогда не воспринимал меня как актрису. Как мужчина он пользовался большим успехом у женщин, несмотря на свою довольно мрачную наружность. Лоренс Оливье говорил, что вспоминал Джеда, работая над образом Ричарда III — жуткой личности. Так вот, Джед никогда не давал повода думать, что проявляет ко мне интерес. Насколько я понимала, я всегда была для него только девушкой, у которой есть машина.

Однажды он сказал мне:

— Почему бы тебе не пригласить меня в Фенвик?

— Господи, Джед! Тебе не понравится Фенвик!

— Откуда ты знаешь?

— Я спрошу Маму.

Я спросила Маму, и она сказала: «Что ж, прекрасно».

Теперь, всякий раз оказываясь на Восточном побережье, я на каждый уик-энд отправлялась в Фенвик. Обычно в пятницу. Ладди, мой бывший муж, мой дорогой друг, приезжал в субботу. И на тот уик-энд, в который был свободен Джед, мы поехали с ним в пятницу. Все было очень здорово: гольф, прогулки, плавание, беседы. Ладди отбыл в воскресенье вечером, Джед и я должны были уехать в понедельник.

В воскресенье вечером ко мне в спальню медленно вошла Мама:

— У меня создалось такое впечатление, что Джед не знает, что Ладди твой муж.

— Бывший, — поправила я.

— Вот именно, — спокойно сказала Мама.

Следующим утром Мама и Джед завтракали вдвоем на веранде. Мы все ели тогда, когда нам удобно.

— Как вам показался муж Кэт? — спросила Мама.

— Это вы о ком же? — не понял ее Джед.

— О Ладди.

Возникла довольно длинная пауза, после которой Джед сменил тему.

Примерно час спустя мы уехали в Нью-Йорк. Джед не проронил ни слова до самой Новой Гавани. Потом спросил:

— Почему ты не сказала мне, что ты замужем?

На что я ответила:

— А почему, собственно, я должна говорить об этом. Я же никогда не спрашивала тебя, женат ты или нет. Мне и в голову это не приходило. Какая разница?

Джед долго глядел на меня откуда-то издалека.

— Ясно. — И сменил тему: — Что ты думаешь об «Озере»?

— Вообще-то не знаю. Ты думаешь, я смогу сыграть, как…

— Боже мой, Кэйт! Если б я не считал, что ты можешь…

Сколько ты хочешь в неделю?

— Джед, я совсем об этом не думала.

— Тебя устроит пятьсот?

Это было жлобское предложение. Гонорары звезд составляли 1000–2500 долларов в неделю.

— Что ж, куда ни шло… — ответила я.

— Прекрасно. Договорились, — закончил разговор Джед.

Так началась история с «Озером».

Настоящее бедствие. Бланш Бейтс и Фрэнсис Старр — большие звезды. Колин Клайв — звезда. И я — пшик по сравнению с ними. В афишах меня печатали выше их всех. Я заранее попросила Джеда не представлять меня как звезду или — если без этого нельзя обойтись — ставить меня ниже тех, кто старше меня. Я попросила его об этом не потому, что была такой уж добродетельной и благородной. Просто считала, что играю на достойном уровне, и знала, что высоко котируюсь. Поймите меня правильно. Мне было ясно и то, что эти две актрисы пользуются большой любовью у зрителя, и глупое стремление потеснить их не принесло бы мне лишней популярности (кем она себя возомнила?).

Но Джед понимал, что именно я гарантирую ему кассовый сбор и зрительский ажиотаж. И потому мне следует быть первой. Так меня и поставили на афишах. С высоко поднятой головой. Глупо.

Репетиции начались в «Мартин Бек». Сорок пятая улица. К западу от Бродвея. Было здорово. Нас здесь не беспокоили. Мы могли заполнить его зал. Он был далеко от других театров. Не на самом Бродвее, конечно, но мы не расстраивались. Нам было все равно. Мы не нуждались в тех, кто шел на спектакль по соседству, а билета не достал.

Постановщиком был Тони Майнер. Я старалась изо всех сил, используя весь свой темперамент. Проку было не много. Мне было двадцать пять. Обо мне слишком много говорили как о новой Дузе-Бернар.

Пока я понимала, что все эти льстивые разговоры не вполне заслуженны, мне казалось, что во мне что-то есть. Но что именно, этого я точно не знала. И когда это «что-то» проявит себя, о том я тоже могла лишь догадываться. Я имею в виду исполнительскую сторону. И здесь таилась опасность. Я могла заставить их смеяться. Я могла заставить их плакать. Но для этого мне необходима была совершенно другая атмосфера. Во время съемок фильмов с нею все было нормально. На сцене же ее не чувствовалось.

Так вот. Через неделю Джед уволил Тони. Элен Хейс, едва

знакомая со мной, прислала мне записку, в которой, в частности, были такие слова: «Не позволяй Джеду командовать собой. Он убьет в тебе веру в свои силы». Но я была молода. И была единственная в своем роде. Мне под силу тягаться со всякими, думала я. И проигнорировала ее совет.

Почему Джед уволил Тони Майнера, я так никогда и не узнала. Думаю, что он просто хотел ставить сам. Тони верил в меня. Другие актеры тоже. Они были очень добры ко мне. Конечно, теперь-то я понимаю, что они начали догадываться, с какой целью он пригласил их. С самого начала Джед, казалось, поставил себе цель лишить меня основного козыря — уверенности в себе. Или, может, ему просто не нравилось, что я делаю. Если я делала жест одной рукой, он говорил, что надо делать его другой. Я садилась — он приказывал встать. Это было издевательство.

На сцене стояло фортепиано. Клавиатурой к публике. Я не умею играть на фортепиано. К тому же я настолько закоренелая правша, что левая рука у меня почти атрофирована. Сцена была очень важная. Эмоционально очень насыщенная. Джед велел мне провести ее, играя на фортепиано. Я казалась себе полной дурой. И казалась и была ею в действительности.

— Мои пальцы не успевают за мелодией, поэтому я смотрю на клавиатуру, отвлекаюсь на музыку, звучащую за кулисами. Джед, в таком состоянии я не могу думать и потому не могу играть эту сцену. Меня парализует одна мысль: я не умею играть на фортепиано. И публика, естественно, будет думать лишь об этом: она не умеет играть на фортепиано.

Джед только и сказал:

— Элен Хейс тоже не умела играть на фортепиано, но я попросил, и она научилась.

Ну, подумала я, мне бы это не удалось даже в том случае, если бы меня попросил сам Всевышний. И я разрыдалась. Джед меня утешал. И мы продолжили то же разрушительное дело. Все актеры были в шоке.

Джед был отнюдь не дурак. И по сей день у меня есть сомнения в том, что он действительно хотел намеренно извести меня своими придирками и показать таким образом полную несостоятельность бедного ребенка, по-дилетантски старающегося — да нет, буквально из кожи вон лезущего, — чтобы прыгнуть выше себя.

«Озеро» уже играли в Лондоне с Марией Ней. Постановщик Тайрон Гатри. Это была история женщины, стремящейся использовать свой последний шанс выйти замуж (ей было под тридцать). И на подъездной аллее собственного дома — сразу

после церемонии обручения — машину, в которой едут новобрачные, заносит, и, перевернувшись, она падает в озеро. Жениха придавливает машиной. Он не может выбраться и тонет. Очень драматично. Жених — воплощение мечты всех девушек — погиб. Слабохарактерный женатый мужчина, с которым героиня флиртует, пускается в бега.

В итоге: «Опять цветут каллы. Какие странные цветы. Я несла их в день своей свадьбы. А теперь ставлю их сюда в память о том, кого нет в живых».

Говард Грир из Голливуда должен был достать для меня платье. Джини Бартон, тоже из Голливуда, должна была укладывать мне волосы. Помогала мне Сесилия, прислуживавшая мне и на съемках картин. Все они работали в Голливуде и не имели опыта работы в театре, где другой темп и где причина и следствие — почти синхронны. В Голливуде актера принято ждать. В театре это непозволительная роскошь — поезд отправляется. Так вот, вся моя обслуга попала на чужую для себя почву. И все они чувствовали душевный дискомфорт. К тому же на Восточном побережье было холодно.

У меня был огромный «линкольн» и свой шофер. Чарльз Ньюхилл. Чарльз работал у меня с того времени, когда ко мне пришел успех в Нью-Йорке. Отчасти немец. Отчасти итальянец. Отчасти ирландец. В раннем возрасте переехал из Амстердама, штат Нью-Йорк, в большой город. Мягкие карие глаза и благородное сердце. Он заботился обо мне в течение сорока трех лет. Когда я находилась в Калифорнии, он по мере сил следил за порядком в моем нью-йоркском доме и присматривал за моим общежитием, коим мой дом остается и поныне.

Приезжал рано. И работал допоздна. Приносил мне завтрак, поднимал его наверх в комнаты, преодолевая два лестничных марша. Стали сказываться годы. Подъем давался ему все тяжелей и тяжелей. Он не сдавался. Наконец я стала все чаще спускаться вниз — будто бы за утренней газетой. «А вот и я. Кстати, могу захватить и поднос». Потом — как бы между прочим: «Позвольте все-таки мне, мне полезна такая нагрузка». Потом он несколько дней не появлялся. Что-то вроде простуды. «Не хотел вас заразить». И больше уже не приходил. Я ходила его навещать. Потом он умер. Было так грустно. Мы с ним крепко дружили. Он помогал мне. Я помогала ему. Мы жили дружно. Душа в душу.

Он был настоящий ангел. При любой неудаче: «Ну, не знаю, мисс Хепберн. Они ведь любят вас. Это все, что я могу сказать. Я просто слышу, что они говорят: вы самая замечательная». Все — душеспасительная ложь. Она не дает тебе сломаться. Говорят эту ложь те, кто любит и защищает тебя. К лучшему или худшему.

Пока смерть не разделит нас.

Какая я была везучая. Старик Чарльз. Он был известен как «мэр» моего квартала.

Но снова о деле.

Мы отправились в Вашингтон на премьеру. Нам нужно было пробыть там только одну неделю. Остановилась я в «Хей Адамс». В номере 375–378.

Подошли к столику администратора вместе с Лорой Хардинг. Оформили необходимые бумаги.

— Леопольд Стоковский тоже здесь остановился, — сказал кто-то.

— О! — воскликнула я. (Взволнованно. Я однажды встречалась с ним.) — Где…

— Номер двести тридцать восемь.

— О да… Понимаю… Как интересно.

Мы двинулись к лифту. Вошли внутрь. И оказались лицом к лицу не с кем иным, как с Леопольдом Стоковским.

— Как поживаете? — спросил он.

— Играю в пьесе, — ответила я.

— Да, да, знаю. Вы бы не отказались поужинать со мной?

— О да. Чудесно.

— Ну вот и хорошо, — сказал он. — Я позвоню. Номер вашей комнаты?

— Номер двести тридцать восемь.

Длинная пауза, сопровождаемая его улыбкой.

— Это номер моей комнаты, — уточнил Стоковский.

— Я хотела сказать — триста семьдесят пять.

— Да, конечно.

И вышел из лифта.

Мы расхохотались — Лора и я. Вот умора. Вечером я ужинала с ним на яхте на Потомаке. Яхта Джона Хейса Хэммонда.

Итак, мы сыграли премьеру в Вашингтоне. Я была в панике. Мало-помалу меня покидала уверенность в своих силах. А она была единственным моим козырем. В благоприятных условиях я была способна на настоящий смех и плач. Но заставить себя сконцентрироваться в состоянии страха мне пока было не под силу. Не понимая себя, я сыграла весь спектакль в Национальном театре в Вашингтоне, заполненном до самой галерки. Местами очень удачно. Но в основном провально. Я кожей чувствовала, как внимание публики убывает, словно морской отлив. Было много страсти, но не было сердца, не было радости. Эмоционально, но натужно.

Когда спектакль закончился, публика сошла с ума. Американская публика очень доброжелательна. Это было не

совсем то, что они ожидали увидеть — это молодое чудо. Возможно, они ошибались. Но — какого черта! — она молода и красиво одета. Подайте ей руку.

Джед вернулся в мою костюмерную. Встал в двери. Жестом послал воздушный поцелуй и сказал:

— Само совершенство — не могу и штриха добавить.

— Штриха? — переспросила я, не понимая.

— Больше не будет никаких репетиций, — уточнил он. — На следующей неделе мы выступаем с премьерой в Нью-Йорке.

Я была ошеломлена.

— Не мог бы ты чуточку потянуть, пока я не пойму, что делаю?

— Это не обязательно.

И он ушел.

На следующее утро появились критические обзоры. Мне сказали, что они вполне нормальные. Я их не читаю. Просто не вижу в этом смысла. В любом случае они уже ничего изменить не могут. Но, разумеется, они создают общее ощущение: хорошее — плохое — замечательное. В данном случае я считала, что критики просто проявляют доброжелательность. А возможно, противостоят замалчиванию новой чудо-девушки. Мое внутреннее «я» подсказывало мне, что настоящей игры продемонстрировать мне не удалось. И я убеждала себя, что меня постиг полный провал. Настроение мое все ухудшалось и ухудшалось. А билеты на нью-йоркский спектакль отрывали с руками.

Была и более приятная сторона: я получила приглашение на чаепитие от президента Рузвельта. Приглашение, разумеется, было равнозначно приказу. Я купила себе шляпу. Платье у меня было. Мы с Чарльзом подкатили к воротам Белого дома за пять минут до назначенного срока. Поглядывали на часы. С опозданием на одну минуту въехали в ворота. Чья-то предупредительная рука открыла дверцу машины. Изумленная, я вышла из машины. Отворилась парадная дверь Белого дома. На три ступеньки выше нас стоял, насколько я помню, мужчина в сером костюме. Я двинулась вперед, протягивая ему руку — скорее дружески, чем официально.

— Я швейцар, — сказал он.

— Ну да, — не стушевалась я, продолжая протягивать ему руку, — здравствуйте.

Он улыбнулся. Вслед за ним я прошла в узкую комнату — очень маленькую. Но, при ее узости, довольно длинную, как мне теперь кажется. Там мне сообщили, что президент Рузвельт появится через несколько минут.

Он вошел. Хоть убейте меня, но не могу вспомнить, был ли он в коляске или нет. Кажется, он был на костылях и в сопровождении помощника, который тотчас, как только мы сели, вышел из комнаты. Не важно. Сильная и привлекательная личность. Президент сказал, что ему жаль, что он не видел меня в пьесе. Зато видел меня в фильмах. И ему хотелось бы, чтобы я снялась в фильме по небольшой повести Киплинга — теперь уже не помню названия, — его любимой. Потом он спросил меня, как поживает моя матушка. И ее подруга Джо Беннет, муж дочери которой был дизайнером и построил Уорм Спрингс. Некто по фамилии Томбс. Я спросила, как ему удается удерживать в памяти столько имен.

— Такова специфика моей работы, — объяснил президент, — я сосредоточиваюсь на этом. Встречаясь с кем-либо, я говорю: «Вы мистер Джоунс. Это ваша жена, миссис Джоунс». Я смотрю на них, запоминаю их лица. А следующий раз говорю: «Здравствуйте, мистер Джоунс. Как поживаете? А миссис Джоунс?» Это производит хорошее впечатление.

И вправду, это производит хорошее впечатление. Я тоже попыталась воспользоваться этим приемом уже в Бостоне. «Вы мистер Смит, а вы миссис Смит». А сконцентрироваться мысленно — и по сей день забываю делать это.

Тот визит был единственным приятным событием недели, проведенной в Вашингтоне. Президент, казалось, никуда не спешил. Я стала немножко нервничать, полагая, что чересчур задержалась.

— Господин президент, как мне узнать, что пора уходить?

— На сей счет, Кэти, можете не беспокоиться. Просто сидите до тех пор, пока я не уйду. Уйду я, уйдете и вы.

Какой очаровательный. Сердечный. Веселый. Он рассказывал о проведении кампании в поддержку займа «Либерти Бондс» во время первой мировой войны, да так страстно, что поскользнулся и, свалив стул, на который опирался, приземлился прямо на колени Марии Дресслер.

Визит прошел весело. Франклин Делано Рузвельт обладал потрясающим обаянием и даром комика. Замечательный дар. Раскрепощает душу.

Но вернусь к «Озеру». Это было медленное движение к виселице. Мы закончили гастроли в Вашингтоне и отправились обратно в Нью-Йорк. Я все надеялась, что загоню себя до смерти на репетиции. Но этому не дано было случиться. Мы вообще не репетировали. Весьма возможно, Джед почувствовал, что переусердствовал в своем режиссерском стремлении наставить меня на путь истинный. И теперь давал мне возможность

вернуться к себе. Но куда в тот момент нужно было вернуться, куда? Он — Джед — стал невидимкой. Вообще не появлялся в театре, во всяком случае при мне. Никакой подсказки. Ничего. След затерялся. Дороги назад мне самой было не отыскать. Я заблудилась.

Они приближались с убийственной неизбежностью: генеральная репетиция и вечер премьеры. К счастью, я была стойкой. Вот — моя реплика, и я — на сцене. Провела на ней весь спектакль. В состоянии полной прострации. Словно автомат. Мой голос шел вверх и вверх. Я молилась. Бесполезно. Действовала словно манекен. Я не умерла. Но пребывала на сцене с полным сознанием того, что моя игра абсолютно беспомощна.

Моя семья, естественно, сидела в первом ряду. Совсем юные сестры. Прямо за спиной моей сестры Пег — красивой молодой девушки — сидел Ноэль Коуард. Слышали, как он обронил: «Сестра Кейт выглядит так, как следовало бы выглядеть самой Кейт, но… увы!» Ноэль пришел за кулисы. И сказал:

— Ты провалилась. Но такое случается со всеми нами. За одного битого двух небитых дают. Учись, ты выберешься.

Я стала прямо-таки мишенью всех нью-йоркских насмешников. Меня действительно осмеяли. Дороти Паркер подытожила:

— Обратись к Мартину Беку и просмотри весь набор эмоций от А до Б.

Еще:

— От ее костюмерной к каждому входу проложен красный ковер. Но он так загораживает, что ее никто не сможет увидеть. Да и кто захочет?

— Дороти Паркер была права.

Кассовые сборы упали до уровня 1200 долларов в неделю. До этого примерно десять недель мы все время шли по нарастающей. Создавалось впечатление, что свою дистанцию мы уже пробежали. Серьезные зрители билетов уже не покупали. Ведь их нельзя было сдать обратно в кассу. Постановка, не приносящая ощутимой прибыли, прогорает.

Моей главной задачей теперь было попытаться сыграть под огнем. И научиться быть звездой. Я не была ею. Я сорвалась. Растратила себя на жалобы. И завалила экзамен. Позволила всем убедиться в том, что я совершенно жалкое, трясущееся от страха создание, которое не ведает, что творит.

Человек, плывущий по реке жизни, постепенно осознает, что не уйдет далеко, если не будет изо всех сил налегать на весла. После холодного душа премьеры мы настроились на скорую кончину спектакля. Публика приходила то ли из любопытства, то

ли из желания увидеть провал. Я — по крупинке — старалась собрать в целое то, что потеряла. Во всяком случае, мне хватало ума понять, кто в действительности потерпел полнейшее фиаско. Конечно, постановка была не самой лучшей в профессиональной карьере Джеда, но моя игра была просто позорной.

Однажды вечером ко мне в костюмерную заглянула женщина. Очень высокая. Очень тучная.

— Меня зовут Сьюзен Стил, — представилась она. — Я певица. Мне кажется, я могла бы вам помочь.

— Что ж, — сказала я, — если вы готовы оказать мне помощь, я согласна принять ее. Когда начнем?

— Сейчас, — сказала она.

Мы приехали ко мне домой. Поговорили о проблемах с голосом. На следующий день работали над сценами, которые вызывали больше всего трудностей. И голос. Голос и голос. И радость. Ты не должна чувствовать себя жертвой.

В тот вечер и все последующие она неизменно присутствовала на спектакле. Шаг за шагом я выбиралась из жутких тисков. И наконец обрела способность держать себя в руках. Вновь обрела ощущение того, что я — актриса. А не крот, закопавшийся в землю от страха. И получала наслаждение от этого вновь приобретенного ощущения.

Люди приходили и говорили:

— Знаешь, ты была совсем не дурна. Ты заставила нас плакать.

И постепенно ко мне вернулась моя былая уверенность. Боже, как замечательно! Как здорово, что мы способны создавать себя, если только очень постараемся. Ко мне вернулось чувство собственного достоинства. Я перестала рассыпаться в извинениях. И уже пыталась смотреть на себя как на лидера группы, а не как на горемыку, которая пыжится и тужится, а ею только помыкают.

Как замечательно. Никакой другой роли я не разучивала. Главное — максимально хорошо сыграть эту роль. Только ее. Сьюзен приходила в театр на все дневные и вечерние спектакли. Потом мы шли с нею ко мне домой и обсуждали, где я держалась на уровне, а где нет. Мы работали над голосом. Над тем, как надо расслабляться. Джед больше не возвращался на место преступления. Насколько мне известно, актеры были за меня, — даже несмотря на то, что в ответственный момент я подвела их своей дурной игрой. Тем не менее все были на моей стороне. Такие добросердечные — актеры.

Зрители, смотревшие премьеру, приходили вновь и не жалели, что пришли. Я, разумеется, тоже была довольна.

Училась играть.

Училась быть звездой.

Примерно через три недели ко мне в костюмерную зашел менеджер нашей труппы Джо Глик и сказал:

— Мы едем в Чикаго.

Я не могла поверить своим ушам.

— Что?

— Джед переносит спектакли в Чикаго.

— Но пьеса им не нравится. Им не нравлюсь я — это уж как пить дать. Да и режиссерский стиль Джеда им тоже не нравится. К тому же мы окупили затраты. Зачем?

Джо пожал плечами.

— Деньги.

— Вот как?

Джо вышел из костюмерной. Он сказал все, что хотел сказать. Равно, как и я.

Я поехала домой. А как иначе? Я опростоволосилась в Нью-Йорке, так зачем усугублять это дело гастролями?

Некий доброжелатель прислал мне вырезку из какой-то чикагской газеты: «Чикагская публика будет иметь удовольствие наблюдать за игрой Кэтрин Хепберн в — "Озере"».

Я пребывала в беспокойстве в течение недели или около того. Потом ночью, часа в три, позвонила домой Джеду. Мы ни разу не виделись после премьеры.

— Джед?

— Да.

— Это Кейт.

— О!

Молчание.

— Я знаю, что ты собираешься послать нас на гастроли. В Чикаго.

— Да.

— Но почему, Джед? Я сорвалась. Но если смотреть правде в глаза, ты — тоже. Зачем же выходить на…

Он прервал меня:

— Моя дорогая, единственный интерес, который я к тебе имею, — это деньги, которые из тебя можно выжать.

«Откровенно», — подумала я.

— Сколько?

— А сколько у тебя есть?

Я достала из книжного шкафа, стоявшего рядом с моей кроватью, свою банковскую книжку.

— У меня тринадцать тысяч шестьсот семьдесят пять долларов и семьдесят пять центов в Чейз Нейшенэл Бэнк.

— Беру их.

— Утром пришлю тебе чек.

Так оно и было. Я послала ему чек. Когда же кассовые сборы упали до самого низкого уровня, мы закрыли спектакль.

После этого я долгие годы не видела Джеда. Однажды вечером я пошла в театр.

— Привет, Кейт.

— Кто это?

— Джед Харрис.

— Привет, Джед.

Спустя несколько лет он приехал в Голливуд и попросил Мирона Селзника помочь ему получить работу. «Вы обратились не по адресу. Я агент Кейт Хепберн».

— Ах так, — удивился Джед.

— Вы не пользуетесь ее благосклонностью.

— Отчего же? — спросил Джед.

— Вы забрали все ее деньги, чтобы закрыть «Озеро».

— Да? А я и не знал, что она огорчилась по этому поводу.

— Она огорчилась.

— Я пошлю ей чек.

— Я возьму его сейчас, — сказал Мирон.

Так мои деньги вернулись обратно. Но я не сняла их со счета. Я разорвала чек. Грустные деньги.

Я многому научилась. И питала надежды, что больше никто не узнает, что мной владеет страх. Следующий раз рука на румпеле будет твердой как сталь. Даже если корабль тонет, капитан идет ко дну вместе с кораблем. Он не поднимает писка по этому поводу. А просто хладнокровно делает то, что ему положено.

Вот, собственно, и все, что мне хотелось рассказать в связи с «Озером».

Ах, что же это я… Произошло еще кое-что… Спустя годы. Леланд Хейвард, мой агент — да, конечно, он был к тому же моим поклонником, — так вот спустя годы Леланд встретил Джеда в Филадельфии, не в театре.

Джед остановил его, посмотрел в глаза и сказал:

— Знаете, Леланд, я пытался уничтожить Кэтрин Хепберн.

Леланд выдержал его взгляд:

— И проиграли, так ведь, Джед? Всего хорошего.

И зашагал прочь.

III

Джордж Кьюкор

«Сегодня вечером никаких дел, Джоанна, я иду к Джорджу. Ты знаешь: Джордж Кьюкор, кинорежиссер».

Он был моим другом. Я появилась в Голливуде всего через несколько лет после него. Он же приехал в 1929 году. И взял меня сниматься в «Билле о разводе»: в роли Сидни, дочери Бэрримора.

Сразу после этой картины он купил дом — скромный одноэтажный особняк на Корделл-драйв, среди холмов над Сансетом. Джордж преуспевал, и площадь его усадьбы мало-помалу увеличивалась. Расширялась, расширялась… И достигла нескольких акров. Потом наступил черед расширяться и дому.

Он стоял на склоне холма. То есть стоял-то на ровном месте, а холм круто поднимался с тыльной стороны дома. Ровный участок постепенно расширялся в южном направлении. Со временем он превратился в большой сад. Мисс Йак сажала деревья, траву, цветы.

Длинный бассейн. Широкая аллея до оригинальной сторожки с мраморными колоннами. Рядом с бассейном на пятачке находился очаг, окруженный зарослями винограда. В солнечные дни мы там обедали. И все это было огорожено высокой кирпичной стеной, которая тянулась вдоль Корделл-драйв.

На террасе пониже — домик садовника и грейпфрутовое дерево. Позже на этой площадке построили три маленьких домика — в одном из них жил Спенс.

В то время дом Джорджа состоял, собственно, только из комнаты, служившей одновременно кухней и столовой, гостиной, а также двух спален и ванной. Потом дом стал увеличиваться. И неудивительно! — фильмы «Сколько стоит Голливуд?» (первоначальное название — «Звезда родилась») с Констанс Беннет и Лоуэллом Шерманом, «Обед в восемь часов», «Маленькие женщины», «Дэвид Копперфильд» и другие.

Гостиную расширили в южную сторону, окно с глубокой нишей выходило на великолепную террасу, ныне расположенную этажом выше уровня сада. Парадный вход вел мимо кирпичной стены вверх по лестнице на террасу, которая, в сущности, была главным этажом. Это помещение было вполне традиционным, вполне стандартным. Я помню, как из Уайтло-Рейд-Касл привезли три красивых стула. Над камином висела очаровательная работа Ренуара — «Дама с зонтиком». Слева — пейзаж Гранта Вуда. Я

увидела его в нью-йоркской галерее Уокер. Джорджу пейзаж очень нравился, и он приобрел его. В этой комнате мы пили чай в официальных случаях.

В прежней столовой убрали крышу, и она стала выше почти на три метра. Там было темновато, и потому казалось, что потолка вообще нет. Освещалась она только свечами. Почти потемки. Все мы там восхитительно смотрелись. Фарфор, серебро, стекло (то есть хрусталь) — сплошной блеск, изыск, восторг. Сам Джордж подбирал эти вещи, когда только ему предоставлялась возможность, а подчас и не имея оной. Он обожал все свои ценности: они были воплощением его мечты. Детской мечты — той самой, что сбывается только раз. Она сбылась: принц — принцесса. Я — верхом на безумно красивом белом жеребце.

Цветы в центре стола всегда были несколько высоки. Я пробиралась в комнату до начала обеда и подрезала их (если удавалось), чтобы можно было видеть друг друга. Обычно я сидела на левом конце стола. Именно там завязалась наша дружба с Ирен Селзник. Она, как и я, была одной из протеже Джорджа. Еда была замечательная, компания — лучше не надо. В очередной раз, когда я там обедала, на десерт подали роскошный — в семьдесят свечей — торт. Джуди Гарленд спокойно встала и своим, только ей одной присущим, необыкновенно порывистым и проникновенным голосом запела:

С днем рождения,
С днем рождения,
С днем рождения, дорогая Этель,
С днем…

В тот день исполнилось семьдесят лет Этель Бэрримор. Мы все расчувствовались и плакали от радости и просто так — от всего-всего. Вечер был романтический. И все сияло. И эта атмосфера, когда ты вместе с Селзником, Брайсом, Джуди, Спенсом, Пеком, Уолполом, Моэмом.

Когда я впервые пришла к Джорджу, на десерт подали творожный пирог. Пирог, на мой вкус, был отвратительный, но, разумеется, я съела свою долю. Глотать — глотать — не дышать — глотать. «О, Кейт, тебе понравилось! Замечательно! Пожалуйста, Миртл, подайте мисс Хепберн еще кусочек!» — «О, нет-нет!» Настояли, и я съела. А потом так продолжалось несколько лет. Да, многие годы, когда бы я ни приходила на обед: «Сегодня на десерт твое любимое блюдо». Наконец я сказала правду.

Теперь коттеджа нет! Как содержать все это в порядке: большая кладовая, большая кухня, плита в восемь конфорок, два холодильника, прачечная, черная лестница, ведущая наверх в три роскошные жилые комнаты и ванную комнату прислуги. Одну из спален переделали под кабинет. Другую — под библиотеку. Именно там проходили наши посиделки, когда мы были совсем молодыми. Джордж устроил в ней камин. У него было большое собрание книг. На столе — фотография Джона и Жаклин Кеннеди, с автографом, а также Моэма, Спенсера. И маленькая статуэтка — я в роли Клеопатры. О да, я там бывала. Появлялась от случая к случаю, но это было хорошо. Была членом семьи.

Но вот начались большие переделки. Дом расширяется. Что-то сооружается. Разбирают южную стену библиотеки. Делают маленький коридор. И вот мы входим в новую парадную дверь. Бросаем пальто или шляпу на круглую грибообразную кушетку в викторианском стиле, или вешаем пальто в гардероб, или пьем что-то — напротив есть совсем маленький бар.

Но если вы хотите пережить настоящее потрясение, поверните направо (на юг) и тогда окажетесь в знаменитой Овальной комнате. Обитые кожей стены, высокий потолок, отраженное освещение, разделяющее стену и потолок. Да, это Брак. Да, это Матисс. Другие — примерно пять больших полотен — картины Брака над камином, внутри же камина не огонь, а громадная глыба кристаллического кварца: подарок Джорджа Хойнингена-Хюне.

В противоположном конце — диван, встроенный в полукруглый застекленный эркер. Своеобразный огромный диван, весь в подушках, очень глубокий. Перед ним, в качестве стола, — верхняя часть коринфской колонны, на ней мраморная плита — для напитков. Вокруг коринфской колонны несколько стульев — по два или три с каждой стороны, за исключением четвертой, параллельной окну и дивану. Здесь мы кутили по великим случаям. Все сдвигалось. Диван был настолько глубок, что, если уж вы садились на него, выбраться было невозможно. Стравинский, Этель Бэрримор, Эдит Ситвелл, Голдвины, Хью Уолпол, Сомерсет Моэм, сэр Осберт Ситвелл, Граучо Маркс, Ина Клэр, Грегори Пек, Фанни Брайс, Джуди Гарленд, Наташа Палей, Ларри Оливье, Вивьен Ли, Ноэль Вильмэн… Ну вот, вы и сами знаете их: Гэр Кэнин, Рут Гордон… Все, кто был.

Помню, как однажды я очутилась на диване между Стравинским и Граучо Марксом. Я хотела поговорить со Стравинским об австралийских лирохвостах. Слышал ли он их пение?

— Замолчи, Граучо. — Ну да, он пытался слушать их… Да,

был в Мельбурне, ездил в Шербрукский лес и слушал. Но…

— Замолчи, Граучо. — Он ничего не слышал. В нем самом жила, звучала музыка, которую нельзя было смешивать с внешними звуками. В нем рождалась симфония. Птицы молчали. Для меня они пели и пели. Какая утрата! Бедный Граучо, ему хотелось побеседовать, а мне хотелось слушать Стравинского, который хотел слышать птичек, а им как раз не пелось. Жизнь, жизнь!

Но продолжим обход, по-прежнему двигаясь в южном направлении. Дверь прямо — в маленький коридор, ведущий в личные комнаты Джорджа. Гостиная, балкон, спальни, белая, облицованная мрамором ванная комната, а на стенах бесконечным рядом Гарбо, Ингрид, Вивьен, Глэдис Купер, Бабушка, Дедушка, Мама, Папа (они были прекрасные люди, я хорошо их знала), Джордж в младенчестве, в отрочестве, портрет Наташи Палей работы Битона, один мой. Все это очень мило и по-домашнему.

Слева от маленького коридора ведущая вниз лестница, *испещренная надписями, рисунками. Есть здесь и один мой* рисунок — «Стул». Спускаемся по лестнице в комнату для гостей: большая кровать, большой сервант, много света, красивые суповые чашки, вазочки с конфетами, корзинки с фруктами, книжные новинки, журналы, красивые листы, одеяла, стеганые одеяла, подушки мягких тонов, круглый столик для завтрака. Всякий раз, когда я приезжала, я жила в этой комнате. Джордж обычно спускался к завтраку в шесть тридцать.

Да, все это было забавно, шикарно, красиво, мило и восхитительно. Это был дворец: желтовато-коричневая кожа, полированное дерево, высокие потолки, серебро, золото и сами знаете что еще. И возникала беседа. Мы хохотали и наслаждались жизнью.

Благодарю тебя, Джордж Кьюкор, дорогой друг, это было замечательно. Как мы скучаем по тебе. По твоему ясному уму. Незатуманенному алкоголем, таблетками. Твоя энергия была направлена на то, чтобы воплотить в жизнь твои чаяния.

Написала о доме Джорджа Кьюкора. Теперь вот думаю, нужно ли что-нибудь написать о Джордже как о режиссере. Я составила примерный список: «Билль о разводе», «Маленькие женщины», «Сильвия Скарлетт», «Праздник», «Филадельфийская история», «Хранитель огня», «Ребро Адама», «Пэт и Майк», «Зеленая кукуруза», «Любовь среди руин»…

Таковы вехи его замечательной карьеры, и все-таки его редко ставят в один ряд с так называемыми великими режиссерами: с Джоном Хьюстоном, Джорджем Стивенсом, Джоном Фордом,

Вилли Уайлером, Билли Уайлдером, Хичкоком.

Кажется, я наконец-то догадалась — почему. Он был прежде всего актерским режиссером. Его творческие устремления были направлены главным образом на то, чтобы помочь по-настоящему открыться актеру, помочь ему блеснуть. Снимаемую историю он видел глазами главных персонажей.

Когда я снималась в «Билле о разводе», он решил преподнести меня публике: я стремительно сбегала по лестнице прямо в объятия Дэвида Меннерса — бросалась на пол — и оказывалась в объятиях Бэрримора. Он заставлял зрителей поверить в то, что я обворожительна.

Его собственный интерес фокусировался на актерах. Он представлял их.

Интерес Джона Форда ограничивался сюжетом. Я снималась у него в «Марии Шотландской». Он, по сути дела, забросил картину, когда увидел, что сюжет слабо разработан.

Мне думается, что и у Хьюстона весь интерес сводился к этому же. Это значит, что они в большей степени ориентировались на самих себя как режиссеров. К примеру, в своих интервью они в основном говорили о киносредствах, а не об актере, то есть о самих себе и о том, как они находят тот стиль, с помощью которого воплощают в жизнь сценарий.

Джордж же акцентировал внимание на прекрасной актерской игре, и интервьюеры в своих статьях невольно отражали его точку зрения. Так мы обретали славу, а Джордж ее лишался. Интересно, права ли я. Думаю, что права.

Беседуя с журналистами о какой-нибудь своей картине, он анализировал предмет своего интереса — актерскую игру. И пресса писала об актерах. В своей «Рочестер сток компани» Джордж научился с успехом руководить театром в ту пору, когда актерская игра ценилась высоко, а сами актеры были действительно крупными личностями.

Я уже упоминала, как Джордж Кьюкор дал мне первую мою роль в кино, в 1932 году, и как я вместе с Лорой Хардинг приехала в Голливуд и познакомилась там с ним. Он был действительно тучный — при росте метр семьдесят весил более 100 килограммов. Был очень энергичный, веселый, жизнерадостный. Он очень точно охарактеризовал меня, какой я была тогда: с претензией на даму и снобизмом — и совершенно ненадежный человек. Я в свою очередь тоже дала ему характеристику: острый, как гвоздь, с хорошим чувством юмора.

С самого начала нашей дружбы Джордж начал приглашать меня к себе на обеды и воскресные завтраки. Когда со мной была Лора Хардинг, то, разумеется, приглашали и ее — он подружился

и с ней.

Именно в ту пору произошел забавный случай. Маргарет Митчелл прислала мне рабочий сценарий для картины «Унесенные ветром». Я прочла его и пришла к выводу, что он замечательный. Я передала его Пандро Берману, продюсеру и главе РКО, который в свою очередь отдал его на прочтение своему помощнику Джо Систрому. Тот сказал, что роль далеко не выигрышная и может повредить моей карьере. Между тем сценарий уже был разослан. Я заехала к Дэвиду Селзнику, чтобы отвезти его брата Мирона в Эрроухед на уик-энд. Когда я позвонила, дверь открыл Дэвид. В руке он держал книгу «Унесенные ветром». Я сказала: «Не надо читать, Дэвид, надо просто купить права».

Так вот, Дэвид прочел ее, купил права и, конечно, заказал съемки Джорджу. Джордж же решил, что я не гожусь на роль Скарлетт, поэтому они начали искать неизвестную актрису. Спустя несколько месяцев они пришли ко мне и спросили, согласна ли я на пробу. К тому времени я поняла, что они готовы взять меня только потому, что стоят перед дилеммой: либо они начинают съемки, либо терпят убытки. Кроме того, я чувствовала, что действительно могу их подвести. К тому же понимала, что даже после подписания со мной контракта они все равно не прекратят поисков актрисы и если, паче чаяния, найдут, то сразу освободятся от меня.

Наконец, накануне того дня, когда они должны были начать съемки, я согласилась приступить к работе в картине. Меня много раз одевала Уолтер Планкетт, поэтому я могла без особых хлопот очень быстро войти в любую роль. Мое решение было мудрым: ведь тогда они уже откопали Вивьен Ли и, конечно, сплавили бы меня — и я бы безумно страдала. Так мы с Джорджем объединились в том проекте. Между прочим, Джордж никогда не говорил мне, почему Дэвид снял его с «Унесенных ветром», а я никогда его об этом не спрашивала.

Потом, на картине «Женщина года» с моим и Спенса участием (режиссер Джордж Стивенс), мне пришлось объяснять Кьюкору, что этот фильм должен снимать по-мужски очень жесткий режиссер, с точки зрения мужчины, а не женщины.

Я уверена, что Джордж тогда очень огорчился.

Был еще один случай, который в определенной мере доставил нам немало неприятностей, — это когда меня отстранили от съемок в «Путешествии с моей тетушкой», а роль отдали Мэгги Смит. Джордж Кьюкор хотел было отказаться работать на картине в качестве режиссера, потому что считал, что это наша собственность. Я убедила его, что это неразумно, что он обязан

доснять картину. Нам ведь могут понадобиться деньги. Меня же уволили потому, что им казалось, будто я задерживаю проект. Так оно в самом деле и было: я задерживала его, поскольку считала, что сценарий требует основательной доработки. В сущности, я была права — картина не имела успеха.

В последние годы жизни Джорджа, когда бы я ни появлялась в Калифорнии, я непременно виделась с ним каждый день. Мы обедали в тесном кругу старых друзей. Одной из этой плеяды была Фрэнсис Голдвин, его подруга с рочестерской поры, когда Джордж возглавлял большую акционерную компанию. Сэма Голдвина уже не было в живых, и я обычно сама заезжала за Фрэнсис, а потом вечером отвозила ее домой. Она в то время была уже больна. Джордж очень любил ее. Он в свое время существенно повлиял на решение Фрэнсис выйти замуж за Сэма. Я часто задавалась вопросом, действительно ли он всерьез думал выйти из картины. Теперь Джордж похоронен рядом с Фрэнсис на участке Голдвина.

Джордж в общем-то любил меня — и я любила его. С того дня, как мы познакомились, каждый из нас имел возможность высказываться по тем вопросам, которые казались нам важными. С самого начала и до дня его смерти мы с ним отлично уживались.

Джордж Кьюкор действительно был моим лучшим другом в Калифорнии. Мы сделали вместе много картин — и всегда удачно. Вероятно, мы во многом были похожи. Мы оба любили свое дело — мы любили работать — мы восхищались друг другом. Он любил развлекать, а я любила быть его гостем. В начальную пору нашего знакомства он проявлял исключительную щедрость; с течением времени компания наша стала редеть. Он сдал Спенсу один из трех домов, что стояли на его участке, а когда Спенс умер, я арендовала дом около десяти лет. Казалось, будто Джордж и я вместе выросли: абсолютная психологическая совместимость. Мы были с ним одинаково демократичны в своих воззрениях, а следовательно, одинаково оценивали то, что правильно, а что — ошибочно.

Мне не хватает его.

Леланд

Леланд Хейвард был поистине очаровательным человеком. Он был опытным театральным агентом, партнером Мирона Селзника по Голливуду. Веселый, простой, добродушный, в чем-то бесшабашный. Легко шагал по жизни. Любил женщин, с радостью и непринужденностью порхал с одного цветка на

другой. Я познакомилась с ним в день своего прибытия в Голливуд, но тогда, кажется, он не произвел на меня впечатления, то есть — я на него.

Когда я играла в «Супруге воительницы», со мной впервые заключила контракт как агент Мириам Хауэлл. Нужно было сделать пробу для «Билля о разводе». Роль я получила. Снялась яркой звездой.

Такой успех привлек внимание Леланда. Оказалось, что тяга была обоюдной. Это случилось незадолго до того, как мы… Словом, это произошло незадолго до того, как мы… Н-да. Есть фотография, на которой он запечатлен вместе со мной. Она публиковалась много раз с подписью: К. Х. и Ландлоу Огден Смит. На самом же деле это Леланд и я. То ли 1938-й, то ли 1934-й.

Я уже писала, что в начале 30-х мы с Ладди решили разойтись. Я чувствовала, что вхожу в новый мир, в котором у Ладди не будет места. Я даже не помню, обсуждали ли мы с Ладди этот вопрос вообще. И с ужасом оглядываюсь назад на мое поведение. В ту пору я была устремлена в будущее, и не в наше совместное, а только в мое, сугубо личное. Я, вероятно, жаждала взобраться на вершину лестницы. Ладди не жаловался. Он просто делал все от него зависящее, чтобы помочь мне идти своим собственным путем, а я, по-видимому, совершенно не осознавала своего свинства.

Мы с Ладди разошлись. Меня нисколько не беспокоила формальная сторона развода, потому что я была уверена, что никогда больше не выйду замуж. Но мне не хотелось, чтобы Ладди был «брошенным мужем». Я понимала, что мне нужно как можно скорей куда-нибудь уехать, чтобы получить развод. И мы с Лорой Хардинг поехали на Юкатан. Но сразу же возвратились.

Я очень скоро поняла, что отлично подхожу Леланду. Мне нравилось питаться дома и рано ложиться спать. Ему нравилось есть вне дома и поздно ложиться спать. Поэтому, когда я обедала, он выпивал, а потом уходил из дому. Возвращался в полночь. Великолепная дружба! Мы удачно сочетали наши собственные привычки, и отношения были исключительно мягкими. Леланд давал мне самые приятные знания о том мире, в котором мы вроде бы жили. Для этого мне не приходилось тратить никаких усилий. Одна болтовня. Чудесно. У него к тому же была комната в отеле «Беверли-Хиллз» или в «Беверли-Уилшир».

Леланд подружился с моей Мамой. Они ладили. В этом не было ничего необычного, потому что, как вы, наверное, уже догадались, все находили мою Маму обворожительной. А что тут странного? Она и вправду была обворожительной. Леланду

нравилась и Лора, везучая моя подруга.

Мы с Лорой переехали из дома на Франклин Кэнион в дом на Колдуотер Кэнион. При доме имелся бассейн и теннисный корт. Довольно обширный участок. С Леландом дом казался чуточку тесным, но веселым. Нам всегда казалось, что в доме живут привидения. Как-то приехал в гости Дик, он рассказал нам, как ему почудилось, будто кто-то подошел к его изголовью, остановился и некоторое время наблюдал за ним. В доме слышались странные шумы. Это был необычный дом, построенный на склоне холма, так что хотя хозяйская спальня располагалась вроде бы над гостиной, тем не менее и она находилась на первом этаже.

Когда мы жили в том доме, случилась одна забавная вещь. Лора заболела и пошла в больницу. Там она немножко зафлиртовала с очень симпатичным молодым врачом.

Я вернулась с натурных съемок «Огнедышащей», и к нам на обед пришел молодой врач. Мы ели артишоки — одно из самых любимых наших блюд. Отрывали листочки и окунали их в растительное масло. Доктор немного смущался и в конечном счете измазал себе маслом подбородок.

Мы обсуждали какую-то заумную тему, а я не могла отвести взгляда от его замасленного подбородка. Наконец осмелилась и сказала: «Да, я, разумеется, верую в Бога — у вас, простите, масло на подбородке, — но что я считаю Богом, возможно, не…»

Он застыл от ужаса. Вытер ладонью подбородок. Ушел вскоре поле обеда, и больше мы никогда его не видели.

К тому времени мы с Леландом были похожи на чету с солидным супружеским стажем. Он был беззаботный. Ему нравилось жить, есть, пить, любить. Мы много смеялись, занимались тем, чем хотели заниматься, и именно тогда, когда хотели. Я играла в теннис и гольф с другими людьми. Он не любил играть. Ему нравилось заниматься своим делом — он был агент. Жизнь была веселой и легкой. Я была счастлива. У меня был поклонник. У меня была профессия. Леланд хотел на мне жениться, но сама я не испытывала желания выходить замуж.

Позже, в 1934 году, мы с Лорой переехали в дом Фреда Нибло, находившийся наверху Анджело-драйв над Бенедикт Кэнион. Фред Нибло снял немую картину «Бен-Гур» — мощный хит. Этот дом позже принадлежал Жюлю Стайну, теперь же принадлежит Мердоку. Он был расположен в замечательном месте, проживание в нем стоило тысячу долларов в месяц. Поистине шикарный дом — бассейн, корт.

Выше был всего лишь один дом — Фрэнсис Мэрион. Она была замужем за Фредом Томсоном. Была маститой киносценаристкой.

Он стал крупной звездой «вестернов». Потом внезапно умер. Дом выставили на продажу. Тот, в котором жила я, тоже продавался — за двадцать пять тысяч долларов. Я могла бы купить обе эти усадьбы за весьма незначительную сумму. Принимая в расчет то, что имелось сорок акров земли, можно было бы рискнуть приобрести ту гору. Папа, распоряжавшийся моими деньгами, никогда не приезжал в Голливуд. Но вряд ли его интересовала собственность. Он старался накопить для меня капитала побольше, чтобы я могла на что-то жить, когда моя авантюра рухнет. Тот факт, что его дочь кинозвезда, не вызывал у него доверия.

* * *

Моя жизнь казалась мне божественной. Постоянно происходили забавные истории. Помню, как однажды ко мне зашел Джордж Кьюкор с каким-то своим другом. Они хотели посмотреть дом. Я включила свет в гостиной и вдруг вижу: перед камином лежит большущая змея.

— О Боже, — воскликнула я, — гремучая змея!

Джордж и его друг мгновенно ретировались.

Я распахнула настежь двустворчатые двери, чтобы она могла беспрепятственно уползти, а остальные двери в доме наглухо закрыла. И гостья, будучи понятливой, уползла куда-то вниз, в корни деревьев.

В другой раз, вскоре после того, как я сняла этот дом в аренду, ко мне в гости пришли Джордж Кьюкор и Грета Гарбо. Ей рассказывали про дом, и она захотела осмотреть его. Я сопровождала ее. Поднялись наверх по лестнице — в спальню. Она подошла к моей постели. Из-под одеяла торчал какой-то комок (очевидно, бутылка с горячей водой). Она взглянула на меня, хлопнула по комку и вздохнула.

— Да, я тоже этим пользуюсь. И что с нами такое?

Однажды я прогуливалась с моими тремя собаками: коккер-спаниелем Микой, французским пуделем Баттоном и черным коккером Питером. Мы проходили мимо дома Фрэнсис Мэрион. Поблизости других домов не было.

— Вы не можете себе представить, что здесь только что произошло. Вам не повстречался странного вида старенький «додж»?

— Да, «додж» шоколадного цвета? За рулем старик, а с ним толстая-претолстая женщина.

— Это они! Знаете, мне просто не верится, что это было

наяву. Я сидела на открытой террасе. Слышу — звонят снаружи. Подхожу к входной двери. Отворяю и вижу эту самую даму (употребляю слово с натяжкой) — именно она сидела в том «додже».

— Здравствуйте, — говорит она разнесчастным голоском. — Эта усадьба продается?

— Да, продается, — отвечаю, а у самой на душе кошки заскребли.

— Мы видели внизу конюшни. Так здорово — много конюшен. Я хотела бы осмотреть ваш дом.

И повернулась к мужчине в «додже».

— Ты не пойдешь со мной, дорогой?

— Теперь твоя очередь смотреть. Я пока почитаю газету.

— Хорошо, идемте, — сказала она мне. Я начала показывать ей дом. Мы переходили из комнаты в комнату. Знаете, у меня создавалось впечатление, что ее, собственно, ничего и не интересует.

— Что ж, хорошо.

— А что… Где… Вы… Теперь пойдемте на веранду.

Я показала: «Это… В общем, сюда», — и повела ее на кухню.

— Хорошо… Достаточно. Где передняя…

Я торопливо повела ее к парадной двери. Ее супруг все еще сидел с газетой в руке.

— Ты довольна, дорогая?

— Да, очень.

— Сколько? — спросил муж.

Ошарашенная, я ответила:

— Шестьсот девяносто пять тысяч долларов.

— Возьмете чеком?

Они просто купили этот дом. Эти двое в «додже». Просто взяли и купили…

Фрэнсис показала мне чек. Наверно, те двое владели нефтяными скважинами в Техасе. У них дочь, которая любит верховую езду. Они проезжали мимо конюшен, которые построил для своих лошадей Фред Томсон.

Новые хозяева прожили в доме два года. Никогда не платили налоги. Съехали. А потом дом был продан за долги от неуплаты налогов — тысяч за семьдесят. Вот когда я могла купить его. Дуреха.

Жизнь с Леландом была безоблачной. Все было просто… Как бы это объяснить? Мы не создавали себе проблем. На все находилось решение. Состояние радости было преобладающим. Все воспринималось как приятный сюрприз. Жизнь казалась ему

такой легкой. Я не помню, чтобы мы когда-либо ссорились. Просто наслаждались — наслаждались — наслаждались. Почти четыре года.

Потом Леланд поехал по делам на Восточное побережье. У него с давних пор клиентом была Эдна Фербер. И вот состоялась премьера ее пьесы «Служебный вход», в которой играла Маргарет Салливан.

О, я вижу все это как сегодня. Пьеса имела громадный успех. Мэгги тоже. Все было чудесно. Он был покорен ее очарованием. Надо, чтобы она стала его клиенткой. А самый быстрый путь к успеху — завоевать ее любовь. Он так и сделал. Жизнь была ему в радость. Жизнь — радость. Я, вдалеке, стала как бы нереальной.

Она была рядом. Он был рядом с ней.

О, живи мгновением!

И они жили.

Так совершенно неожиданно он обзавелся женой — Мэгги, то есть обзавелся семьей, а я стала как бы сном. Спустя годы он пытался мне объяснить это и никак не мог — равно как и я не могла объяснить свой отказ выйти за него замуж.

Как бы там ни было, я получила телеграмму, в которой говорилось, что они с Мэгги женятся.

Для меня это была неожиданность. Да как же так! Нет… некрасиво… нечестно! Позвонила Маме в Хартфорд. Я была в ярости. Ревела. Как он мог?

— Но ты ведь сама не хотела выходить за него, Кэт. Может, он просто хотел жениться. Бедняга. Ты не вправе винить его. Сама виновата. Ты должна послать ему телеграмму. Не будь несчастной. Сама виновата.

Конечно, это был не самый приятный разговор. Я послала ему телеграмму, но продолжала реветь, жаловаться и ныть.

Я должна рассказать, как отреагировал на это Джордж Кьюкор: «Кейт, что с тобой стряслось? Ты ведь могла выйти за него замуж, если б захотела. Ты этого не сделала».

— Ну перестань же! Что мне теперь делать? — И я все жаловалась и жаловалась, покуда было кому слушать. Конечно, Мама была права. Мне думается, что она поздравила Леланда, пожелала ему счастья и сообщила, что обо мне он может не беспокоиться.

Поскольку ничего изменить уже было нельзя, то и я пошла своим путем. Вряд ли я вынесла из этой истории урок для себя. У Леланда и Мэгги трое детей. Вскоре они развелись, и он женился на Слим Хоке. Потом на Памеле Черчилль.

Наконец, когда Леланд был болен и лежал при смерти, Памела позвонила мне и сказала: «Леланд умирает. Он любил

тебя больше, чем кого-либо из нас. Не заедешь ли навестить его? Он при…»

Я поехала. За последние годы я видела его раз или два — может, больше. Он был веселый человек. Умел ценить женскую красоту. Мне льстило, что я вроде бы нравилась ему. Думаю, что Памела преувеличивала его чувство ко мне. Мне кажется, что, вспоминая свое прошлое, Леланд, в сущности, вспоминал свою молодость. Мы оба были молоды, и я не вышла за него замуж, поэтому в памяти у него осталась только наша замечательная любовь, а не чувство опутанности брачными узами.

Я вообще никогда не стремилась связать кого-либо браком. И не хотела замуж за кого бы то ни было. Мне нравилось быть самой по себе. Даже когда я была со Спенсером Трейси, а мы прожили вместе двадцать семь лет, то никогда не задумывались и не говорили о браке. Он был женат, а мне было все равно.

Думаю, что внутренне Леланд чувствовал, что мы можем жить такой жизнью бесконечно. Он мне нравился, мне было очень приятно в его компании. Легко плыть. Весело. Подобных людей так мало. Вы обратили на это внимание? Все равно что есть мороженое в раскаленный зной. Вкусно. Бодрит и освежает.

Что можно сказать о Леланде? Он действительно жил, словно танцевал. Вы понимаете, что я имею в виду?

Мы встретились в то время, когда для нас все было радостно, смешно, весело, восхитительно. И нам было весело! О да — весело!

Мне здорово повезло, что я знала его.

Говард Хьюз

Теперь надо немножко вернуться назад и рассказать о том, что случилось на картине «Сильвия Скарлетт». Снимал ее Джордж Кьюкор, в главной роли — Кэри Грант, в роли моего отца — Эдмунд Гвенн. Значительную часть картины мы отсняли по ту сторону Транкас-Бич в Калифорнии. Джордж и я по очереди устраивали роскошные пикники на природе, еду к которым поставляли нам из дому. Ленч на пятнадцать — двадцать человек. Мы накрывали длинный стол, и на него выставлялось все, что привозили из дому Луис и Рэнгхилд Прайсинг и моя экономка Джоанна Мадсен: суп, горячий или холодный, салаты, какое-нибудь горячее мясное блюдо и, разумеется, мороженое. Фантастика!

Однажды в небе, прямо над нами, очень долго кружил аэроплан и потом приземлился на пятачке в поле — совсем недалеко от нас.

Кто бы это мог быть? Кто, черт возьми, а?

Кэри Грант воскликнул:

— Это мой друг Говард Хьюз!

Я была несколько поражена, потому что до меня дошли слухи, будто Хьюз жаждет со мной познакомиться. И он, вероятно, решил сделать это именно таким образом. Я бросила на Кэри Гранта суровый взгляд, и мы все приступили к еде. И ни разу не взглянула на Говарда.

Какая выдержка!

Следующий этап. Я играла в гольф и с профи в «Бель-Эйр Кантри Клаб».

Мы вот-вот должны были закончить игру. Вдруг — звук летящего аэроплана. Говард приземлился практически нам на голову. Ему пришлось подогнать грузовик, чтобы вывезти самолет с игрового круга. Надо сказать, что это дало нам передышку. Мне его поведение показалось дерзким и нахальным. Руководство клуба было в ярости. Говарда Хьюза это нисколько не обескуражило. Мы закончили игру, и я сказала:

— Вас куда-нибудь подвезти?

Он ответил положительно, и я отвезла его в отель «Беверли-Хиллз».

В следующий раз — примерно спустя два месяца — я узнала из газет, что Говард в Бостоне. Я играла там в «Джейн Эйр» — пьесе Элен Джером. Жила в отеле «Риц». Спектакли шли в театре «Колниэл». Говард поселился в той же гостинице.

По-видимому, мне было одиноко, потому что в тот первый вечер мы с Говардом в компании с кем-то еще ужинали после спектакля. Лишнее подтверждение истины, что упорство города берет. Ужинали мы и в следующий вечер — вот так…

Говард Хьюз был странный парень. Умница, с по-настоящему тонким умом, но страдал глухотой — в очень серьезной форме. Сказать же «пожалуйста, говори со мной громче — я плохо слышу», вероятно, стеснялся. Поэтому, если в разговоре участвовало больше двух человек, большую часть разговора он не понимал. Это было трагично. Но переломить себя он не мог. У меня был хороший друг, некто Рассел Давенпорт, тоже глухой. Но он всегда заранее предупреждал: «Говори громче, пожалуйста, — я плохо слышу». Истинная драма для человека, имеющего какой-нибудь физический изъян, — объявить о нем вслух. Признаться в нем. Тот, кому это говорится, вовсе не удивляется. Он или она просто-напросто начинает говорить громче. И думает о том, как здорово, что сам он — не глухой. Мне думается, что этот его недостаток постепенно разрушал жизнь Говарда, сделав одиноким.

Он последовал за нами на гастроли. Мы играли в Чикаго. Я жила в гостинице «Амбассадор». Говард снял номер там же. Да, на том же этаже, что и я. Да, вы совершенно правы — как же иначе. Газеты начали склонять нас в заголовках: «Хьюз и Хепберн не сегодня завтра поженятся». Я не могла выйти в город, чтобы меня не преследовали. Мой номер находился на девятом или десятом этаже. Однажды я воспользовалась пожарной лестницей, чтобы не идти через вестибюль. Я добралась до первого этажа и увидела одну из тех запасных лестниц, на которую достаточно ступить, чтобы она под тяжестью вашего тела сама опустилась вниз. Я шагнула на нее, но она почему-то не опустилась, и мне пришлось перебираться обратно на пожарную лестницу, а потом снова карабкаться по ней, теперь уже наверх, в результате чего я вновь оказалась в собственном номере.

Говард сопровождал меня в гастрольном турне: Детройт — Кливленд — Чикаго. Он все свое время сидел на телефоне, потому что он мог слушать, разговаривая по телефону. Наконец турне закончилось, мы вернулись в Калифорнию и стали жить в его доме, который своей тыльной стороной выходил на гольфовую площадку клуба «Уилшир Кантри». Это было здорово, потому что достаточно было перепрыгнуть через заборчик — и пожалуйста, играй не хочу. У Говарда была служанка по имени Беатрис Даулер. Она великолепно готовила. Именно она рассказала мне, что, когда на обед приходят гости «определенного сорта», она сажает их за стол с дешевой фарфоровой и стеклянной посудой, а после окончания обеда всю эту посуду она (Беатрис) разбивает, осколки же выбрасывает на помойку.

Я не совсем понимала, зачем это делалось. Однажды я сказала Говарду: «Мне кажется, что, если бы ты выбирал себе друзей более тщательно, тебе не пришлось бы бить так много посуды».

Итак, мы жили на Мюрфилд-роуд. Моя повариха Рэнгхилд и ее муж Луис Прайсинг также заботились о нас. Моя экономка Джоанна Мадсен — тоже и, разумеется, Беатрис.

Говард очень прилично играл в гольф. Я тоже очень хорошо играла. У меня была большая практика, но мы по-разному относились к гольфу. Я играла ради удовольствия и ради поддержания физической формы. Говард — всегда ради совершенствования своей техники. Ему не хватало скорости — он брал практические уроки. К концу игры я почти всегда опережала его на лунку, а во время самой игры я постоянно отвлекалась, восторгаясь небом, цветами… Его это возмущало.

— Ты бы могла по-настоящему здорово играть, если бы

больше тренировалась.

Мысленно я отвечала: «И ты мог бы, играя, получать удовольствие не только от самой игры, не будь таким медленным». Так мы плыли по течению. В разных темпах.

Говард решил совершить кругосветное путешествие. Он был опытным летчиком и знал все, что только можно знать о машинах. Он вознамерился взлететь с Лонг-Айленда. Мы успели съездить в Нью-Йорк и жили на квартире моей подруги Лоры Хардинг на Пятьдесят второй улице, поскольку мой дом осаждала пресса, прознавшая, что должно произойти что-то необыкновенное.

Рано утром мы покинули Пятьдесят вторую улицу и выехали на автостраду в направлении аэродрома, где (готовый к взлету) стоял его самолет. Машину вел Чарльз Ньюхилл, мой шофер. Мы ехали в моем «линкольне». Вообще у Чарльза было ангельское терпение. Но в тот момент он нервничал. Внезапно сзади раздался вой полицейской сирены.

Я приспустила стекло внутри салона:

— Чарльз, оставайся спокойным. Пусть штрафуют — не возражай. Они не должны знать, что с нами Говард Хьюз.

Терпеливый Чарльз!

Он был спокоен. Получил повестку на оплату штрафа. Полицейский так и не заглянул внутрь машины, и мы продолжили свой путь.

Моя задача заключалась в том, чтобы довезти Говарда до аэродрома, а потом вернуться обратно на квартиру. Он будет держать меня в курсе по телеграфу.

Говард позвонил и сообщил, что что-то не заладилось с самолетом, его придется заменить. Это займет примерно шесть часов или около того. Толпы народа окружили аэродром в ожидании зрелища. Задержка ничуть не беспокоила Г. Х. Он привык к неполадкам и к тому, что их надо устранять. Наконец он поднялся в воздух и установил рекорд. Я получала послания из различных точек. Это было замечательно.

Наша жизнь была приятной. Иногда я уезжала на Восточное побережье навестить семью. Помню, однажды, попрощавшись с Говардом, поехала в аэропорт. Я уже сидела в самолете, до взлета оставались считанные минуты. Багаж на борту.

Ко мне подошел мужчина в форме и сказал:

— Вам нельзя лететь.

— Что?

— Вам нельзя лететь. Мистер Хьюз говорит, что вам нельзя лететь. Погода плохая.

Обескураженная, сошла с самолета, предоставив остальных

пассажиров их судьбе. Конечно, все прошло нормально — ничего страшного не произошло. Это был своего рода опыт.

Я обыкновенно летала везде вместе с Говардом — по всей стране: сюда — туда. Он учил меня летать. Однажды я пролетела под мостом Пятьдесят девятой улицы. Иногда я просто лежала в самолете в спальном мешке. Однажды из Фенвика мы полетели в Ньюпорт посмотреть лодочные гонки.

Мне показалось, что пахнет гарью.

— Запах гари, — сказала я.

— А я, думаешь, не чувствую?

Мы полетели обратно в Нью-Лондон, штат Коннектикут, и затушили огонь. Полет всегда доставлял мне истинное наслаждение.

Когда мы летали на гидросамолете, то, если было жарко, приводнялись в середине залива Лонг-Айленд, ставили самолет на прикол, раздевались донага, чтобы освежиться. Было весело.

Моей семье не слишком нравился Говард. Во-первых, он был слишком привязан к телефону. Телефон же находился в столовой. Семья у нас большая, и в доме всегда были какие-нибудь гости. Продолжительные телефонные разговоры создавали для всех неудобства.

И Ладди тоже часто присутствовал. Особенно на площадке для игры в гольф. Причем всегда с кинокамерой. Говарду это не нравилось, и он, не выдержав, высказал свое возражение.

Папа отпустил свое знаменитое замечание:

— Говард, Ладди снимал нас всех в течение многих лет, еще до того, как вы появились у нас, и будет снимать после того, как вы нас покинете. Он часть нашей семьи. Ваша очередь, Бейте. Возьмите колюшку № 7.

Говард яростно бьет — шесть футов от лунки. Он хорошо играл в гольф. Опустил двойку. Недурно. Хладнокровно.

В тот период моя карьера вошла в пике. Это происходило, когда за глаза меня стали называть «кассовой отравой». Владельцы кинотеатров старались отделаться от Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд и меня. Кажется, им приходилось брать фильмы с нашим участием в качестве нагрузки к тем, которые им действительно хотелось взять.

Мне было жаль их. Вот список моих очень скучных фильмов:

«Разбитые сердца»

«Сильвия Скарлетт»

«Мятежная женщина»

«Дорогая улица»

А в ряду удач:

«Элис Адамс» — с Фредом Макмюрреем

«Служебный вход» — с Джинджером Роджерсом
«Воспитывая Бэби» — с Кэри Грантом
«Праздник» — с Кэри Грантом.

Эти четыре были хорошие картины, но из-за тусклости четырех предыдущих я, вероятно, стала персоной нон-грата в независимых кинотеатрах. Я снималась в «Празднике» на заем от РКО, которая жаждала от меня отделаться и предлагала мне «Цыплят мамаши Кэри», мной отвергнутых. Мы заключили договор: я плачу 75 000 долларов РКО, а она дает свое согласие на то, чтобы я сделала «Праздник» для «Коламбии». Гарри Кон («Коламбия») предлагал мне 150 000 долларов.

Итак, в тот период я стала «кассовой отравой». Владельцы независимых кинотеатров поставили меня первой в черном списке. Я действительно опускалась все ниже и Ниже. «Праздник» был завершен.

Когда мое нелучшее положение дел стало известно, Гарри Кон не мог сплавить «Праздник». Бедный Гарри. Спрашивая «Что неладно с Кэтрин Хепберн?», он уже замышлял другую картину в двадцати четырех частях. Я отсоветовала ему снимать: «Оглянись вокруг! И наверняка услышишь — почему!»

Потом я решила, что мне лучше вернуться на Восточное побережье и сыграть в какой-нибудь пьесе или сделать еще что-нибудь.

Незадолго перед этим «Парамаунт» прислал мне сценарий и предложение о гонораре в десять тысяч долларов. Со ста пятидесяти-то тысяч! Я позвонила на студию. Рассыпалась в извинениях. Сказала, что их предложение единственное, которым я на данный момент располагаю. Но сценарий, как ни жаль, мне не понравился.

Говарда мой отказ очень огорчил. Ему страшно хотелось, чтобы я приняла предложение «Парамаунта». Я же считала, что это было бы большой ошибкой. Он очень придавал значение тому, что о нем говорят люди. Ему казалось, что я огорчена своей неудачей, но это было совсем не так. Конечно, это имело какое-то значение, но не настолько серьезное, чтобы влиять на мои действия.

Я считала, что Г.Х. не прав. А он считал, что не права я.

Говард и я были, конечно, странной парой. Думаю… как бы это сказать? Думаю, что он, сам того не желая, нашел во мне очень подходящего компаньона. Да и я считала его вполне подходящим. Чего греха таить — среди незанятых мужчин он был самым умным, так же как я — среди незамужних женщин. Мы были колоритной парой. И закономерно, что мы были вместе, хотя теперь мне кажется, что мы были слишком схожи. Мы были

родом с одной улицы, так сказать. Мы выросли вольными. Обоим нам было присуще безумное желание прославиться. Мне кажется, что это было главным в наших характерах. Те, кто хотят стать знаменитыми, в сущности, одиноки. Или должны быть таковыми.

Конечно, я чувствовала, что безумно влюблена в него. И думаю, что он испытывал ко мне точно такое же чувство. Но когда встал вопрос: «Как нам теперь поступить?» — я поехала на Восток, а он остался на Западе. Мы были вместе приблизительно три года. Самолюбие убивает любовь, или это была все-таки только влюбленность?

Я посоветовала всем моим работникам остаться с Г. Х.: «С ним вам будет гораздо лучше, чем со мной». Так они и поступили — остались с Г. Х. Это был конец 1937 года — начало 1938-го.

Мне казалось, что я нахожусь в очень странной ситуации. Да, я снялась в нескольких очень серых картинах. Но потом в четырех по-настоящему хороших, но проку от них не было. Хотя прок-то был, но не такой, как нам представлялось. Вот почему я почувствовала, что мне следует глотнуть свежего воздуха. В корне изменить обстановку.

И теперь, оглядываясь, я должна признать, что совершила, по-моему, умный с профессиональной точки зрения шаг и не позволила личному брать верх.

Я не хотела выходить замуж за Говарда. Он мне нравился, был яркий, интересный. Интересной была и его жизнь. Но я, вероятно, была слишком поглощена своей неудачей, и мне было крайне важно поправить свое положение.

Я отправилась в Фенвик в пору цветения садов. Стоял июнь, погода была божественной. Чтобы поиграть в гольф или теннис, поплавать или покататься на лодке, нужно было только желание. Семья в полном сборе. Весело. Разговоры, разговоры… Много спорта. Никто не знал, насколько неудачны мои дела, поэтому не было ни расспросов, ни пересудов.

Папа, конечно, знал, что я на финансовой мели. Но поскольку он давно для себя решил, что работа в театре и кино очень ненадежное занятие, это внезапно наступившее затишье не удивило его.

Однажды раздался телефонный звонок, и голос Филипа Барри из штата Мэн произнес:

— Есть идея. Надо поговорить.

— Чудесно, — сказала я. — Я в Фенвике. Подъезжай… Хорошо… Завтра было бы как нельзя кстати… Да, к чаю. Хорошо.

Он приехал. Я уже говорила, что на чай у нас собиралось много гостей, и Филип наконец сказал:

— Нельзя ли где-нибудь уединиться? Мне хотелось бы

поговорить с тобой тет-а-тет.

Мы вышли на пирс и сели там. Фил сказал, что в моей ситуации есть два варианта: один — отец и дочь; второй — «Филадельфийская история». Последнее показалось мне более приемлемым.

Фил уехал, а спустя несколько недель прислал черновой вариант первого действия.

Я прочла. Восхитительно! В основном это было почти то же самое, что получалось, когда мы ее ставили на сцене.

Я позвонила Говарду и рассказала, что у меня есть восхитительный новый проект. Говард сказал: «Надо купить права на фильм до премьеры». И он купил права на прокат «Филадельфийской истории», что позже обеспечило мне успех.

Думаю, что мы действительно нравились друг другу. Мы с Говардом стали друзьями, а не любовниками.

Говарду и мне просто казалось, что мы подходим друг другу. Я восхищалась его самообладанием, его выдержкой. Он вроде бы восхищался мной. Благодаря силе моего голоса он мог меня слышать. Я была счастлива с ним, потому что он, подобно мне, был домоседом. Оценивая теперь наши взаимоотношения, я прихожу к выводу, что мы оба были спокойными обывателями. Он мог делать все, что желала его душа. Когда же я решила переехать на Восточное побережье, он, вероятно, подумал — ну нет, ехать на Восток я не хочу. Найду кого-нибудь, кто не уедет с Запада. Я всегда считала, что нам повезло, что мы так и не поженились, — два человека, каждый из которых привык идти своим собственным путем, расстались.

Он всегда был хорошим другом. Его врач, Лорин Чеффин, лечил и меня. Он придерживался той же точки зрения, что и я: в конце концов Говарда погубит его глухота. Когда-то Говард попал в серьезную авиакатастрофу, в результате которой страдал невыносимыми болями. Чтобы уменьшить боли, ему кололи морфий, и Говард в конце концов предпочел трудной борьбе за жизнь этот опустошающий душу, но более легкий путь. Никто не вправе его винить, но это было очень грустно. Он был замечательный человек.

На следующий день Бог послал ураган 1938 года. Дома в Фенвике не стало.

Ураган

Итак, ураган 1938 года.

Он был настоящим испытанием. Мы тогда находились в Фенвике. Это было очень примечательное событие. В то утро —

конца сентября — жители поселка в большинстве своем укатили обратно в Хартфорд, и их дома были плотно закрыты. Я плаваю всю зиму, так что сезон для меня никогда не заканчивается. Купание доставляло нам наибольшее удовольствие, когда поселок пустел.

Помню, около восьми утра я пошла поплавать. Стояла чудесная погода. Прилив был слабый — почти нулевой. Воздух чистый, прозрачный — легкий бриз. Все вокруг было окрашено в чистые тона. Я поплавала на спине, вернулась в дом, позавтракала. Вышла наружу. Дул ровный устойчивый ветер, но очень приятный.

Я решила поиграть в гольф. Джек Хэммонд (Рыжий) приехал на уик-энд в июле, теперь был уже конец сентября, а он все еще был с нами. Мы отлично проводили с ним время, он хорошо играл в гольф и очень здорово в теннис. Я тоже. Так что нам было весело.

О, мне сейчас вспомнилась замечательная история. Надо рассказать один случай про отца Рыжего, судью Хэммонда. Он пошел как-то в Бостоне в театр один. Поднялся занавес. Сидевшая впереди женщина вовсе не собиралась снимать свою шляпу.

Не выдержав, Хэммонд похлопал ее по плечу и сказал:

— Прошу прощения, вы не могли бы снять шляпу? Мне не…

Резким жестом она дала понять, что пусть он и не надеется…

Что делать? Как быть?

Ну, если…

Он взял свою собственную шляпу — высокую, с широкими полями — и надел ее. Тут же зрители за его спиной зашептали:

— Снимите шляпу! Снимите шляпу!

Женщина, сидевшая впереди, тотчас сняла свою шляпу. Тогда судья снял свою. Наверно, он был отличным судьей, как вы думаете?

Теперь самое время снова вернуться к урагану 1938 года.

Итак, мы пошли играть в гольф. Рыжий и я. К тому времени я увидела, что поднялся ветер, и весьма сильный. Когда у нас было по три девятки, я сделала очень удачный драйв, высокий, и мяч, как мне показалось, упал прямо на лужайку. Когда мы пришли туда, то мяча нигде не было. Где он? Я была уверена — о, смотри! В лунке! Я одним ударом угодила в лунку! Можете себе представить?! В сумме получалось тридцать одно на девяти лунках. Конечно, я установила свой личный рекорд. Мы отправились обратно в отличном расположении духа. «Знаешь, — сказала я Джеку, — ветер-то действительно очень сильный. Можно на него опереться, и он будет держать».

Нас швыряло на волнах, как мячи. Ой, как здорово! Нам

удавалось держаться в воде прямо. Она была приятной, и мы покупались в удовольствие. Выбравшись на берег и одевшись, мы поняли, что это шторм и с каждой минутой погода ухудшается. Начало мести песок. Он обрушивался и стегал, точно плетьми.

«Боже, — подумала я, — с моего нового автомобиля слетит вся краска. Наверное, надо его отогнать в Сейбрук и поставить там в гараж».

Шофер Чарльз уехал в моем «линкольне». Однако ветер настолько усилился, что Чарльз, получивший контузию во время первой мировой войны, перепугался и, остановившись где-то в районе Корнфилд-Пойнта, зашел в чей-то дом и оставался там, пока не кончился ураган.

После второго заплыва мы начали сознавать, что надвигается что-то очень серьезное.

В фенвикском доме в тот день находились Мама, повариха Фанни, мой брат Дик, Джек Хэммонд и я. Из дома Фрэнка Бертона вышел на улицу мужчина, чтобы закрыть ставни на веранде. Они распахивались, словно полы пальто. Он прибил их гвоздями. Внезапно мы увидели, как ехавшая со стороны Сейбрука машина вдруг оторвалась от земли и полетела по воздуху. Ветер нес ее до самой лагуны. Ни много ни мало — обычных размеров автомобиль — как пушинку. Чудеса, да и только!

Потом вдруг раздался сильный треск, и от задней стороны дома отвалилась пристройка. Ветер к тому времени усилился, вода перекатывала через дамбу и хлынула на лужайку. Дом — большой, старый деревянный дом, построенный около 1870 года, — трясся, как лист. В мгновение ока выдуло все стекла, которые тут же ушли под воду, и снесло две печные трубы. Дом был построен на кирпичных сваях примерно с метр высотой. Мама была убеждена, что, коль скоро сваи проверены Папой, дом стоит прочно. Дик наконец убедил ее, что пора уходить. Мы решили вылезти наружу через окно, выходившее на запад, пройти по полю и выбраться на горку. Мы нашли веревку и, держась за нее, по очереди — Мама, Фанни, я, Рыжий — вылезли из окна к Дику, который стоял по пояс в воде. С Диком во главе мы цепочкой, по-прежнему держась за веревку, прошли через поле. Течение в воде было очень сильное. Ветер был сильнейший. Мы прошли мимо дома Брейнарда с северной стороны и наконец вышли на сухое место. Оглянувшись — прошло минут пятнадцать после того, как мы покинули свое жилище, — мы увидели, как наш дом, медленно разворачиваясь, уплывает на северо-восток, одновременно постепенно погружаясь в поток, пересекавший лагуну. Просто-напросто уплывал — словно щепка, — и очень

скоро на том месте, где в течение шестидесяти лет стоял дом, не осталось ровным счетом ничего. Наш дом — наш в течение двадцати пяти лет, все наше достояние — просто исчез. ПОСЛУШАЙТЕ — МЫ ЖИВЕМ ТАМ! ЭЙ, ЧТО ПРОИСХОДИТ?! Приложив немало усилий, мы открыли дверь дома (Риверси Инн), стоявшего на взгорье, чтобы Мама и Фанни могли укрыться в нем от ветра, а сами пошли проверять еще целые дома, чтобы убедиться, что в них нет огня в печах или каминах. Там, где находили огонь, тушили. Опасность пожара при таком ветре в квартале, состоявшем сплошь из деревянных построек, была реальной.

Мало-помалу шторм стал стихать, прилив пошел на убыль, вода спала, ветер успокоился. Наступила ночь. Мы все спали в доме Риверси.

Утро. Рыжий и я проснулись на рассвете и пошли на разведку. Мне почему-то казалось, что наш дом наверняка вернулся на прежнее место.

Надежды оказались напрасными. На нашем участке ничего не было. Мы миновали усадьбу Брейнарда. Дом сместился, а тыльная его сторона была разрушена. Вот и наш участок. Плоский, как сковорода. Ничего вертикального. Одна труба от ванны да туалет у скособоченной сваи. Дом и все другие помещения исчезли — просто исчезли — и все.

К счастью, «линкольн» и две другие машины мы успели отогнать на возвышенное место, когда поняли, что надвигается нечто страшное. Мы сели в одну из машин и кружным путем поехали в «Сейбрук телефон компани», чтобы позвонить Папе в Хартфорд. Нам удалось пробиться. Папа первым делом спросил, все ли в порядке с Мамой.

— Да, Папочка, с ней все отлично. Мы все в полном порядке. Дом сгинул. Исчез.

— Полагаю, что никому не пришло в голову бросить внутрь спичку, прежде чем он исчез. Я застрахован на случай пожара.

Мы вернулись на нашу усадьбу. Куда все подевалось? Серебро. Где все наше столовое серебро из буфета? И мамин чайный сервиз. Ведь это тяжелые вещи, и, когда дом рухнул, все должно было выпасть. Принялись копать. Хотите верьте, хотите нет, но мы откопали-таки восемьдесят пять предметов из серебра и целиком весь чайный сервиз.

Потом мы взяли кубики и принялись планировать наш будущий дом — он будет построен на том же месте. Мы совершили одну ошибку. Подняли усадьбу только на метр. А следовало бы на три. Будем надеяться, что эта ошибка не приведет к таким же последствиям.

Старый дом пропутешествовал приблизительно треть мили вниз по течению и в ста ярдах от устья наткнулся на каменный мост. Верхний этаж был сухой. Бумаги Дика лежали рядом с машиной — хоть сейчас печатай.

Мой брат Дик рассказал, что после того, как он вывел всех на возвышенное место, он отправился в старый коттедж Мура, открыл кое-как окно, поднялся на верхний этаж и, глядя вниз на лагуну, наблюдал, как наш дом медленно разворачивается направо, слегка продвигаясь вперед — озерная сторона дома, прежде южная, теперь смотрела на север, — и тихо уплывал вниз по течению, так спокойно и с таким достоинством, что казалось, будто он просто отправился на свою послеобеденную прогулку.

Майер

Майер и я были друзьями. Он был главой «Метро-Голдвин-Майер». Он нравился мне, а я нравилась ему. Я продала ему довольно много проектов картин. Он не ограничивал моей свободы, а я платила ему огромным уважением. Луис Майер привнес много нового в кинобизнес и студийную систему. Надо сказать, что и мне было присуще это качество. Это было славное время для нашей работы.

Луис Майер был поразительным человеком. Не окончив никаких университетов, он обладал огромными познаниями. Отличался удивительной профессиональной интуицией. Был истинным антрепренером в старомодном смысле этого слова. Понимал, что в каждом актере сокрыта некая тайна. Чувствовал, что в Джуди Гарленд есть нечто такое, чего ему до конца не дано постичь. А теперь о том ужасном, что случилось с Джуди Гарленд.

Когда с Джуди стало твориться неладное, Майер пришел ко мне.

— Ты знаешь Джуди Гарленд?

— Немножко. А точнее, совсем не знаю.

— Сейчас она в жутком состоянии. Прежде она гарантировала нам миллионные прибыли. Мы обязаны поддержать ее. Ты не согласилась бы помочь? Скажем, пойти и поговорить с ней?

Кажется, он считал, что я смогу это сделать. Его выбор пал на меня еще и потому, что он чувствовал, как он мне нравится.

Начало моих взаимоотношений с Майером пришлось на то время, когда моя карьера, как я уже говорила, явно шла к своему концу и мне объявили о девяностопроцентном сокращении жалованья. Я прочла сценарий «Парамаунт» и сказала: «Большое вам спасибо, но, если честно, сценарий мне не нравится. Тем не

менее я благодарна за приглашение, потому что вообще-то больше никто ничего не предлагает».

Я возвратилась на Восток. Фил Барри написал «Филадельфийскую историю». Хьюз купил для меня права на экранизацию. Никому не было об этом известно в течение девяти месяцев. Все женщины — ясно кто — хотели купить их. Я попросила Гарольда Фридмана никому не рассказывать, что права принадлежат мне. Он был одним из тех редких людей, кто умел держать язык за зубами. Он был литературным агентом.

Наконец многие начали понимать, что я каким-то образом определяю судьбу сценария. Как-то вечером я встретилась с Майером. С ним была Норма Ширер.

— Я хотел бы поговорить с тобой.

— Отлично.

— Позволишь навестить тебя?

— Нет, мистер Майер. Я приду сама.

И явилась к нему в офис. Он сказал, что хотел бы выкупить у меня права на экранизацию.

— Тебя бы это устроило?

— Да, устроило.

— В общем, нам бы хотелось договориться.

Беседу со мной он вел официально и по-деловому. С каждым человеком Майер разговаривал по-особому. Как бы там ни было, со мной он беседовал тактично и почтительно. И говорил вещи, которые, в сущности, мне было приятно слушать.

Наконец я сказала:

— Знаете, мистер Майер, вы меня обольщаете. Я понимаю, что вы делаете это обдуманно, и тем не менее поддаюсь на ваши чары, потому что мне импонирует ваша артистичность.

Тогда он спросил, сколько бы я хотела получить за сценарий, и я назвала ему цифру. Сказала ему, что именно во столько обошлась первоначальная покупка.

— В сущности, меня интересует лишь то, с кем я буду играть. Ведь ходят разговоры, что я «кассовая отрава». Я бы сама хотела распределить роли.

— Кто вам нужен?

— Мне нужны Трейси и Гейбл.

— Не думаю, что они согласятся.

— Предвижу, что они могут не согласиться, но надеюсь, что вы все-таки попросите их.

— Хорошо, я попрошу.

Майер попросил, и они отказались. Тогда он сказал:

— Я могу предложить вам Джимми Стюарта, потому что у нас есть возможность воздействовать на него. — И прибавил: — Я дам

сто пятьдесят тысяч долларов, чтобы вы пригласили тех, кто вам нужен или кого вам удастся уговорить. Эту проблему вы решите. Вы вправе также назвать и имя режиссера.

— Я бы хотела, чтобы режиссером был Джордж Кьюкор.

— Отлично.

И мы пригласили Кэри Гранта за 150 000 долларов на трехнедельные съемки. Он сказал, что готов сниматься, но только в том случае, если его имя в титрах будет идти перед моим. «Ладно, — согласилась я, — это легко сделать». Он передал свой гонорар в Красный Крест. Грант находился в нашем распоряжении три или четыре недели. Ему была предоставлена возможность выбрать одну из главных ролей, вторая досталась Джимми Стюарту. Между прочим, Джимми получил за нее «Оскара».

Луис Майер обладал проницательностью и необыкновенно тонким пониманием актерской души. Он был неглуп, негруб. Очень чувствительный и необычайно порядочный. Что касается моих деловых отношений с Майером, могу сказать, что он был самым честным изо всех, с кем мне приходилось иметь дело в моей жизни.

И впоследствии мы делали нашу историю сообща. Потом настала очередь «Женщины года». Я послала сценарий Джо Манкевичу, который был продюсером «Филадельфийской истории». И сказала: «Прочти это в двадцать четыре часа, и, если материал тебя заинтересует, я немедленно вылечу». Сама идея «Женщины года» принадлежала Гарсону Кэнину. На стадии ее разработки к нему присоединились его брат Майк Кэнин и Ринг Ларднер-младший. Когда я отсылала сценарий Джо Манкевичу, Гарсон служил в армии.

В сценарии было семьдесят восемь страниц, отдельные сцены были расписаны детально, однако он был все-таки не совсем цельным. В нем не значились фамилии авторов. Я сказала: «Мне нужен Спенсер Трейси, в противном случае я продам сценарий студии».

Манкевич позвонил и сказал, что сценарий просто великолепный. И роль прямо-таки создана для Спенсера, как оно на самом деле и было. Я тогда не была знакома со Спенсером.

Я вылетела самолетом и пришла к Майеру. Он сказал:

— Сколько ты хочешь за него?

Я назвала цифру.

— Кто автор?

— Мистер Майер, этого я не могу сказать вам. — И прибавила, что хочу столько-то для автора и столько-то для себя. — Абсолютно поровну. Каждому — по сто двадцать пять

тысяч долларов.

Он сказал:

— Мы готовы дать вам и больше, но мне надо знать имена авторов.

— Мистер Майер, я не вправе сообщать вам имена авторов. Возможности узнать, кто они, у вас, уверяю, нет. Никакой.

Он:

— Я не привык заключать соглашения на таких основаниях.

Почувствовав, что он собирается давить, я сказала:

— Кроме того, сценарий не продается. Просто я хотела узнать, насколько вы в нем заинтересованы. Роль как нельзя лучше подходит Спенсеру. Если вы захотите прочесть сценарий, когда он будет окончательно готов, что ж — чудесно. Тогда можно будет поговорить и о продаже.

Я дала задний ход, поскольку знала, что случается, когда большой человек говорит «нет». Нельзя запрашивать слишком много, равно как слишком мало. Необходимо просчитать, сколько, на ваш взгляд, он готов заплатить, запросить эту сумму и получить ее.

Я не знала тогда, какие сложности они испытывают с «Саженцем». Они снимали этот фильм во Флориде с участием Спенсера. У них возникли большие проблемы сугубо технического характера. Дефекты на объективах. Они были вынуждены приостановить съемки, и Спенсер, который был одной из самых крупных их звезд, находился в тот момент в простое. Знай я об этом, то запросила бы втрое больше. Но тогда я казалась себе страшно умной. Вероятно, и вела бы себя более толково, если бы чуть больше разбиралась в кинобизнесе. Как бы там ни было, мы закончили сценарий, и я отослала его на студию. Спенсер прочел его и дал ему исключительно высокую оценку. Я уже упоминала, что режиссером этой картины должен был стать Джордж Стивенс. С Майером в связи с этой картиной я больше не встречалась. Он послал меня к одному из своих опытных коллег по студии, и я поняла, что они готовы сказать «да». С той минуты я уже не суетилась.

Сама обговорила с ним условия контракта, а Майер одобрил его. Со своей стороны, я выразила ему свое удовлетворение. Потом сказала:

— Будучи уверенной, что вы меня не обманете, я бы просила вас дать разрешение на то, чтобы мой договор был просмотрен вашим адвокатом.

С тех пор их юрист всегда проверял мои договоры. Так я совершила сделку с «Метро». И они не надули меня.

Мы подписали соглашение, согласно которому они получали

право первыми знакомиться с литературным материалом. Кажется, сроком на три года или около того. Это произошло после завершения «Женщины года». Потом я принесла им «Без любви». Я показывала им много материала. Но договоры всегда заключала с Майером. К счастью, Гарсон Кэнин был хорошим другом, у которого было полно идей для Спенсера Трейси и меня.

Теперь, когда я выступила с речью о цензорстве, можно было, пожалуй, представлять Генри Уоллеса, который боролся за пост президента с Гарри Трумэном. Но я действительно произнесла речь против цензорства. Времена были очень тревожные. Шел 1947 год, вовсю действовал Комитет по борьбе с антиамериканской деятельностью. Люди теряли свои рабочие места. Предполагалось, что речь произнесет Эдвард Робинсон, я же считала, что это следует сделать мне. Он еврей, к тому же левый центрист, поэтому наверняка попадет в поле зрения Комитета. Мои предки были среди пассажиров «Мейфлауэр». Мне ничего нельзя было вменить в вину. За всю жизнь я никогда не была членом какой бы то ни было организации. Заголовки статей, направленных против меня, и их содержание были злобными, донельзя злобными. Ни на одну из них я не ответила, и студия попросила меня написать заявление с изложением моих политических воззрений. Я понаписала им такого, за что любого могли бы отлучить от студии. Правда… мы так много лет пользовались правом свободы на выражение своих мыслей… Тогда, теперь и всегда. Она принадлежит нам. Больше к этому вопросу на студии никогда не возвращались.

Майер вызвал меня и сказал:

— Кэтрин, зачем вы выступили с этой речью?

— Мистер Майер, я считала, что кто-то обязан выступить с такой речью и что этим кем-то должна быть я. Я считаю, что положение идиотское и его надо исправлять. Мучают тех, кто не может защититься, а я могу.

Я только что закончила сниматься в картине студии «Метро», где играла главную роль. Картина называлась «Песня любви», и они собирались предлагать ее для проката.

На меня обрушились Американский легион и прочие.

Я сказала:

— Мистер Майер, я не виню вас в том, что вы так огорчились. Ведь вам нужно продать картину с моим участием, и вас ожидают в этой связи трудности. Я согласна, что, выступив с этой речью, я поставила вас в чрезвычайно неловкое положение, поскольку связана с вами договором. Попроси я у вас согласия на выступление, вы бы мне отказали.

А теперь давайте посмотрим правде в глаза. Я бы выполнила свое намерение даже в случае отказа, но тогда я бы поставила в неловкое положение саму себя. Как бы там ни было, я сделала, что задумала. С другой стороны, с сегодняшнего дня вы вправе не платить мне понедельное жалованье, поскольку не совсем ясно, как вы можете теперь задействовать меня в чем бы то ни было.

Майер ответил:

— Мы обсуждаем не этот вопрос.

— Мистер Майер, возможно, нам следует обсудить его, поскольку я поступила так, как работник солидного учреждения не должен поступать. Раз уж вы позволяете себе получать у кого-то еженедельное жалованье, то, видимо, вам запрещено появляться открыто на публике в голом виде.

Он наставительным тоном повторил:

— Мы обсуждаем не этот вопрос.

Наконец я покинула его кабинет. Он довел меня до определенного градуса, но никаких санкций принимать не стал. Разумеется, его все это огорчило. Стиль руководства подобными организациями был, конечно, отнюдь не либеральным. Они полностью отвечали за лояльность сотрудников студии. Я всегда говорила, что мне нравится работать для «Метро», потому что там знают, как провезти вас через Чикаго. Такова правда. Они мастерски делали свое дело. Платили меньше, зато не заставляли делать ничего такого, что вам было бы не по душе. С этой стороны не было никаких претензий. Никогда никто не прибегал к давлению, никогда не говорил: «Мы лишим вас зарплаты». Они никогда не давили на своих людей. Это была патерналистская организация как в лучшем, так и в худшем смысле этого слова. Я обязана сказать, что Майер никогда не принуждал меня делать что-либо, чего мне не хотелось.

Помню, был предварительный закрытый просмотр «Женщины года». Они приняли в качестве финала последнюю, восьмую часть, предложенную — увы! — мною. На следующий день я встретила на киностудии Майера.

Он сказал:

— Просмотр прошел блестяще. Мы в полном восторге. Я горжусь вами.

— Конец никуда не годен.

— Что вы имеете в виду?

— Я обязана сказать это, мистер Майер, потому что именно я предложила идею для финала. И он откровенно слабый. Картина просто разваливается.

— Сколько, на ваш взгляд, потребуется, чтобы сделать достойный финал?

— Тысяч сто пятьдесят, пожалуй.

— Ну что ж, творите, — сказал он.

— Мистер Майер, вы говорите — творите. Надо ли понимать это так, что вы согласны дать дополнительные средства, чтобы доснять картину, и благословляете нас на эту работу?

— Да.

Коротко и ясно. Уверена — те, у кого с ним были плохие взаимоотношения, поведают историю прямо противоположного содержания. Я рассказываю лишь о своих собственных впечатлениях. Некоторые из наших совместных проектов стоили ему немалых денег. Мы не водили с ним светской дружбы. Я всегда называла его «мистер Майер». Я была подругой Ирэн, но наша дружба началась уже после моего приезда в «Метро». На наши отношения с ним никак не влияло то, что я была подругой его дочери. Он уважительно относился ко мне, я в высшей степени уважала его.

Конечно, случались и неприятности. Например, инцидент с Джуди Гарленд. В какой мере здесь был виноват он? В какой мере на все это повлияла сама атмосфера кинобизнеса? Джуди была не единственным человеком, который сломался в этой творческой среде. С наступлением новой эры свободы тех, кто ломался, стало даже больше. Такова специфика этого бизнеса — в нем полным-полно людей, которые сошли с рельсов.

Мне кажется, Майер понимал терзания Джуди Гарленд. И Роберта Уокера, мужа Дженнифер Джоунс. Майер понимал его. У Роберта были проблемы из-за пристрастия к алкоголю. Это всегда связано с человеческой волей: не всякий, согласитесь, способен бросить пить лишь усилием воли. Вы, может быть, способны на такое. Я, наверное, тоже способна, но другие, вероятно, не могут. Это совсем не так просто. Мне кажется, Майер старался всегда разобраться в ситуации. Пытался по возможности всячески поддержать человека.

Я пошла и побеседовала с Джуди. Конечно, это ничего не дало. Если хотите помочь тому, кто попал в беду, вы ничего не достигнете, потратив на это два часа. Необходимы все двадцать четыре часа в сутки. Если вы намерены поставить на ноги, вернуть к нормальной жизни человека, про все прочее нужно просто забыть.

Мне кажется, что Джуди внутренне была человеком необыкновенно сложным. Когда с нею приключилась эта беда, ей было под тридцать. За плечами уже был горький жизненный опыт. За свои двадцать с лишком она прожила целую жизнь. И сгорела. Мятежным, ищущим натурам в известном смысле легче всего дается их работа. И тяжелее дается собственно жизнь. Думаю,

Майер понимал это. Можно, конечно, возразить: «Почему же он не предпринял каких-то шагов раньше?» Разве такое можно предотвратить? Не знаю. Да, да — не знаю. Не думаю, чтобы работа кого-либо действительно губила. Мне кажется, людей в куда большей степени убивает именно отсутствие работы. Уродуют же человека дурные привычки.

Майер был романтиком. Он страстно интересовался людьми творческими. Кроме того, он обладал мужеством идти на риск — брать таких людей на работу. У него было свое мнение. Он никогда не докучал вам вопросами типа «А вы как считаете?». Просто нырял головой вниз. И был блестящим бизнесменом. По своей натуре он был игроком и любил дело, которым занимался. Да, просто любил свое дело. Над ним посмеивались, сочиняли про него смешные байки, но он любил кинобизнес.

Я считаю, что Майер, Голдвин и Сол Юрок были романтиками. И Хол Уоллис, и другие первопроходцы. Они блестяще умели вести дела. Вместе с тем они гнались за мечтой. Умели чувствовать ее. Умели поймать ее за хвост. Умели видеть красоту и прельщались ею. Рождественская сказка, да? Эти продюсеры эпохи раннего кино были романтиками.

Мы так давно читаем рождественские сказки, верно? Надо ли от них отказываться? Если вы не можете в своем воображении представить себе братьев и сестер, ваших друзей и тех, кого любите, если вы просто не видите их в четырехмерной реальности, то пусть поможет вам Господь. Надо мысленно воображать себе все. Я верю в чудеса. Я считаю, что, находясь в этом мире, мы можем страдать физически, но, если душа наша пребывает в добром здравии, мы справимся и с физическими страданиями.

Именно это и отличает нас от животных, которые лишены воображения.

Мне кажется, Майер обладал этой способностью. Конечно, можно сказать, что это глупость. Литература определенного периода, конечно же, является неотъемлемой частью этого периода. То был закат замечательной эры. Стало ли теперь лучше? Кто знает?

Разумеется, и у Майера были свои недостатки. Он был жестоким с теми, кто ему не нравился. Я ему, слава Богу, нравилась, он мне — тоже. Он знал, как я отношусь к нему, я знала, как он относится ко мне. Было немало вопросов, по которым наши взгляды не совпадали. Ну и что? Я горела желанием снять «Мурнинг становится Электрой» с участием Гарбо и Джорджа Кьюкора в качестве режиссера. Мы с Майером ни о чем не договорились. Он слушал, как миссис Франк — его

литературный редактор — вкратце рассказывала ему сюжет. Почти во всех кинокомпаниях тогда работали редакторы, в обязанность которых входило рассказывать о сценариях, присланных на студию. До тех пор, пока я сама не услышала, как это делает миссис Франк, я считала, что это чистейшей воды глупость. Мне было смешно представить, что она будет пересказывать сценарий. Но я ошиблась. Миссис Франк блестяще сделала это. Меня просто очаровал ее пересказ «Мурнинг становится Электрой».

Майер поступал как считал нужным. Мне это импонировало. Он стоял на своем независимо от вашего согласия или несогласия. Есть много людей, которые могут вас либо принять, либо отфутболить, но вы не будете знать, почему они поступают так или иначе. Понятно, что я имею в виду? Когда вы приходили к Майеру, то получали от него ответ или деньги, получали то, за чем пришли, или не получали. Не нужно было обивать множество порогов, чтобы в конечном счете прийти к тому же результату. Он не боялся изменить ранее принятое им решение. Если вы считали, что для осуществления какого-то проекта необходимы еще два миллиона долларов, он давал вам эти деньги. Он был настоящий игрок.

Я не так уж хорошо знала его лично. Но вся его жизнь заключалась в работе. Это было очевидно. Когда ее не было, он как бы впадал в летаргическое состояние. Он трудился всю свою жизнь. Делу он посвящал всего себя без остатка. Кем был мистер Майер? Я тоже не знаю, что значит «работать с девяти до пяти». Это всегда ставит меня в тупик. Моя Мама часто говорила мне: «Не гнушайся работать столько, сколько надо, чтобы не знать, что такое сумасшедший дом!» Как она была права!

Мне кажется, студия «Метро» была похожа на сказочную школу, в которой нет выпускного класса. Это-то, вероятно, и нравилось мне. Да, это была сказочная школа. У меня вовсе не было ощущения, что это тюрьма. Было такое чувство, будто ты играешь в какой-то чеховской пьесе. Такой комфорт. Платили нам маловато, зато мы были защищены. Если возникали какие-то серьезные неприятности, мы звонили главе рекламного отдела Говарду Стриклингу, и его сотрудники брались за разрешение ваших проблем. Потрясающе!

Я любила Майера. Майер был мне очень симпатичен. Я должна сказать об этом. Черчилль обладал личным обаянием. Рузвельт — тоже. Миссис Рузвельт была обаятельна. Есть люди, которые занимают важные посты, но не обладают этим качеством в различных его проявлениях. Личное обаяние — это замечательно полезная вещь. Можно быть полным ослом на

ответственном посту, но, если у вас есть личное обаяние, вы можете воздействовать им на широкую публику. В Майере этого не было. Мне кажется, Никсону очень вредило отсутствие обаяния. Рональду Рейгану, напротив, оно было присуще. Его широко поставленные глаза, его улыбка, его лицо были хорошо известны американской публике. Лицо Спенсера было знакомо публике — лицо ирландца, солидное и мужественное, лицо мужчины, американского мужчины с ирландскими корнями. Оно было олицетворением мужчины. Очень интересное явление. Он был для всех их знакомым.

Вот я, например. Меня «знают». Теперь знают. Сейчас я вполне уверена в этом. Для множества людей я привычна вроде — статуи Свободы. Когда вы так долго находитесь на виду, люди связывают с вашей личностью свои собственные жизни, особенно в моменты, когда необходимы надежда и вера. Ныне очень модно идеализировать кое-кого из актеров старшего поколения. И в основе этого — личное обаяние, не так ли? Это занятная вещь. С моей точки зрения, Черчилль им обладал, равно как оно присуще другим конкретным людям и даже местам. Не суть важно, что, собственно, вы говорите, просто вы обладаете тем обликом, которым вас наградили родители. Вы можете пренебречь всем тем, что вам нравится, но время от времени оно к вам обязательно возвращается. Это очень мощное чувство, поскольку оно сопровождало нас с самых ранних лет. Это нечто такое, за что вы держитесь.

Не думаю, что студия когда-либо определяла тот или иной имидж. Мне кажется, что актеры всегда создавали его себе сами.

Было бы неверно утверждать, что ты способен сыграть все. Сыграть-то любую роль можно, но сыграть любую роль блестяще — невозможно. В любом случае есть вещи, которые удаются вам лучше, чем другие. Так что не думаю, что студии создавали имидж. Мне кажется, они смотрели, в чем проявляется индивидуальность актера, но не лепили его образ. Например, они не «лепили» Джуди. Просто давали ей возможность проявить себя в ролях, которые в наибольшей степени соответствовали ее натуре.

Когда Майеру показывали кого-нибудь, он мог сказать: «О Боже, конечно, да!» Иногда Майер ошибался, но очень часто угадывал. Майер не стеснялся сказать: «Мне это нравится». Он не боялся ошибиться. И принимал решение самостоятельно.

Мне кажется, ему нравилось быть необыкновенно остроумным, очаровательным, пленительным. Но не считаю, что он был таковым по большому счету. В сущности, Майер был весьма скромным человеком, хотя старался всегда предстать в

лучшем виде. У него был великолепный офис. Не думаю, что он мнил себя важной шишкой. Нет, особым остроумием он не отличался, был просто веселым человеком и замечательным рассказчиком. Я восхищалась им. И ему не нужно было меня специально очаровывать. Романтически представляя себе образ других людей, он, полагаю, был не меньшим романтиком, создавая свой собственный имидж. Я не знала его в достаточной степени хорошо, чтобы говорить об этом наверняка, но мне кажется, что это так. Мне доставляло удовольствие общаться с ним.

Майер был очень добр ко мне. Он давал мне возможность проявить себя в кино в любой ипостаси — режиссера, продюсера, актера. Выбор зависел только от меня.

Что до меня, то я умею делать что-то одно, а не одновременно. В ту пору я была актрисой. Будучи очень консервативным в своих политических пристрастиях, Майер был совсем иным в том деле, которому посвятил свою жизнь.

Он был неистовым. Он был романтиком. Он верил.

Кинофильмы

Когда я делала пробы для кино, я чувствовала непосредственный контакт — было безумно интересно и не страшно. Почему — не знаю. Просто я считала эту среду своей, дружелюбной. Должно быть, из-за отсутствия публики — и критики — в ситуации непосредственного контакта. И камера бесстрастна по отношению к вашим действиям. Это здорово.

Я снялась в сорока трех картинах. Разумеется, я восхитительна во всех них. Я вовсе не хочу никого поразить, ведь некоторые из них просто-напросто скучны. Покидая Голливуд, я думала, что всегда буду помнить большинство картин и тех, кто в них снимался. Но оказалось, это вовсе не так — пытаюсь вспомнить и не могу. Удивительны причины, в силу которых мы что-то запоминаем, — обычно это какая-нибудь история или что-нибудь особенное, что сохраняется в памяти.

«Элис Адамс»

Джордж Стивенс снял много замечательных картин, в том числе «Место под солнцем» и «Гигант».

Мы впервые встретились с ним, когда помощник режиссера Эдди Килли, работавший со мной на многих картинах, предложил его кандидатуру в постановщики «Элис Адамс». Джордж тогда снимал — не могу припомнить какую именно —

малозатратную картину. Эдди Килли помогал ему и пришел к выводу, что он очень талантлив. Стивенс снял несколько комедий по сценариям Уилера и Вулси, и мне казалось, что «Элис Адамс» может получиться, если ее поставит режиссер, обладающий хорошим чувством юмора. В противном случае может выйти что-нибудь тяжеловесное.

Вместе с Чарльзом Бойером я снималась тогда в «Разбитых сердцах». И попросила Эдди познакомить меня со Стивенсом. Однажды вечером, после съемок, сидя на переднем сиденье своей машины и безуспешно кокетничая с Чарльзом Бойером, я подняла глаза и вдруг увидела сквозь ветровое стекло глядящее на меня лицо.

— Да?

— Меня зовут Джордж Стивенс.

— Да… Хорошо… Идите в офис Пандро Бермана, я подойду туда через десять минут.

Каково?

И вот, слегка растерянная, повернувшись в Бойеру, я извинилась и распрощалась с ним.

Поднялась в офис Бермана. Джордж был уже там.

Начали разговаривать. Мне показалось, что его привлекла «книга». Я уже поняла для себя, что известные режиссеры, проявляющие интерес к тому или иному проекту, в большинстве своем прельщаются скорей возможностью работать со мной, чем конкретным сценарием.

Как бы там ни было, Джордж Стивенс дал согласие снимать картину.

«Элис Адамс» — это история о стремительном социальном взлете девушки, которая ни по своему происхождению, ни по своему финансовому положению не могла и пробиться наверх. И она начала гонку, которую не могла выиграть.

Потом как-то в воскресенье Стивенс пришел ко мне вместе с Берманом, чтобы обсудить сценарий, но не сказал при этом ни слова.

— Ну что, Пандро, — сказала я после того, как он ушел, — кажется, мы совершили большую ошибку. Похоже, ему было непонятно, о чем мы с тобой говорили.

Позже Джордж рассказал мне, что к тому времени он еще не прочел книги и что всегда мечтал поработать со мной. Тогда он был так занят работой по завершению картины, которую снимал, что к моменту нашей первой встречи не имел возможности прочесть сценарий. Неудивительно, что он показался мне чуточку отстраненным.

Интересный был человек Стивенс — действительно

блестящий режиссер. Особенно комедийный. Работая с комиками и наблюдая за ними, он овладел всей гаммой замечательных приемов. Заставить людей смеяться — как же это здорово!

Мы несколько раз встречались, чтобы подработать сценарий. Стивенс вел себя странно: мало говорил, отвечал односложно. Обсуждение вели в основном Пандро и я. Признаюсь, у меня было такое ощущение, что мы пригласили весьма своеобразного режиссера.

Наконец он начал распределять роли. Фрэнки Альбертсон получил роль брата. (Я считала тогда, что в сравнении со мной он несколько ординарен. Объявить это во всеуслышание я, к счастью, не осмелилась, ведь сыграл он просто замечательно.) Фред Стоун получил роль отца. Энн Шумейкер — матери. Хэтти Макдэниэл — служанки.

Мы приступили к съемкам. Я успела к тому времени приобрести необходимые мне костюмы, истратив на них совсем немного денег. Единственная вещь, которая обошлась достаточно дорого, — это вечернее платье от Хэтти Карнеги. Я добавила ему еще больший шик, нашив на него красивые черные бантики; вплела я их и в волосы.

Работа началась. Все шло вполне сносно до сцены в моей спальне после танцевального бала, на котором я чувствовала себя униженной, поскольку меня никто не приглашал. В соответствии с романом (который был как бы моей Библией) я возвратилась домой, поднялась наверх, подошла к родительской спальне и сказала: «Я вернулась». Потом направилась в свою спальню, закрыла за собой дверь, бросилась на постель и разразилась плачем.

Стивенс подошел ко мне и сказал:

— Мне кажется, было бы куда интересней, если бы ты прошла к окну и, сильно подавшись вперед, выглянула бы наружу. Идет дождь, ты глядишь на него, твои глаза начинают медленно наливаться слезами, они катятся по щекам, катятся все сильней, ну и так далее.

Эта мысль показалась мне великолепной. Но холодная дождевая вода, попадавшая внутрь через открытое окно, заливала мне руки, холод сковывал мои пальцы и осушал слезы.

Что делать?

Мне никак не удавалось сыграть сцену. Сказать же Джорджу о том, что мешало, я не решалась, потому что прекрасно понимала, что сделать так, чтобы вода не попадала внутрь, практически невозможно.

Наконец после четырех или пяти попыток я поднялась к Джорджу и довольно резко сказала:

— Понимаешь, я настроилась делать эту сцену, как это было запланировано в…

Джордж, вдруг разозлившись, воскликнул:

— Так ты будешь!..

Его внезапная ярость раскрепостила меня, и я решительно сказала:

— Снимайте.

И великолепно справилась со сценой — с окоченевшими пальцами и так далее. Сама удивилась.

— Нормально, правда?

Джордж сказал:

— Да… отлично. — Но все еще был зол. Я объяснила ему свою трудность спустя несколько недель. Он сказал мне, что был очень близок к тому, чтобы уйти с картины.

Мы с Джорджем остались хорошими друзьями. Впоследствии я снималась еще только в двух картинах Стивенса: в «Дорогой улице» — так себе, и в «Женщине года» — первой своей картине, где я играла вместе со Спенсером Трейси, — очень удачной.

Я многому научилась у Стивенса. Нередко мы вместе отрабатывали определенные «штампы».

Однажды на картине «Отсутствие любви» в интимной сцене Спенсеру надо было лечь ко мне в постель.

— Ну нет! — воскликнул Джордж. — Если мужчина ложится в постель, а в ней женщина — это серьезно, опасно. Вам надо встать с постели, ну, скажем, чтобы набрать в бутылку горячей воды. Вы идете в ванную комнату, а Спенс тем временем раздевается и ложится в пустую постель. Публика смеется. Кэтрин возвращается и ложится…

— Вот так вот.

Стивенс был специалистом в такого рода вещах. Несмотря на то, что снятые Стивенсом «Гигант» и «Место под солнцем» имели большой успех, мне всегда было жаль, что он тратил свой талант на них. Но заставить людей смеяться…

Приезжая в Нью-Йорк, он часто приходил ко мне в гости. Хорошо помню один такой вечер. Мы сидели перед камином, Джордж не в меру много пил. Время от времени я подбрасывала дрова в огонь. Вдруг услышала треск в дымоходе.

Я вскочила и очень деловито воскликнула:

— Джордж, дымоход горит! Я позвоню в пожарную часть. Спустись в кухню, наполни водой кастрюлю, вернись и, если из дымохода прорвется огонь, — заливай! А я побегу на крышу посмотреть, чтобы она не загорелась от искр из трубы.

Я помчалась вверх по лестнице. После того, как все страсти-мордасти улеглись, Джордж рассказал мне следующее.

Он спустился в кухню, нашел кастрюлю, налил воды и тут услышал, что стучат в парадную дверь. Он открыл ее, все еще держа в руках кастрюлю. В прихожую вбежали шесть громадного роста — все выше 180 сантиметров — мужчин (в Джордже было примерно 166 сантиметров).

— Где горит? — спросили они.

— В камине, — ответил Джордж.

Так оно и было в действительности, но ответ его звучал несколько глуповато. Они оттеснили Джорджа в сторону и помчались дальше. Джордж последовал за ними с кастрюлей в руках.

— Где Кэтрин? — спросили пожарники.

— На крыше.

Все понеслись наверх. Надо сказать, что когда они вылезли на крышу, то показались мне невероятно большими.

Я предупредила:

— Осторожней, можно провалиться.

В ответ на мое предупреждение один из них подпрыгнул несколько раз на кровле.

— Вот видите, ничего страшного!

Когда они ушли (огонь, конечно, загасили) и я вернулась в гостиную, Джордж все еще держал в руках кастрюлю. Я рассказала ему о пожарнике, проверявшем прочность крыши.

Он улыбнулся:

— Если бы он провалился, то приземлился бы прямо в кастрюлю.

Он был шутник, Джордж.

«Сильвия Скарлетт»

«Сильвия Скарлетт» (с участием Кэри Гранта) — несомненный провал. Наша первая совместная картина. Это был странный проект. Комптон Маккензи написал сценарий. По ходу съемок я стала задаваться вопросом, что думает Кьюкор. Работа почему-то меня тяготила — было скучно.

Перед съемками я остриглась наголо, и на протяжении трех четвертей картины играла мальчика. В картине снимался также Брайан Ахерн, а Тедди Гвенн играл моего отца. Игра Кэри Гранта в этой картине была поистине волшебной. Он был самим собой — истинный кокни[3], — слегка неуклюжий и необыкновенно башковитый. Он заражал своей энергией, своим смехом, сочным и неудержимым. Мы с Тедди Гвенном подыгрывали ему. Это была замечательная постановка, не имевшая коммерческого успеха. И отношения с Брайаном Ахерном были не самыми радужными. Не

по вине Брайана.

Картину снимал Джордж Кьюкор. Мы представили ее на просмотр. После закрытого просмотра продюсер Пандро Берман приехал домой к Кьюкору и сказал, что фильм подвергли жесточайшей критике.

— Не переживай, Пандро, — сказали мы с Кьюкором, — мы бесплатно снимем другую.

Пандро, глядя исподлобья, подавленно буркнул:

— Не стоит беспокоиться!

«Мария Шотландская»

После «Разбитых сердец» была «Мария Шотландская». Эту картину снимал Джон Форд. Продюсером, кажется, был опять Пандро Берман, хотя, возможно, что и Клиф Рид, который обычно делал фордовские картины, потому что Форд любил тех, кто ему не возражал. Нет, все-таки в этом случае был Берман.

Меня никогда не интересовала Мария. Мне казалось, что она немножко чокнутая. Я бы предпочла сделать сценарий об Елизавете. Фредрик Марч играл Джеймса Хепберна (графа Ботуэллского). Его жена, Флоренс Элдридж, играла Елизавету. Сценарий был не очень интересный. Я так и не поняла, почему Джек Форд решил реализовать его. Джек, безусловно, был исключительно интересным человеком. Мы подружились с ним и время от времени, пока он был жив, встречались. Я ходила в море на его яхте «Аранер».

Джек Форд, конечно, был одним из самых выдающихся режиссеров.

Когда я в 1932 году приехала в Калифорнию на съемки «Билля о разводе», он работал на РКО. В студии, совсем маленькой, поневоле приходилось здороваться едва ли не с каждым. И все смотрели на Форда как на бога. Он обладал потрясающей памятью. У него была «обойма» актеров, снимавшихся в его картинах, если для них имелась подходящая роль. Одним из его любимцев был Джон Уэйн. Джек его открыл.

Это была группа из шести-семи человек (в том числе Уорд Бонд), каждый выше метра восьмидесяти. Собираясь вместе, они выходили в море на яхте Джека «Аранер» (парусник длиной в 40 м, насколько я помню), плавали вдоль побережья Калифорнии и Мексики и допьяна напивались. Потом возвращались, трезвели, и он делал новую картину, используя каждого из них, насколько это позволял сценарий. Он снял «Гроздья гнева» с Хэнком Фонда. Потом снимал Джона Уэйна в «Администраторе». В «Информаторе» снялся Маклэглен. Мы с Фордом довольно быстро

подружились. Он был очаровательный человек, но общаться с ним было очень трудно. Он строил свою жизнь, исходя из собственного «я», и потому лучше было ему не прекословить. Вся его «команда» состояла исключительно из мужчин, но какое-то время он терпел меня. Клер Тревор и Морин О'Хара были его любимыми актрисами, он назначал их на главные роли. Уверена, что они никогда не прекословили ему. Морин была очень красивой женщиной. Джек делал картины в расчете на мужчин, а женщин в лучшем случае использовал как декорацию.

Однажды ко мне пришел Клиф Рид и сказал, что им срочно нужен Форд — надо было что-то подправить в одной из его лент, — но он пьянствует у себя дома на Голливуд-Хиллз и наотрез отказывается помочь. Не могу ли я что-нибудь предпринять?

— Ну что же, дорогой Клиф, я могу предпринять?

— Ну, сделай так, чтобы он протрезвел!

— Но почему именно я?

Клиф сказал, что он уже пытался сделать это сам, но у него ничего не вышло.

Я отправилась в дом к Форду и, не помню как погрузив его в свою машину, привезла на студию РКО, где у меня была своя просторная костюмерная. Затащила его кое-как в комнату. И уж не знаю как, уговорила выпить коктейль, составленный из убийственной дозы виски и касторового масла.

Мне никогда не доводилось видеть человека в столь плачевном состоянии — его так рвало, что на него было страшно смотреть. Я думала, что он отдаст Богу душу. И он думал, что он умрет. Потом он заснул, и я решила, что все — конец.

Наконец, спустя часа два, он проснулся. Я отвела его в Голливудский спортивный клуб, и они привели его в порядок. Он исправил в картине то, что нужно было исправить. Господи! Никогда не забуду. В сущности, я чуть не погубила его.

Помню, как однажды Форд сошел со съемочной площадки и сказал мне:

— Эту сцену ты снимаешь.

Я сказала: «Ладно», но усомнилась в том, станет ли работать со мной Фредди. Фредди Марч сказал, что станет, и я снимала сцену в башне.

Просто Форд потерял интерес к фильму. Это был провал.

Благодаря ему я не сломала себе шею.

Я ездила верхом, сидела на седле боком — изображая королеву Марию, разумеется.

Снимался эпизод, в котором я скакала во весь опор. Джек своевременно крикнул: «Кейт, пригнись!» Я пригнулась и

избежала удара о сук, который наверняка снес бы мне голову.

Мы остались друзьями. Он был замечательный парень. Ирландцы жесткие ребята. Память у него удивительная.

Последний раз я видела его, когда он болел и уже не вставал с постели — да, он умирал.

Жесткий, он любил своих друзей и ненавидел своих врагов, любил Ирландию, любил кино, любил свои хиты, обожал свои провалы.

Капризный, упрямый, непреклонный, высокомерный и большой друг.

И… ой какой опасный враг.

«Служебный вход»

Режиссер — Грегори Ла Кава. В ролях — Джинджер Роджерс и я. Были также приглашены все лучшие девушки РКО: Люсиль Болл, Гейл Патрик, Андреа Лидс, Ив Арден, Энн Миллер.

Моя карьера шла на спад, и когда мы начали снимать «Служебный вход», я сразу обратила внимание, что во всех снятых сценах я — не главное действующее лицо, а скорей статистка, которая все больше помалкивает да слушает, что говорят другие.

Недели через две после начала съемок я пошла к Пандро Берману и сказала:

— Пандро, не кажется ли тебе…

Он ответил:

— Послушай, Кейт, ты должна бы быть довольной, что у тебя шестая роль кряду в удачной картине.

Я решила пожаловаться Ла Каве:

— Эта моя героиня, Грегори, я не знаю, кто я. Кто я, Грегори?

— Ты ходячий вопросительный знак.

— Что ты имеешь в виду?

Он взглянул на меня серьезно:

— Черт, если б я знал, Кейт.

Выслушав его, я сказала: «Благодарю» — и отчалила. Сдалась. Заткнулась. Я понимала, что жаловаться больше некому. Поняла, что нет ничего более жалкого, чем актер на подхвате, жалеющий самого себя.

Решив молчать в тряпочку и не вешать носа, я поступила как никогда благоразумно. Ла Кава сжалился надо мной, игравшей богатую девушку, и изменил сценарий так, что я не сходила с экрана всю заключительную часть картины.

Лишь годы спустя я узнала, что при первом просмотре Джинджер Роджерс стояла впереди меня в титрах. Вряд ли знала об этом и сама Джинджер. После этого просмотра во многих

бюллетенях значилось: «Самая лучшая картина Кэтрин Хепберн изо всех ее фильмов, какие мы видели; она великолепна». Я говорю о бюллетенях, которые выдают зрителям перед началом сеанса, чтобы они высказали свое мнение. Они помогли мне вновь занять ведущее положение. Фортуна мне улыбнулась.

«Воспитывая Бэби»

Затем, в 1937 году, была картина «Воспитывая Бэби».

Режиссер — Говард Хоукс. Снимались: Кэри Грант, Чарли Рагглис, Мей Робсон и леопард.

На сей раз сценарий был добротным. Кэри Грант по-настоящему блистал. Я тоже очень хорошо сыграла. А леопард был просто великолепен.

Кэри наотрез отказывался работать с леопардом. Даже и не думал этого делать. Однажды, чтобы проучить его, мы выпустили голодного леопарда на крышу его костюмерной. Кэри выскочил оттуда молнией.

Грант был такой смешной на этой картине. Он потолстел, и в этом состоянии его кипучая энергия проявилась во всем блеске. Мы смеялись с утра до вечера. Хоукс тоже был забавный. Как правило, он опаздывал на работу. Кэри и я приходили всегда рано. Каждый в меру своего воображения внес свой вклад в тот сценарий.

Должна добавить, что у меня не хватало ума быть осторожной, поэтому во многих сценах я снималась с леопардом, который кружил возле меня. Ольга Челесте, укротительница, была вооружена большим хлыстом. Мы находились внутри клетки — Ольга, я и леопард, — больше никого. Клетка была устроена только для нас. Камеру и микрофон просовывали внутрь между прутьями клетки. Я была в ночнушке до пят и ходила кругом. И, как дурочка, разговаривала по телефону на длинном шнуре. Леопард тыкался мне мордой в бедро, опрысканное духами. Я шлепала его по загривку. Сцена удалась вполне сносно. Потом я переоделась в короткое — до колен — платье. Оборки по низу юбки прикрывали металлические пластины — это придавало моему наряду особый шик. Но — весьма весомое это «но» — один резкий поворот и… леопард стремительно прыгнул, нацеливаясь на мою спину, Ольга едва достала его хлыстом прямо по голове.

Наступил конец моей вольности в обращении с леопардом.

Мы жутко сорвали график. Это была моя последняя картина на РКО.

Как ни странно, эта картина не слишком удачно прошла в первом прокате. Теперь же считается большим хитом. Но мне думается, что причина была в моем участии — в той «отраве», какой я была для хозяев кинотеатров.

«Филадельфийская история» — пьеса

Кто бы поставил?!

Мне казалось, что лучше всех это может сделать театр «Гилд» — Лоуренс Лангнер, Терри Хелберн — и отдала им предпочтение.

Фил Барри не соглашался, ссылаясь на то, что они запороли его последний сценарий.

Я настаивала, и Фил наконец сдался — пусть будет «Гилд».

Я была не в курсе, что театр «Гилд» находится в плачевном состоянии. Как, впрочем, и Барри. И как я. У них было несколько серьезных неудач, и они переживали не самое лучшее время.

Как бы там ни было, нужно было действовать. В театре «Гилд» тоже не знали, как обстоят мои дела. Не знал этого и Барри. Я ровно столько же знала о театре «Гилд». Но все три стороны пребывали в весьма трудном положении.

Вот потому мы и начали действовать. Я хотела, чтобы пьесу ставил очень сильный режиссер, работающий в традиционной манере. Боб Синклер только что поставил «Женщин». Мне нужен был режиссер, который не считал бы меня чем-то вроде «второго пришествия». Такой, который не парил бы в облаках и позволил бы мне быть — ну, прихотливой, что ли.

Мы взяли Ван Хефлина на роль репортера, Ширли Бут — на роль жены репортера, кроме того, я уговорила Джо Коттена исполнить роль Декстера Хевена. Он был правой рукой Орсона Уэллеса, но, мне кажется, я убедила его в том, что ему пора было заявить о себе во весь голос. Энни Бакстер предстояло сыграть двенадцатилетнюю девочку. Ее потом заменили на Ленору Лонерган, которой было десять лет и которая больше подходила для этой роли.

Замечательная пьеса. Готовая к постановке.

Но где третий акт?

Звоню Филу. Ответили, что он во Флориде.

К счастью, Фил сам мне позвонил. Спросил, как идут дела.

К счастью (повторяю), я не сказала: «Где, черт возьми, третий акт?» А просто: «В общем-то ничего особенного тут не происходит. Знакомимся с актерами, режиссер у нас отличный, стараемся все сделать серьезно».

Поговорив еще немного, мы повесили трубки.

Спустя четыре дня третий акт был получен.

Можете себе представить? Позже Фил сказал мне, что ужасно переживал, что мы окажемся готовыми раньше, чем он успеет все как следует обдумать. После нашего разговора он решил отдохнуть и потом все доделал в одночасье. К счастью для меня: обычно я не очень-то миндальничаю.

Между прочим, «Филадельфийской истории» с самого начала сопутствовал успех. Мне хотелось обкатать ее сначала на

гастролях в течение года или около того. Но Барри и театр «Гилд» настаивали на том, чтобы премьера состоялась в Нью-Йорке.

В безуспешной попытке обмануть самое себя я заказала комнату в «Ривер-Клаб» на вечер накануне премьеры и сделала так, чтобы казалось, будто я нахожусь в Чикаго и ничего особенного не намечается. Итак, я была в Чикаго, и мы сыграли премьеру в Шуберт-театре…

Да, огромный успех.

Мне запомнился эпизод на этой премьере, когда Лоренс Лангнер вернулся вечером и сказал:

— Кейт, мне кажется, что девочка, Ленора Лонерган, — как бы это сказать, — она, кажется, копирует вас.

— Да ну что ты, Лоренс! Ты ошибаешься. Наоборот, это я копирую ее. Разве она не великолепна?!

«Филадельфийская история» — фильм

Киноверсия «Филадельфийской истории» была осуществлена в 1939–1940 году. А премьера пьесы прошла в 1938 году, и я уже описала, как она была продана Майеру.

Майер тогда сказал, что я могу пригласить Джимми Стюарта. Я пригласила Кэри Гранта. Он выбрал себе роль

Декстера Хевена, Джимми Стюарту досталась роль репортера. Рут Хасси играла жену репортера, — в театре эту роль исполняла Ширли Бут. Роль младшей сестры была поручена Вирджинии Уейдлер. Роль брата в киносценарий не попала. Сценарий написал Дональд Огден Стюарт. Снимать должен был Джордж Кьюкор.

Все это делалось на «Метро-Голдвин-Майер» (МГМ) при исключительно благоприятных условиях. Костюмы Адриана, замечательные декорации, музыка и все другое. Сценарист Дон Стюарт сумел сохранить искрометный юмор и все достоинства пьесы. Мы получали величайшее наслаждение от работы, как это всегда было на картинах, снимавшихся Джорджем. Кто только не навещал нас. Приезжал, кстати, и Ноэль Коуард. Он остался понаблюдать, как идут съемки одной из ключевых сцен с участием Джимми Стюарта, а после окончания эпизода рассыпался в комплиментах Джимми, от которых тот буквально разомлел. Ноэль всегда был щедр на похвалу.

Джордж много помогал и Джимми, и Кэри. И конечно, здорово поддерживал меня. Он был чудесным режиссером, а материал идеально соответствовал его стилю. Какое блаженство было работать над действительно хорошей комедией. Мы все были включены в номинации, Джимми получил премию.

«Женщина года»

Как я уже рассказывала, идея и сюжет принадлежали Гарсону Кэнину, его брату Майку Кэнину и Рингу Ларднеру-младшему, которые и воплотили их в сценарий. Гарсон показал мне вариант о семидесяти страницах, и я позвонила Джо Манкевичу (в Калифорнию), который был продюсером на «Филадельфийской истории» на МГМ. Не согласится ли он прочесть текст? Главные роли предназначены для Спенсера Трейси и меня. Снимать будет Джордж Стивенс. Джо пообещал прочесть и позвонить мне. Прочел. Похвалил.

Сказал также, что и студия проявила интерес. Я сообщила, что вылетаю в Калифорнию.

Позвонила моему другу Джорджу Кьюкору, и он сказал, что я могу остановиться в его доме. Гарсон и Майк были уже в Лос-Анджелесе.

Ребята — Ринг и Майк — дали мне «форд». Он поджидал меня в подъездной аллее. Приятно получить машину и не платить за нее.

Позже вдруг стал вызывать сомнение финал картины.

Я всегда считала Спенсера Трейси чудесным актером, но, когда Гарсон стал сомневаться в том, сумеет ли Спенсер Трейси по-настоящему блеснуть в своей роли, я ответила: «Ну, не знаю, меня куда больше занимает вопрос, блеснем ли мы в паре. Мы такие разные».

Гарсон также сказал, что, когда он сообщил Спенсеру Трейси о сценарии, который прямо-таки создан для него и Кэтрин Хепберн, Спенсер произнес такую фразу: «О, неужто… Вы и вправду считаете, что мы сумеем блеснуть в паре? Мы… такие… разные».

Конечно, я ничего не помню. Помню только о своих мечтаниях: как безупречен будет Спенс в любой роли и как замечательно сыграем мы с ним вместе. Кажется, Гарсон все-таки прав. С годами память ослабевает, и на нее нельзя теперь положиться.

Еще одно замечание о С.Т.: «Как я могу сниматься в картине с женщиной, у которой грязь под ногтями и которая не поймешь какого пола, всегда в брюках ходит?»

Потом он посмотрел «Филадельфийскую историю» и изменил свое мнение.

Правда ли, ложь ли — кто знает?

«Ребро Адама»

Сценарий «Ребра Адама» написали Гарсон Кэнин и Рут Гордон. Прямо-таки идеальный материал для С.Т. и меня — адвокатов по сценарию. Фильм имел громадный успех и был волнующим событием, поскольку в нем дебютировала в кино Джуди Холлидей. Джуди здорово сыграла в пьесе Гарсона «Рожденный вчера». Естественно, когда «Коламбия» купила права на экранизацию, Джуди надеялась, что ей дадут возможность сыграть в картине, но глава «Коламбии» — Гарри Кон — считал, что эту роль должна играть кинозвезда. Джуди была дружна со Спенсером, Джорджем Кьюкором, мной и, конечно, супругами Кэнин. Всем нам казалось, что эта роль просто создана для Джуди. Мы — Гарсон ия — отправились на Восток, чтобы попытаться выбить для Джуди крошечную роль в нашем фильме для того, чтобы Гарри Кон увидел, на что она способна и как здорово она смотрится. Хотите верьте, хотите нет, но Джуди упорно отказывалась снять маленький эпизод. Считала, что это скорей отбросит ее назад, чем продвинет вперед. Гарсон и я настаивали и в конце концов убедили ее — гримом, костюмом, — что эпизод хоть и крохотный, но замечательный. При этом я — неизменно спиной к камере, ее лицо — неизменно в кадре, крупным планом.

Наконец она согласилась, и, конечно, это полностью окупилось. Мы отослали ролик с отснятой сценой Гарри Кону. Он пришел в восторг и подписал с нею договор. Она была на седьмом небе. Немудрено! Она была уникальна — талантливая необыкновенно.

Я только что разговаривала с Гарсоном — он сказал, что мысль помочь Джуди получить роль в «Ребре Адама» целиком и полностью принадлежала мне: я считала, что она справится отлично. И я, слава Богу, оказалась права.

«Африканская королева»

В 1950 году я находилась на гастролях с пьесой «Как вам это понравится». Мы играли в Лос-Анджелесе. Я жила на Саммит-драйв в доме Ирэн Майер Селзник. Ее дворецким был Фарр, его жена Ида выполняла обязанности служанки. Оба — просто ангелы. Еще Эмили — повар. Она была темпераментной женщиной, и мы каждый день не менее получаса беседовали с ней о различных блюдах и кулинарном искусстве. Она действительно замечательно готовила. Суп ли, десерт ли — все восхитительно. Я блаженствовала — люблю покушать.

Однажды Сэм Шпигель прислал мне книгу Форестера. Я прочла. Какая история! Просто восторг. Мы встретились — Джон

Хьюстон и я. Сэм Шпигель купил права на экранизацию. Они не могли никак решить, кого взять на мужскую роль. Сначала Джону казалось, что нужен настоящий кокни. Но когда они вспомнили о Хамфри Богарте, стало ясно, что нет никого, кто мог бы соперничать с ним — ни по характеру, ни по внешности. По сценарию он был канадцем. Можете представить себе кого-нибудь еще в этой роли? Он был само совершенство.

Я уже написала книгу об «Африканской королеве». В сущности, книга эта была о Джоне Хьюстоне — за и против. Он был поразительным человеком с даром прозрения. И озарения те были потрясающи — это он посоветовал мне выстраивать характер моей Рози, взяв за образец Элеонору Рузвельт, навещавшую раненых солдат в госпиталях, — всегда с улыбкой на лице. Он видел, что Рози у меня выходит слишком серьезной, а сцены получаются какими-то натужными из-за того, что я все время напускаю на себя строгость, поджимая губы. Ведь моя Рози — сестра священника, значит, мое отношение ко всему должно быть пронизано чувством надежды. А на лице отражаться светом улыбки! Это было озарение. Короче говоря, он точно подсказал мне, как надо играть роль.

Я слышала от моих лондонских знакомых — Майкла Бентхолла и Бобби Хелпманна, — что есть некто, кому можно заказать костюмы, — Дорис Лэнгли Мур. Она была хозяйкой Музея костюма. Джон рекомендовал мне кого-то еще, но я рассказала ему о Дорис — ОЗАРЕНИЕ, — и решение было принято безо всяких возражений.

Мы встретились с ней. Она меня просто очаровала, к тому же у нее был обширнейший выбор верхней и нижней одежды. Она выросла в Африке, и то, что она согласилась сотрудничать с нами, было для меня настоящей удачей. Она сказала, что ткани, которые мы собирались использовать, должны быть теплопроводными, то есть чтобы в них актеры не страдали от чрезмерного потовыделения, кроме того, ткани должны были обладать способностью отталкивать пыль, грязь и влагу.

Так мы впервые встретились — она, Хьюстон и я. Ему понравились образцы легкого нижнего белья. Я перемерила все белье, все сорочки и пришла в ужас: а вдруг он захочет, чтобы в картине я снималась в одной прямой сорочке?

Я то и дело спрашивала про сценарий — но его все не было и не было. Джон улетел в Африку с Питером Фиртелем, который помогал ему в работе над сценарием. У меня было дурное предчувствие, однако Боги, работавший с Джоном Хьюстоном раньше, сказал:

— Не тревожься. Таков метод его работы.

— Но почему?! — воскликнула я.

— Вот увидишь — он прекрасно сделает.

Я доверилась Боги.

Боги получил премию. Какие еще могут быть вопросы?

«Летний сезон»

«Летний сезон» — картина, поставленная по мотивам пьесы «Пора кукушки» Артура Лоренца. Мне позвонили и сказали, что снимать ее будет Дэвид Лин. Не соглашусь ли я… Можно не продолжать.

Естественно, мне приятно будет сыграть в любом фильме режиссера Дэвида Лина.

Итак, я дала свое согласие. Съемки намечали провести в Венеции. И Констанс Колье, моя подружка, и Филлис Уилбурн, ее секретарша, собирались поехать вместе со мной. Спенсеру предстояли съемки во французских Альпах в фильме «Гора», так что все складывалось как нельзя удачно. Он был занят — я была занята.

Мы приехали в Венецию и сразу — в «Гранд-отель». Там нужно было купить костюмы. На том же острове, где располагалась студия — Мурано, — я нашла дом. При нем имелись теннисный корт и бассейн. Я подумала: «Боже, как здорово!» Мы поселились там. Но нас ждало полное разочарование. Бедные Констанс и Филлис были напрочь лишены всех тех удобств, без которых они не могли обходиться в Венеции. Постели все без исключения хранили следы бывших постояльцев. Лестница была крутой, узкой, вместо перил — слабо натянутые веревки. Поскольку Констанс была близорукой и ходила несколько неуверенно, это пугало ее. Пройти по лестнице быстро было невозможно.

Констанс и Филлис знали буквально всех там, где появлялись, и вообще привыкли к открытому образу жизни. Когда же я привезла их на этот странный остров, они оказались отрезанными — образно говоря — от всякой жизни вообще. Нужно было быть абсолютно непрактичным человеком, чтобы поселиться в таком отдалении от Венеции. Не знаю, как я могла так опростоволоситься. Как бы там ни было, спустя двадцать четыре часа я быстро нашла пристанище, столь же замечательное, сколь гнусным было наше первое.

Квартира находилась на Большом канале, почти против Гритти. Она была роскошно меблирована, на двух уровнях, три спальни, три ванные комнаты. Комнаты находились на третьем и четвертом этажах, кроме того, имелся красивый садик на берегу

реки и замечательный обслуживающий персонал: повар, дворецкий, служанка. В нашем распоряжении была своя собственная гондола.

Дэвид жил в Гритти — работал над сценарием. Он выбросил из него все, за исключением основной линии — судьбы безумно одинокой секретарши, которая встречает наконец Россано Брацци, а потом отпускает его в Соединенные Штаты. Это была история некой секретарши, которая проводит свой отпуск в Венеции. Пьеса Артура Лоренца под пером Дэвида Лина и его друга, сценариста Бейтса, превратилась в киносценарий. Я не помню, кто получил авторский гонорар, но Дэвид постоянно вмешивался в содержание и отбрасывал все, что не интересовало ЕГО, так что этот фильм скорее можно назвать «Дэвид в Венеции». История человека, не очень-то разбирающегося в знаменитых на весь мир достопримечательностях, но всей душой воспринимающего красоту и атмосферу этого замечательного города, в котором он проводит три недели своего отпуска, и история его любви, а потом отъезд на поезде.

История эта была рассказана с подкупающей простотой — на улицах, на площади Сан-Марко. Мы снимали в узких — всего в два-три метра шириной — улочках. Время, когда в них заглядывало солнце, исчислялось минутами. Роль была эмоционально насыщенной, и, скажу честно, мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы сыграть так, как того хотел Дэвид. Но эта работа доставила мне истинное наслаждение. Бесподобной была и выбранная им музыка.

Работать с Дэвидом было одно удовольствие. Это был очень основательный, простой и искренний человек. Он рассказал историю — кусочек понятной нам жизни. Во всех ее нюансах. Он запечатлел то, что видел внутренним зрением его ум. Это совершенно необыкновенный дар. Мне казалось, что Дэвид прямо-таки пропитан Венецией. Она была — его. У него дар истинного фотографа, а его мыслям была присуща описательность: снятые им кадры рассказывают историю. Дэвид обладал способностью к сверхсосредоточенности. Это производило на меня очень глубокое впечатление, к тому же он принадлежал к когорте тех наиболее интересных режиссеров, с которыми я когда-либо работала. Прежде чем начать работать в паре с Ноэлем Коуардом в качестве сорежиссера на картине «Кавалькада», он много лет проработал монтажером. Он выжимал из каждого актера некое определенное искомое, чтобы сложить все это найденное, получить то, что он изначально видел своим внутренним зрением. Поэтому фильмы Дэвида Лина отличаются невероятной цельностью. Он рисует их, а они — его.

Разве я не везучая, что мне удалось сняться у него?

Для Дэвида не существовало определенных трудностей. Ноэль Уиллман работал у него в «Докторе Живаго». Предстояло отснять кадр с кавалерийскими офицерами числом примерно в три сотни, которые проезжают верхами по полю. Дэвид глядел на поле, просто молча и сосредоточенно наблюдая.

Наконец обернулся к ассистенту: «Скучно… Мне кажется, надо, чтобы это было поле красных маков. Мы засадим все поле красными маками. Отошлите кавалерию домой. Позвоните тому парню на углу, что за гостиницей…» Операция заняла у них три дня. Появилось маковое поле. Это было невероятно зрелищно.

Поистине сумасшедшим был поиск красных бокалов для картины «Летний сезон». Наконец ему раздобыли хрустальные кубки шести чуть отличных друг от друга тонов, благодаря чему он добился-таки того, что задумал.

Но когда ставилась последняя точка, этот человек испытывал истинно глубокое удовлетворение, ибо он сделал для дела все, что мог. Совершенство — вот то, к чему всегда стремился Дэвид.

«Долгое путешествие дня в ночи»

Это было замечательное событие моей жизни: режиссер Сидней Ламет, в главной мужской роли — Ральф Ричардсон, двух моих сыновей играли Джейсон Робардс и Дин Стоквелл. Блестяще написанная пьеса, характер моей героини, матери, был настолько драматически насыщен, что давал возможность сыграть эту роль на одном дыхании. Мы репетировали в течение трех недель в большом зале на Второй авеню, причем разучивали роли настолько тщательно, что, когда приступили к съемкам в старом доме на Сити-Айленд, были в состоянии делать большие эпизоды. Ничего не могло быть лучше этой роли. Знание О'Нилом человеческой психологии и его анализ отношений супружеской четы были воистину достойны восхищения. Мне оставалось лишь сконцентрироваться на роли и читать строки. Я чувствовала, что полностью могу довериться тексту. Какой опыт! Мне никогда его не забыть.

Отсняв картину, мы организовали своеобразную вечеринку — очень скромную: обед и маленький оркестрик. Через несколько минут после начала ко мне подошел Ричардсон — я сидела и разговаривала с его женой, Мю Форбс. Он пригласил меня танцевать.

— Ральф, — смутилась я, — я столько лет не танцевала.

— Ничего, ничего, — сказала его жена, — потанцуй с ним.

И вот Ральф и я закружились в вальсе. Когда музыка смолкла,

Ральф остановился, отступил на полшага назад и, не снимая с моих плеч рук, мягким голосом, в котором слышалось удивление, сказал:

— Видит Бог — вы безумно привлекательная женщина!

«Лев зимой»

Спенсер умер 10 июня 1967 года. В шестидесятые годы у меня было совсем мало работы. После его кончины, в Калифорнии, я вместе с Филлис Уилбурн, ныне моей секретаршей, отправилась в Эдгартаун на «Виноградник Марты» навестить семью Кэнинов — Гэра и Рут. Они жили в Эдгартауне в гостинице. Там же поселились и мы. Нам было очень приятно встретиться, и мы много разъезжали по разным местам, посещая чудесные пляжи и маленькие городки.

Однажды я получила по почте сценарий «Лев зимой» — Джеймса Голдмана. Прочла. Он показался мне очаровательным. Потом прочла Филлис. Ей он тоже очень понравился. Я согласилась участвовать в картине. Роль короля предназначалась Питеру О'Тулу. Он захотел, чтобы картину снимал некто Энтони Харви, очень авторитетный лондонский режиссер. Предполагалось, что продюсером будет Джозеф Левин. Съемки намечалось провести на юге Франции. Костюмы должна была шить в Лондоне Мэгги Ферс.

Питер приехал повидаться со мной и показать короткий ролик, отснятый Тони Харви, — «Голландец». Это была превосходно сделанная работа, и я согласилась работать с ним.

Мы репетировали в Лондоне на Хеймаркет с Тони Хопкинсом, Джоном Каслом и Найджелом Терри, то есть с моими — по фильму — тремя сыновьями. Роль короля французского исполнял Тимоти Далтон.

Жили мы в маленькой гостинице на юге Франции, а снимали в аббатстве Монмажур. Фонвьей — так называлась деревня. Восхитительное место. Очаровательный маленький отель с очень приличной кухней.

Поблизости находились несколько антикварных магазинчиков, теперь все они представлены в моем нью-йоркском доме.

Питер жил в другом городке. На натурные съемки мы ездили верхом в Монмажур. Это было очень интересное аббатство — частично разрушенное, где кое-что мы перестроили, — с красивым парком и несколькими хорошими просторными комнатами. В подвале — кельи.

Я устроила себе костюмерную на верхнем этаже аббатства —

совсем близко от парка. Все остальные разместились у бывшего парадного входа, который находился внизу у подножия холма. Местность там вообще была холмистая. Я чувствовала себя счастливой.

Как всегда, нам было весело. У нас с Питером на двоих был один гример. Однажды я очень долго ждала его. Наконец, не выдержав, спустилась вниз, чтобы разыскать его. Он накладывал грим Питеру, которому предстояло работать в кадре после меня.

— Что, черт возьми, происходит?! — воскликнула я. — Он должен гримировать меня. Мне же сниматься в следующем кадре. — Одной рукой я взяла гримера за пиджак, другой подхватила его ящичек. Дала Питеру хороший щелчок по голове, и мы поднялись по холму в мою костюмерную. Когда я была готова, мы начали снимать сцену в подвале, и тут вошел не кто иной, как Питер. Его голова была вся забинтована, он передвигался на костылях и что-то мычал. Можете себе представить, как мы смеялись.

В фильме была замечательная сцена с ладьей, направляющейся к берегу. Волна на Роне была очень высокой. Мы репетировали эту сцену всю вторую половину дня, а к следующему утру пирс, где нам предстояло сойти на берег, оказался затопленным. Мы устремились вниз по реке при сильнейшем ветре. Я была в своих роскошных одеждах.

Взглянув на одного из оруженосцев, облаченного в латы, я сказала: «Надеюсь, вы только понарошку закованы в этот металлолом? А то ведь, если мы перевернемся, вы пойдете ко дну. Сама-то я вмиг могу сбросить с себя весь этот роскошный наряд. А потом прыгну в воду подальше и голой поплыву к берегу». Он был удивлен. Я не виню его. Все это было восхитительно, и кадр в фильме вышел замечательный.

Чтобы отснять заключительные сцены, мы побывали в нескольких городах, в том числе в Тарасконе. Потом я рассталась с труппой и отправилась на самый юг Франции сниматься в «Безумной из Шайо», режиссером которой был Брайан Форбс. Тони Харви заболел гепатитом и угодил в больницу. Недолечившись, он вышел раньше срока и закончил-таки картину. Надо сказать, что роль у него получилась просто блестящая. Необыкновенно талантливый человек.

«Рустер Когберн»

Джон Уэйн — герой тридцатых и сороковых годов и большей части пятидесятых. Пока на экран не выползли «ужастики». Пока, в шестидесятые, герой-мужчина не сполз вниз — к слабости и

недопониманию. Пока женщины не начали бросать свою невинность в сточную канаву. При полнейшем безразличии к истине, каковой все-таки присуща патетичность. И родилась однополость. Волосы стали длинными, гордость — с гулькин нос. И мы перешли к антигероям и антигероиням.

Джона Уэйна эта мутная волна не смыла. Он был на гребне даже в семидесятые. Высокий, как дерево, всегда в лучах солнца, независимо от того, каков угол освещения.

С головы до пят он весь как литой монолит. Крупная голова. Широко поставленные голубые глаза. Песочного цвета волосы. Грубая кожа — мелко-мелко расчерченная жизнью, весельем и характером, а не увяданием, не гниением. Нос в меру — не крупный и не маленький. Здоровые зубы. Лицо, светящееся юмором. Хорошим юмором, я бы добавила, и остроумием. Опасный, когда его выведут из себя. Плечи широкие — очень. Грудь массивно-объемная — очень. Когда я прислонялась к нему (а это я старалась проделывать как можно чаще: признаюсь — меня прельщают такие невинные удовольствия), то испытывала трепет. Это было все равно что прислониться к могучему дереву. Руки у него большие-пребольшие. Видя их, я как бы совершенно переставала чувствовать свои собственные, тоже большие. Хорошие ноги. Никакого выступа сзади. Настоящее мужское тело.

И фундамент этого дивного творения — пара маленьких нежных ступней, несущих его мощный торс, словно перышко. Легких в поступи. Пружинистых. Танцующих. Великолепные ступни!

Очень наблюдательный. Очень знающий. Умевший слушать. Сосредоточиваться. Быстрый остроумный взгляд. Отзывчивый на смех, насмешку. Всегда готовый дать достойный ответ. Никогда не тушевался. Веселый. Неистовый. Взрывной. Не гнушавшийся потворствовать собственным слабостям. Жесткий. Обаятельный. Знал об этом. Использовал это. Пренебрегал этим. Ошеломляюще точен. Почти ничего не упускал в жизни.

Он был всегда на месте и вовремя. Всегда досконально знал сцену. Всегда имел свои соображения относительно того, как надо делать. Требователен к режиссеру, не выполнившему свое домашнее задание. Тактичен к своим коллегам-актерам. Очень раздражительный со всякой бездарью. И никогда не скрывавший причины такой своей раздражительности.

По своим политическим пристрастиям он реакционер. Вырабатывал свое мнение, исходя исключительно из своего личного опыта. Появился в кинобизнесе в окружении себе подобных. Самородков. Трудяг. Гордецов. Людей из той породы, что колесят по стране, устремляясь в неизвестное. Людей,

которые стремились жить и умирать, следуя своим законам. Джек Форд — именно он первым ввел Уэйна в мир кино — был из той же самой породы. Страшно независимый. По складу своего характера они, видимо, не терпят и не понимают людей робких и зависимых. Тащи свой собственный воз без сторонней помощи — таков их лозунг. Иногда в меня закрадывается сомнение, сознают ли они, что их воз привязан к очень мощной машине. Такие не нуждаются в защите, да и не хотят ее. Абсолютная личная ответственность. Они несут ее как хрупкое блюдо, берут ее на себя. Жизнь нанесла Уэйну несколько жестоких ударов. Он был способен выдержать их и доказал это. Он не страдал отсутствием самодисциплины. Любил ходить сам по себе. Бегать. Танцевать. Скакать. Гулять. Продираться сквозь тернии жизни. Он все это проделывал. «Бога ради, не жалейте меня».

Обладая всеми перечисленными качествами, он с исключительным благородством и уважением относился к тем, кто, как ему казалось, в значительной мере способствовал его успеху. К своим поклонникам. Был щепетилен в своих ответах на письма. С пониманием относился к прессе, позволяя ее представителям приходить прямо на съемочную площадку. Прост в своей реакции на похвалу и восхищение. Очень любил получать всякого рода награды — премии. Простой человек. Ничего такого, что напоминало бы об усложненном Я-Я-Я, каковое, кажется, терзает меня и других (пусть они останутся безыменными), когда они вступают в соперничество из-за приза, вручаемого за лучшее исполнение роли. Я часто задаюсь вопросом:, не потому ли мы бываем столь грубы, что и вправду считаем, будто достойны награды за каждую сыгранную нами роль? И не это ли сеет в душу семя досады? Так вот он, повторяю, был простой и славный человек. Деликатный с теми, кто обрушивался на него в неистовом энтузиазме. Простой в радостном восторге от своего личностного успеха. Сродни Боги. Он действительно высоко ценил похвалу, расточаемую в его адрес. Чудесный, мальчишеский, наивный, раскрепощенный дух.

Как актер, он обладал необычайным даром. Был одарен поразительной естественностью. Той, что развивают в себе киноактеры, ставшие таковыми по воле судьбы. Таким даром обладал Гари Купер. Раскрепощенностью. Способностью думать и чувствовать. Кажется, он был готов вобрать в себя камеру. Ему было присуще утонченное умение думать, а также выражать и ласкать камеру — публику. Безо всякого видимого усилия. Это таинство, доступное только им. С годами эти истинные киноактеры, по-видимому, вырабатывают технику, сравнимую с техникой хорошо вышколенного театрального актера. Они,

похоже, достигают той же цели, двигаясь к ней с противоположного конца. Одному необходимо разучиваться, другому — учиться. Абсолютная органичность. Поэтому публика не чувствует, а только всего лишь наблюдает со стороны, то есть по-настоящему переживает то, что происходит на сцене. Лицедейство не кажется лицедейством. Уэйн обладал чудесным даром природного темпа. Сдержанного жеста. Внезапного игрового хода. Попробуйте сыграть с ним что-нибудь ни разу не репетированное. Он перехватывает подачу, мчится и бросает — свободно, хитро и весело, отчего радостно обоим. Насколько мощна его личность, настолько же мощен и его актерский потенциал. Он очень-очень хороший актер в самом высоком смысле слова. Этого у него не отнять.

Покупая хлопчатобумажную рубашку, вы хотите приобрести именно хлопчатобумажную рубашку. Не нейлоновую, которая хоть и стирается легко, зато не пропускает воздух. Не рубашку из быстро сохнущей ткани — гладить не обязательно, а приходится. Так вот, вам нужна просто хлопчатобумажная. Из хорошего обычного ноского хлопка. Не синтетическая. Так и с Джоном Уэйном. Он был моим партнером. Как вы понимаете — мне это нравилось.

— Джон Уэйн умер.
— Кто? Джон Уэйн? Герой?
— Да.
— Значит, Джон Уэйн умер. «Дилижанс». «Рустер Когберн». Настоящий мужчина. Герцог.
— Он умер.
— Это ужасно.
— Да, ужасно.
— Но он незаменим.
— Да, незаменим.
— Но как он мог?
— Мог что?
— Умереть.
— То есть не из числа ли он тех?
— Тех каких?
— Вечно живых.
— Да… да… Именно так, думаю… Где-то там наверху…

«У Золотого озера»

Этот сценарий был чисто театральным. Я приехала в Уилмингтон, штат Делавер, чтобы просмотреть его вместе с

Ноэлем Уиллманом. (Он поставил несколько пьес с моим участием, например «Сущность гравитации».) Главные герои, которым лет по пятьдесят, слишком сосредоточены на своем возрасте и начинающемся старении. Это была хорошая пьеса. В то время, когда я пыталась пробить пьесу в кино, ее открыла для себя и Джейн Фонда; она пришла к выводу, что это поистине великолепная находка: ведь ее отец, Генри Фонда, может сыграть роль отца, сама она — роль дочери, а я — матери. Я согласилась. И она все устроила. Снимал картину Марк Райделл.

Натурные съемки — на Сквэм-Лейк, Нью-Гэмпшир. Хэнк — в одном доме Мида, я — в доме матери Мида. А киноаппаратура — в еще одном доме Мида, в лесу. И все рядом с озером. Дома были все очень красивые. Находясь рядом с водой, я смогла каждый день купаться, что и делала утром и вечером. Это такое прекрасное занятие. Еще в детстве меня загоняли каждое утро под холодный душ. Я до сих пор купаюсь — и зимой и летом. В Фенвике я иду по заснеженному лугу, мои ступни мерзнут, бедные. Но я вхожу в воду. И погружаюсь с головой. Делаю один гребок, другой, плыву, потом выныриваю. Наверх по лесенке.

Как бы там ни было, проект этот был замечательный, и реализовывать его было одно удовольствие. Джейн и Хэнк плели сложную вязь взаимоотношений отца и дочери, им надлежало как-то разрешить их. Амбициозный отец и амбициозная дочь разрешают свои проблемы с помощью амбициозного друга. Всем нам было хорошо. Эпизоды было приятно играть. Джейн нравилось, когда я наблюдала сцены, в которых она играла вместе со своим отцом. Почему, я так и не поняла.

Дом, в котором я жила, стоял на самой высокой точке в округе, и я часто видела, как Генри Фонда совершает свой ежевечерний моцион вдоль ограды моей усадьбы. И у меня невольно возникал вопрос, о чем он думает. Он хорошо рисовал. Мне не доводилось видеть, чтобы он хоть раз вышел на прогулку в пляжном костюме: он был всегда подчеркнуто строго одет. Походка — размеренная, взгляд — сосредоточенный: казалось, мыслями он где-то очень-очень далеко. Генри Фонда был не очень общительным человеком. У меня никогда не было ощущения, что я его хоть сколько-нибудь знаю. Он никогда не был расположен к разговору, да и я тоже.

Странная это вещь — играть с кем-нибудь некое действо. Поневоле устанавливаются некие незримые связи с партнером. Потом съемки заканчиваются. Возможно, вы уже никогда больше не встретитесь с этим человеком. Но люди, особенно те, кто пишут статьи и книги, спрашивают: «Каким (или какой) он (она) был (была)?» А я не знаю. Я действительно не знаю их или чего-

либо о них. Интересно, так ли и у других актеров? Мой отец всегда советовал во взаимоотношениях с коллегами по работе ограничиваться формальными связями. Должна сказать, что я следовала его совету. Но, оглядываясь в прошлое, я спрашиваю себя, действительно ли я похожа на него. Не очень-то склонного к скоропалительной дружбе.

Если вы член большой семьи, всегда найдется, с кем поиграть в гольф, теннис, с кем сходить на прогулку или в кино. Никогда нет нужды «искать компании», так сказать.

В начале съемок я подарила Хэнку старую шляпу Спенса. Он был большим поклонником Спенсера, и я полагала, что это доставит ему удовольствие. Позже, в конце съемок, он подарил мне рисунок, на котором были изображены три шляпы — шляпа Спенсера посередине. Это было так трогательно. Мне было очень приятно, что он сподобился проявить такое усердие. Потом я обнаружила, что рисунок наводит на меня грусть — ведь Спенсера уже нет и Хэнка тоже нет. Поэтому я подарила рисунок Эрнесту Томпсону, написавшему сценарий «У Золотого озера». Это был его первый большой успех.

В сценарии глубоко исследовались взаимоотношения между мужем и женой, действительно любящими друг друга. Хэнк и я были в нужном — зрелом — возрасте, поэтому нам не нужно было «играть» старость. Она наваливается на человека неожиданно. Внезапно вы чувствуете, что ваша весна ушла. Ваша весна в смысле подвижности. Теперь — старушкой — вы не вскакиваете со стула. Вы «поднимаетесь». То есть совершаете абсолютно иное действие. Генри утратил весну чуточку больше, чем я в то время, когда мы делали картину, и мы очень легко пришли к взаимопониманию. Чудесный партнер — очень истинный — очень органичный. Он глубоко трогал меня в сцене гибели. По большому счету это вообще не было «игрой». Я несказанно рада, что его удостоили премии. Думаю, ему было очень приятно. За свою профессиональную карьеру он сделал несколько поистине чудесных работ.

Его дочь Джейн тоже была отменно хороша. Нам с ней нравилось играть вместе. Однажды на съемке Джейн нужно было прыгнуть с вышки в воду, исполнив заднее сальто. Я давила ей на психику, говоря: «Если не можешь, я сделаю это за тебя. Это один из моих коронных номеров». Можете быть уверены — она сделала это сама.

Картина имела успех.

Шекспир

Я люблю вставать рано и работать с утра и днем. Спать я люблю вечером. Но чтобы пробиться в своей профессии, приходилось играть спектакли по вечерам. Потом, ради поддержания собственного тонуса, я отправлялась на гастроли, когда цифра кассового сбора опускалась ниже определенной черты.

Потом Шекспир поднял свою страшную главу.

В ту пору, в конце сороковых, я сдружилась с Констанс Колье. Констанс воспитывалась в Лондоне на Шекспире. Шекспира я познавала с ее помощью. Было ужасно интересно, и я решила сыграть в «Как вам это понравится». Театр «Гилд» проявил интерес, а мой друг Майкл Бентхолл, в ту пору возглавлявший в Англии «Олд Вик», взялся поставить спектакль. Это была красивая постановка, декорации к которой создал Джеймс Бейли, друг семьи Бентхолла. Спектакль игрался в нью-йоркском театре «Корт» и 148 представлений шли при аншлаге. Орландо играл Уильям Принс, а Жака — блестящий актер Эрнест Тезигер. Мне говорили, что я в порядке. То есть как бы намекали, что наполовину провально, наполовину похвально. Просматривая рецензии той поры, которых я тогда не читала, понимаю, что я раздражала критиков. Я понравилась им в «Филадельфийской истории», но в Шекспире… Ну… как бы это… Словом, думали примерно так: «Набралась нахальства сыграть это». Я действительно работала над собой как пчелка, изучала материал, и Констанс здорово мне в этом помогла, и это было здорово. Во всяком случае, я получала истинное наслаждение от работы над этим спектаклем.

После Нью-Йорка мы совершили продолжительные гастроли по Соединенным Штатам. Мы хорошо заработали и вроде бы понравились — публике, критикам. Я многому научилась.

В 1952 году я сыграла в «Миллионерше», поставленной опять-таки Майклом Бентхоллом. Мы отыграли десять недель в Лондоне, сделали летний перерыв, а потом еще десять недель отыграли в Нью-Йорке.

Позже, в 1955 году, я сыграла на сцене «Олд Вик» в «Венецианском купце», «Укрощении строптивой» и в «Мере за меру» с Робертом Хелманном, постановка Майкла Бентхолла. В течение шести месяцев мы гастролировали в Австралии: Сидней, Мельбурн, Аделаида, Перт и Брисбейн. Гастроли были очень интересными и прошли с огромным успехом.

Австралия — восхитительная страна. Чудесный климат, прогулки, купания, дикие цветы, много-много цветов, совсем не похожих на те, к которым привыкли мы. Я видела все, что можно было увидеть, и с удовольствием побывала бы там еще раз.

Удивительные птицы, удивительный животный мир.

Все эти роли я делала с помощью Констанс Колье. Филлис Уилбурн в ту пору работала у нее, а когда Констанс умерла, я находилась в Австралии на гастролях с «Олд Вик». После моего возвращения Филлис решила прийти ко мне. После того как Эмили Перкинс переехала в Мэн, у меня не было секретарши, которая была бы мне еще и верной подругой. Эмили была еще и замечательной кулинаркой и всегда мечтала открыть в Мэне свой ресторан. Так она и сделала. Она очень успешно вела свои дела в течение приблизительно трех лет.

Потом я проработала два лета в Страффорде, штат Коннектикут, — с Джоном Хаусмэном и Джеком Ландау. В 1957 году мы поставили «Венецианского купца» (с Моррисом Карновски) и «Много шума из ничего» (с Альфредом Дрейком). В следующий приезд (1960 год) я сыграла в «Двенадцатой ночи» и «Антонии и Клеопатре».

Мне жаль, что я так и не сыграла в «Укрощении строптивой» в Нью-Йорке. Это была хорошая постановка, и мне кажется, что в этом спектакле я исходила в своей игре из важной и интересной мысли: что Катарина привязана к своему отцу и ей необыкновенно тяжело направить свою любовь в новое русло, на новый объект — на Петруччо.

Думаю, что я не ударила в грязь лицом и в «Антонии и Клеопатре». Антония играл Роберт Райан и, разумеется, великолепно смотрелся. Какая игра!

Как бы там ни было, все эти постановки таили в себе огромный заряд веселья, и публика, слава Богу, была того же мнения и валила толпами — а это всегда воодушевляет. Я была довольна собой. Мысленно я хвалила себя за то, что не испугалась и не пожадничала душой.

Спенсер

Спенсер Трейси — настоящая звезда. Актерская звезда. Зрительская звезда. Его свойство — всегда быть точным и непосредственным. Задайте вопрос — получите ответ. Без паузы, без прихотливого раздумывания — простой ответ. Разговаривает ли он, слушает ли — всегда естественен. Никакой чрезмерной эмоциональности. Прост и абсолютно честен. И заставляет вас поверить в то, что говорит.

К примеру, в «Отважных капитанах» он — португальский рыбак. Эта работа представляется мне одной из наиболее впечатляющих в его карьере. Он никак не мог решить, что надо сделать, чтобы характер выглядел убедительно: произношение —

какое оно?

Тогда Спенсер пришел в студию, чтобы позвонить настоящему португальскому моряку и договориться о встрече — расспросить его о том о сем. Явился этот эксперт-португалец. Сел. Выглядел весьма обычно. Улыбался.

— Видите ли, — начал Спенс, — по роли я должен петь песенку о маленькой рыбке: сижу вечером и, глядя на море, пою. Мне важно знать, как этот парень произносит слова. Возьмем, например, слово «рыба». Как бы вы его произнесли?

— Рыба? Ры-ба — ну, это РЫБА, так ведь, мистер Трейси? То есть…

— Хорошо, — сказал Спенс, — вы могли бы произнести: «риба»?

— Да нет. Рыба она есть рыба… «ы» это не «и», мистер Трейси.

Спенсер ухватился за эту «рибу». Произнесенное таким образом, это слово соответствовало его представлениям о персонаже. Курчаво-темные волосы и — риба. Увлекшись ролью, он слился с рыбаком, который был сыном рыбака, внуком рыбака; который начал ходить в море; который нашел свою смерть под обрушившейся на него мачтой; который был такой же неотъемлемой частицей моря, что и ловимая им рыба, — и наконец в самом прямом смысле ушедший в море. Это была его естественная могила: ушел не в землю — ушел в морские глубины.

Потом я видела «Ярость» — как добрый человек превращается в монстра. Дьявол вселился в тело самого обыкновенного человека. Тело, которое стало вдруг слишком маленьким, чтобы он мог в нем поместиться. И он использовал его как своего рода контейнер, своего рода ящик с целым клубком человеческих страстей. Игра Спенса была настолько же замечательна, насколько абсолютны рождение и смерть, — она не нуждалась во внешних атрибутах: в произношении, в гриме. То есть внешняя сторона роли напрочь отсутствовала. Она — автоматически, — как зеркало, отражала страсти, бурлившие в нем. Поэтому любой грим, любой внешний страх могли бы обезобразить лицо. Лицо Спенсера было его чистым полотном, и он рисовал по нему изнутри — магией.

Одним из наиболее поразительных примеров этого уникального качества Спенсера стал «Доктор Джекилл и мистер Хайд», его самая крупная, единственно явная неудача. «Метро-Голдвин-Майер» решила сделать эту картину. Спенсер загорелся идеей. Его убедили, что у Хайда должен быть радикальный грим:

парик, вставные зубы — вся традиционная экипировка. Джек Бэрримор, исполняя эту роль, даже придал своей голове яйцевидную форму. Джек любил такого рода штучки. Равно как и Фредрик Марч. Им обоим казалось, что это забавляет. Это смешно. Но действительно ли это так?

Нет. Не для Спенсера Трейси. Это было не в его стиле. Он в таких случаях чувствовал себя идиотом. Он так стеснялся показывать эти превращения из разыгрываемой жизни, что приезжал на съемочную площадку в лимузине с задернутыми шторами. Ингрид Бергман играла проститутку; она, кажется, получила премию. Эта картина оказалась одной из тех немногих, за которую Спенс получил отрицательные отзывы.

Естественно, это ужасно неприятное чувство, когда, снявшись в крупной картине, терпишь фиаско в знаменитой роли. Когда я впервые встретилась со Спенсером, его мысли были заняты этим. Поскольку мы не были знакомы до того, я старалась посмотреть его во всех картинах, какие только были мне доступны, в том числе «Доктора Джекилла и мистера Хайда».

— Очень интересно, — сказала я.

— О, нет-нет. Пустое, гадко, — поправил он. — Я просто не могу делать такого рода вещи. Это похоже на то, как если бы ты сделал марионетку, а потом пытался бы вдохнуть в нее жизнь. Мне нравится быть марионеткой самому, а потом — заставить людей поверить, что это то самое, во что я хочу, чтобы они поверили. От внутреннего к внешнему, а не наоборот. Никакого грима.

— Но теперь-то ничего не исправить, — продолжал он. — Хотите верьте, хотите нет, но, когда они только заикнулись о «Джекилле и Хайде», я испытал настоящий трепет. Мне всегда нравился этот сюжет, и я всегда воспринимал его как рассказ о двух сторонах человеческой природы. С одной стороны, Джекилл — очень респектабельный врач, достойный член общества. Он делает предложение красивой девушке и готовится к свадьбе. Но есть в этом человеке и другая сторона. Совершенно внезапно он уезжает. Исчезает. И то ли благодаря какому-то лекарству, то ли наркотику, или бог знает чему еще, становится или, лучше сказать, превращается в мистера Хайда. Потом в городе или в ближайшей округе, где его абсолютно не знают, он совершает неслыханные по своей жестокости и вульгарности преступления. С эмоциональной стороны Джекилла, очевидно, что-то тяготило. Девушка, в ипостаси его невесты, — настоящая леди. Но в ипостаси воображаемой им проститутки она выбирает — себе в пару — мистера Хайда. Она способна на самый гнусный поступок. Обеих девушек играет одна и та же актриса; обоих мужчин — я.

Как ни странно, но в ту пору, когда он думал об этом, то имел в виду именно меня. Тогда мы не встретились. И по сей день эта идея представляется мне поистине восхитительной. Как жалко, что он не смог уговорить студию сделать эту вещь по-своему. Это было бы и безумно интересно, и своевременно.

Интересно, зачем он упомянул при мне об этих размышлениях по поводу «Джекилла и Хайда»? Я никак не могла перестать думать об этом. Не было ли здесь чего-то очень личного?

Наши натуры бесконечно сложны. Смешать толику этого, толику того — и оказывается, что в большинстве своем все мы крепко-накрепко во власти самих себя.

Актер в этом смысле имеет одно преимущество: он может бежать в «творчество». С.Т. — великолепный, на мой взгляд, актер; он мог, что называется, с ходу изменяться у вас на глазах. Без помощи каких бы то ни было вспомогательных средств — только магией и энергией своих мыслей он превращался в иного человека. Заставлял вас смеяться — устрашал вас — заставлял плакать. Убеждал вас, что он человек, выходящий из себя наружу. Но при этом ведь оставался самим собой, не так ли? Кем он был?

Я и вправду не знала этого. Он был заперт изнутри на ключ. И не знаю, был ли у него самого этот ключ. У меня было такое ощущение, что внутри той запертой от всех комнаты стоит машина, работающая на всю мощь двадцать четыре часа в сутки. Это она создавала замечательных людей — да, всех тех разных людей.

Однако более подробно о Спенсере несколько позже. Имейте терпение. У меня оно было.

IV

День памяти

Вот еще один случай.

Раз в году я припадала к своим тылам. Я имею в виду уик-энд Дня Памяти. Не тридцатое мая, о нет, — уже нет: настоящего Дня Памяти, увы, нет. Все это ушло. Главное — дело. Все праздники мы отмечаем теперь в уик-энды. Так вот, тридцатое мая того года пришлось на пятницу, — вроде бы как нельзя удачно, но ИМ хотелось, чтобы праздничным днем был понедельник. Так 24, 25, 26 мая стали праздничным уик-эндом Дня Памяти. Именно тогда со мной произошла одна история.

В полдень 23 мая 1986 года мы — Дэвид Лин, его первая жена Сэнди, моя секретарша Филлис и я — выехали из Нью-Йорка. Предполагалось, что этот уик-энд будет целиком посвящен отдыху. Они любили посидеть вечерами подольше. Я надеялась, что мне удастся лечь спать пораньше. Они отличные люди — простые и прямые, а еще — сильные и беспощадные. Кроме того, Дэвид — лучший кинорежиссер в мире. Он знал, как приготовить суфле. Поджарить мясо. И ничего — слышите? — ничего-ничего у него не получалось так, как ему хотелось. Он стоял, смотрел, уставившись в одну точку, ничего не предпринимая. Не двигался с места, пока не чуял запах совершенства. Такова его цель — в работе ли, в игре ли: делать нечто с максимально возможным качеством. Или не делать вообще.

Так вот, я снималась у него в 1954 году — в «Летнем сезоне», в Венеции. Однажды у него не получалась сцена с Изой Мирандой. Он повернулся ко мне и сказал:

— Кейт, попробуй-ка ты. — Отошел в сторону, повернулся спиной к съемочной площадке и уставился вдаль.

— Иза! — воскликнула я. — Смотри, Иза, что ему надо…

Мы сняли эту сцену.

В общем… да… И у меня и у него есть это качество — мы не сдаемся. Раз вы говорите, что взберетесь на гору, — взбирайтесь!

А теперь давайте достанем из багажника машины эти саженцы.

О Боже, совсем забыла рассказать. Мы были в лесном питомнике, что в Клинтоне. Джон — он там главный, — так вот, он сразу смекнул, что у нас главный — Дэвид.

— Послушай, Кейт, тебе не кажется, что это здорово — айва? Такой оттенок красного цвета. Сколько у тебя ее, Джон? Три?

Хорошо, берем три.

Появилась Сэнди с красивым желтым ракитником в руке.

— Отлично, — сказал Дэвид.

— Ну да, отлично, — согласилась Кейт. — Мы уже взяли три саженца айвы.

— А как же эти?

— О, они такие симпатичные… Как они называются? — Я наклонилась, чтобы взглянуть на этикетку.

— Это кизильник, — подсказала Сэнди. Она знает все названия — даже по-латыни. Я тоже знаю, но с подсказкой.

— Ах да, — сказал Дэвид. — Осенью на них такие славные красные ягоды. Я думаю так… (Он говорил это Джону.) В общем, так — шесть таких, да?

— Прекрасно, — сказала я. Они действительно восхитительно смотрелись.

Появилась Сэнди с роскошной, нахально развесистой сосной — карликовый сорт.

— О, мне это нравится. У тебя найдется таких три штуки, Джон?

У Джона нашлось.

— А глициния есть?

— Нет, распродано.

— Сейчас подгоню машину, и мы загрузим их, да? — Дэвид и Сэнди отправились в другую секцию, где был хозяйственный инвентарь. Они купили большие вилы, маленькие вилы — две штуки, совок для посадки растений. К тому времени, когда я подъехала на машине, они уже успели за все расплатиться.

Я выбрала маленький, симпатичного вида совок.

— Мне кажется…

— Он долго не выдержит, — незамедлительно вынес свой приговор Дэвид.

— Такой удобный.

— Не выдержит, — повторил свой приговор Дэвид.

Я тем не менее купила его. Он сломается почти сразу — на прополке.

Слабая соображалка, Кейт…

Люди хлопотали ради меня, так ведь? Такое положение было для меня и необычным, и, в определенном смысле, приятным. Они же, похоже, получали удовольствие от этих хлопот. Я собиралась — давно, собственно, собиралась — укрепить подъездную насыпь: года два уже, как собиралась. Но сделать так ничего и не сделала. Одолеть такое мне было не под силу. Сорняки, сорняки, сорняки… Да и какие растения сажать?

Мы подъехали к дому.

Наш командир отдал нам приказ:

— Саженцы поставьте в тень. Первым делом уничтожим сорняки.

Насыпь — не очень высокий вал. Полтора года назад ее засадили низкорослым можжевельником. Можжевельник был очень уродливый, а осенью становился ржаво-красным. Словом, не радовал глаз. Одним своим откосом вал сбегал к большим тяжелым камням, лежащим на берегах бухточки, — защита от прилива. Мы называли эту бухточку топью.

Папа же называл ее лагуной. Но мне она напоминала болото. В шторм, особенно при северном ветре, вода поднималась. Именно по этой причине мы подняли дорогу и сделали эту насыпь — нечто вроде дамбы, чтобы защитить дом. От первоначальной растительности, которая существовала еще до появления насыпи, осталась одна нэнтекетская сосна.

Справа и слева от зарослей можжевельника — сорняки, щавель, жутко густая пампасная трава. Мы начали копать. Копали, копали — Сэнди вилами, я лопатой. Налегали на черенки, переворачивали пласты дерна и одновременно подрубали корни травы. Налечь, подсечь, провернуть, вытащить, подрубить, вытащить рукой. Кошмар! Моя спина, моя поясница, мои пальцы, мои ноги. Бедные связки! Дэвид присел перевести дух на единственный наличествующий стул.

Его беглый, спонтанный комментарий: «Если не уничтожать корней, вся работа насмарку. Они закрепятся раньше, чем вы успеете пласт перевернуть… О, Кэт, это ты слабо подрубила. Надо поглубже копать и обязательно вытаскивать. Спешить не надо, раздражаться — тем более».

Дэвид последнее время жил по гостиницам, несколько месяцев просидел за пишущей машинкой. Физически он был в худшей форме, чем я. Возраст у нас вроде бы одинаковый. Он решительный и упорный, и я решительная и упорная. Сэнди была на добрых тридцать лет моложе нас обоих. Все трое мы и по воспитанию, и по природе готовы справиться с задачей. Справились. Справились хорошо.

К концу первого дня мы прокопали метров тридцать насыпи. Сорняки — куча за кучей — оттаскивались к нашей свалке. До нее было примерно триста метров. Идти нужно было в горку, а тачка была тяжелая, большая — та, что мне нравилась. Она находилась в доме Манди — моего племянника, сына Дика. Дику нравилась легкая тачка. Каждому свое.

Подхватить ее, нагруженную, за ручки, отвезти наверх, разгрузить, назад, вновь загрузить. О, я так устала: моя спина, мои ноги, мои руки, мои пальцы. Забудь про все это. Просто

держись на ногах, Кейт.

Дэвид продолжил:

— Ну, теперь можно сажать. Приступаем ко второй фазе операции. Айву!

— Мне?

— Нет, сажать будет Сэнди — она специалист. Как тебе этот, Кейт? Этот оттенок красного…

Сэнди подготавливала к посадке почву, которую мы освободили от сорняков. Она рыхлила ее всю — и глубоко. Дэвид опускал в лунки саженцы и следил, чтобы было все правильно.

— Мне кажется, если мы сгруппируем три желтых ракитника… будет, как солнце.

— Кейт, у тебя есть удобрение?

— Сейчас привезу. — Я пошла в гараж, вытащила оттуда двадцатикилограммовый мешок с удобрением, погрузила его на тачку. О, неужели я так устала?.. Неужели они никогда не остановятся?

— Ну, это же замечательно, дорогая! Сэнди, открывай мешок.

— Нет, давай я… — И поплелась в дом за ножницами. — Все! Видно, мне конец… Моя спина…

— Чудесно, дорогая. Вот-вот, с уголка — нет, пусть Сэнди сама. Она знает, сколько надо сыпать. Видишь ли, это очень ответственный момент. Все эти штуки связаны капиллярами. Поэтому надо разрыхлить все края и дно ямы, а потом вытащить саженец из горшка и расправить корни. Только смотри осторожней, а то можно поранить корни. Надо просто распрямить кончики и… Вот так, правильно… Теперь чуть разверни его. Ну вот, чудесно. Да… когда внесешь удобрение, тщательно перемешай его с землей, чтобы не сжечь корни.

«Пропади они пропадом, эти корни! — подумала я. — Я вот-вот издохну. Что, и меня в эту лунку закопают? Это не люди, а машины какие-то».

— Ну вот… Теперь надо полить… Можно будет подать воду от…

— Сейчас принесу шланг. — Я обошла весь дом и собрала все шланги — они были подсоединены к различным кранам вокруг дома.

— Ну, давай же, отвинчивай! — Я так устала… О, какой кошмар: ты устала, они устали, весь мир устал… — Снимай же его, снимай! — Я стащила шланги в одно место и соединила их, получился один достаточно длинный шланг.

— Теперь включай воду — не спеши. Ну…

— Выключай, выключай же… Дай я сам. — Дэвид подошел к крану. — Вот видишь, дорогая… Ведь ты не хочешь устроить

потоп? Правда, дорогая? — крикнул он Сэнди.

— Совершенно верно! — откликнулась она.

— Послушай, дорогая, а может, тебе пойти в дом и отдохнуть? Мы можем обойтись…

— Нет, я в порядке. Вот только разделаюсь с этим месивом…

В самый разгар этой утомительной работы мы сделали паузу, привели себя в порядок и отправились в питомник — подкупить саженцев. Взяли еще две глицинии, три белых ракитника, дерн из червячной травы и целый ящик плюща. А — одно к одному! И я взяла несколько однолетних растений, чтобы высадить их на цветочной клумбе с фасада: «Красавец Ульям» — роскошная светло-вишневая гвоздика, ее легко сажать. А потом увидела очень крепкие с виду растения — бахчевые какого-то сорта. Какие именно, без очков не разобрала. Выбрала четыре растения.

— Что это? — спросил Дэвид.

— Бахчевые.

— Бахчевые? — переспросила Сэнди. — Какие?

Разумеется, я не знала. Огурцы, кабачок, мускусная дыня, арбуз? Просто они приглянулись мне своей внушительностью, крепостью и яростью. К тому же ничего подобного я еще не сажала.

— Мускусная дыня, надеюсь. Я люблю дыни.

— За ними требуется уход и уход, — предупредили они.

— О да. — Кожей же я чувствовала, что в эту минуту они на самом деле думали: «Дыня? Зачем ей дыня? Мы еще с насыпью не управились. Просто бзик?! Какое легкомыслие… Хорошо же она занимается садом…»

Действительно ли они так думали, или мне, грешной, это только казалось? Опять за лопату. Посадили первую сосну. Оставалось одолеть еще метров шесть. Под сосной, конечно, были сорняки… К этому моменту все мое тело онемело. «Ты хоть понимаешь, кто ты, Кейт? — сказала я самой себе. Мое тело было сгустком боли и отчаяния. — В этой компании ты — работяга-кули. Тупая… дремучая… кретинка. Тебе надо остановиться. Тебе ведь уже все равно — приживутся саженцы или нет. Равно как — где и как их сажать».

Подул ветер. Северный. Прямо нам в лица. Что ж, благодаря Богу я еще стою под этой сосной. Копай, тащи, припадай к земле. Я подняла глаза. Прямо в глаз угодила хвойная иголка. «О Боже, — подумалось, — я так устала, не могу даже моргать».

— Красиво смотрится, дорогая. Какая красивая форма у этого дерева.

Его замечание задело меня: черт, мне все равно, какая у него форма — в какой я форме — а она безнадежная.

— Благодарю, — сказала я. И подняла голову. Действительно — очень красивое дерево.

— Ничего, осталось пройти еще всего шесть метров, — сказал Дэвид.

Он давит на меня! Подбадривает! Так ли? Да, подумалось, шесть метров. Если не помру. Ну что же ты не останавливаешься, Кейт? Ты умираешь от усталости, иди в дом, прими душ и ляг в постель… Нет, не стану делать этого. Я чересчур горда. Останусь здесь и буду тянуть свою лямку, пока они не прекратят работу или пока я не умру.

Но… они не прекратят работу. Они будут выкорчевывать сорняки, сажать плющ, две глицинии, ракитник, поливать все. Этому нет конца. Когда же ты умрешь, они оттащат твое тело к куче травы и закончат работу! Кэт, Кэт, как ты можешь? Ведь они твои близкие друзья.

Очередная тачка. Наполняю ее. Отвожу к свалке. Я так устала, что едва толкаю эту треклятую тачку. Ничего не слыша, из последних сил стараясь держаться прямо. У меня начали подкашиваться ноги — эх, просто бы лечь — и всему конец. Я умираю, я умру…

Потом я разразилась смехом. Старая ты бедная дурочка, ты просто не хочешь признать, что не способна продолжать работу. Вот в чем твоя беда…

Я не хуже вас! Вот в чем дело. Но ты имеешь дело с двумя характерами, столь же неуемными, как и твой! Они будут работать до тех пор, пока вконец не выдохнутся. А она тебе, почитай, во внучки годится. Ты соревнуешься с ней, как со своей ровней! Не важно — соберись.

Приободренная, я вернулась со своей пустой тачкой…

— Куда посадим это?

Я взглянула на один из нескольких оставшихся кизильников и на три новых белых ракитника.

— Я буду копать ямы.

— Знаешь, дорогая, может быть, этим займется Сэнди? Она точно знает, как…

— Ну, вам не обязательно использовать мои ямы — я просто… — Я дерзила.

— Кейт, ты становишься нетерпимой. Хороший садовник не имеет права злиться. Занятие садоводством предполагает только один способ — правильный… Разве это не интересно, дорогая? Когда мы снимали «Летний сезон», ты никогда не раздражалась.

Да, да, я злюсь. Это проклятое солнце и этот проклятый северный ветер…

— Будем сажать их вразбивку или, может, посадим все

купой? И…

— Дэвид, а что ты думаешь по этому поводу? — Это произнесла Сэнди.

Точно, я раздражена. Вне себя. И все-таки я вернусь в мое вьючное состояние кули. Соберу всю эту рыжую траву, выкорчую эти красно-зеленые штуковины с корнями десять метров длиной. И еще щавель… Вот так! Добраться до сосны — это была вторая сосна… Выкопаю три паскудные ямы под белые ракитники, просто чтобы… О, я не знаю зачем — просто чтобы почувствовать, что работа движется… Копать!.. В руках у меня уже большущие вилы. Я выполняю черную работу, знаю — я выполняю черную работу. И в это мгновение подходит Сэнди…

— Я тут поправлю кое-что немножко. Чтобы был доступ воздуха.

Дэвид прохаживался взад-вперед.

— Да. Тут они смотрятся очень красиво. Давай, Сэнди, опустим их.

— Сколько же еще их тут сажать? — осмелилась я произнести, стоя под развесистой сосной. О Господи, опять что-то попало в глаз — сосновая иголка. Мои глаза забиты пылью и иголками, исколоты ими. Недоставало еще и ослепнуть!

Сэнди хлопотала над корнем — это был куст, с которым я не справилась.

— Тут ничего невозможно сделать, Сэнди. Он уходит далеко в землю.

Она стала ломать корень, но ничего не получалось.

— Вот видишь…

— Попробуй еще раз, — сказал Дэвид. Она послушалась.

Корень оборвался.

— Еще раз, — настаивал Дэвид. Она попробовала — опять оборвался.

— Бесполезно, — сдался наконец Дэвид. — Давайте посадим белый. Доведем дело до конца. Ветер уж больно неприятный, да?

Надежда? Неужели свет в конце туннеля? О, это прогресс…

И опять неторопливый, обстоятельный процесс подготовки: разрыхления, извлечения саженца из горшка, выпрямления корней, внесения удобрения — пауза…

Дэвид:

— Почва тут сплошной песок и камень. Нужна садовая земля. — Он взглянул на меня.

— Дай-ка подумать… Да, сейчас привезу — у нас есть куча кое-чего.

— Я пойду с тобой, — сказал Дэвид.

Я привела его к куче. «Нет, это удобрение, дорогая… Или что

это такое?» Бог его знает. Я знала, что у меня есть перегной на верху полки, на которой стояли горшки с амариллисом, даффодилисом и нарциссами.

— Здесь, наверху.

— О да, хорошо.

Я зарылась — в самом деле зарылась — руками и набрала столько, чтобы хватило на три ямы. Мы вернулись к насыпи. Сэнди все еще копалась.

— Ты прямо, как я. Не можешь остановиться.

— Я знаю, — сказала она. — Мы чокнутые. Надо добраться до ствола.

— Уверена, ты знаешь, что надо делать.

— Да.

— Посоревнуемся?

— Я могу работать больше твоего.

— Да, но мои требования начинают снижаться.

— Ну, ты скажешь…

— Нет, действительно, — снижаться. Хотя нет. Надеюсь, что нет.

И я начинаю работать спустя рукава. Оставляю часть корня — ничего страшного, сойдет и так. Не долью воды — вроде нормально.

Дэвид неодобрительно смотрел на меня.

— Но, Кейт, ты не выполняешь основные правила, пытаешься обмануть природу. К примеру, полив, его надо проводить очень тщательно. Нельзя обольщаться тем, что почва влажная на поверхности. Пользы от этого никакой, только вред — корни начинают тянуться вверх, чтобы вобрать в себя влагу, вместо того чтобы проникать вглубь и пить из-под земли. Лучше уж не поливать вообще — тогда корни, если они вообще приживутся, будут поневоле уходить вглубь. И не заливай саженец — просто дай ему возможность впитать в себя все, что он может. Корни как люди — они не терпят насилия, они должны прорастать вниз, чтобы обеспечить себе будущее. Но для этого им необходимо тщательно создавать среду.

Ну все… Работа сделана. Наступил вечер. Я уже приняла душ, улеглась в постель. Размышляла. Ну вот, теперь ты знаешь правду о самой себе. Родители дали тебе замечательную основу. Ты росла на хорошей почве — подкормленной, политой, тщательно унавоженной. И тебя выпустили в мир. Удача улыбалась тебе. Бесспорно, ты добилась успеха. Но осуществила ли ты все, что могла — при такой данной тебе основе? Нет, ты легкомысленна. Ты не постигла сути вещей. Не можешь сделать того, не можешь сделать сего. А ведь могла бы, если бы сосредоточилась, проявила

упорство и не жалела бы себя. Теперь поздновато. Но урок таков — если делаешь что-то, делай это как следует. Выкорчуй те сорняки. И сажай старательно.

Таков конец истории о благоустройстве южного склона насыпи.

Я послала один экземпляр этого рассказа Дэвиду, один его бутафору. Доставила ему удовольствие.

Спустя некоторое время я встретилась в Нью-Йорке с бутафором. Он был в восторге от моего рассказа.

— У меня для вас есть еще одна история о Дэвиде, о том, как он, раз поставив перед собой какую-то цель, бьется до тех пор, пока не достигнет того, к чему стремится.

Снимаем сцену в Шотландии. Большой роскошный дом. Видим, по аллее к парадному входу подъезжают машина за машиной. Наконец подкатывает белый красавец «роллс-ройс». Из него выходят люди, машина отъезжает.

— Послушайте, — говорит Дэвид, — готов держать пари, что, когда «роллс-ройс» остановится, двойные «Р» по центру колес окажутся направленными вертикально вверх.

— И угадал?

— Конечно, — подтвердил бутафор. — Совершенство, оно и есть совершенство.

Через год.

— Привет, Дэвид! Вы приехали? Склон получился изумительно. Он просто великолепный: айва, желтый ракитник, белый, карликовая сосна, плющ, червячная трава… Все просто чудесно. Я вспоминаю вас обоих каждый раз, когда прохожу мимо, — просто замечательно, роскошно… Бахчевые? Что с ними? О, вы имеете в виду бахчевые. Нет, мне так и не довелось выяснить, что это было на самом деле. Они погибли.

Вилли Роуз и его «Мазератти»

Уильям Роуз написал «Женевьеву», «Женоубийц» и другие вещи. Это был по-настоящему талантливый и остроумный человек. В 1966 году Стэнли Крамер собрался снять фильм по его новому сценарию «Угадай, кто придет к обеду».

Сценарий был написан для Спенсера и меня. Моя племянница Кэти Хаутон должна была исполнить роль нашей дочери. По сценарию ее звали Джой. Мне такое имя показалось не слишком удачным, и я настаивала, чтобы Вилли изменил его.

Он взорвался. Позвонил Крамеру. Сказал, что возвращается в Джерси, а весь авторский гонорар пусть отдадут Кэтрин

Хепберн…

Крамер позвонил мне. Велел мне просто-напросто прикусить язык.

И я прикусила. Все это было так глупо.

Мало-помалу по ходу съемок мы подружились с Вилли. Он действительно был очень занятный мужчина лет пятидесяти. Американский писатель, переехавший жить в Англию. У него был дом — симпатичный каменный дом на острове Джерси, построенный в конце XVII века. (Он жил там, чтобы не платить английских налогов.) Вилли был разведен. Довольно часто и изрядно закладывал за воротник. Потом, чтобы сохранить свою визу, он уехал в Канаду, поскольку срок его пребывания в Соединенных Штатах был ограничен.

Спенсер умер спустя несколько недель после окончания съемок «Угадай, кто придет к обеду».

Я корпела над книгой Марджери Шарп «Марта» — пыталась сделать по ней сценарий. Писала я его совместно с Ирэн Селзник, выступавшей в качестве продюсера. Предполагалось, что режиссером буду я. Нам помогал молодой писатель Джим Придо. Спустя некоторое время Ирэн решила, что будет лучше, если я буду работать одна. Мы действовали соответственно, пока не был готов сценарий. Собрались в Лондон, попытаться уговорить известную своей тучностью сестру Ванессы Редгрейв — Линн Редгрейв — сыграть главную роль: по сценарию героиня действительно была тучной.

Приехав в Лондон, мы узнали, что Линн утратила былую свою особенность: стала весьма худенькой. Найти же полных молодых актрис крайне трудно — фактически невозможно. Потом я сказала самой себе: ведь где-то здесь недалеко живет Вилли Роуз. Интересно, не согласился бы он просмотреть сценарий? Ирэн сказала, что она поедет со мной.

Мы приехали в Джерси. Вилли был в плохом состоянии и оценил сценарий как безнадежный. Так и сказал. Ирэн же считала, что безнадежный — он сам. И уехала обратно в Лондон.

Меня очень обеспокоило состояние Вилли, который уже не первый день не просыхал. Мне показалось, что он страшно одинок. Беспрестанно говорил о «мазератти» — машине, которую хотел приобрести себе в Италии. Он попросил одного их официантов ресторана, в котором обедал, перегнать ему эту машину.

— А мы сами? Почему бы нам самим не поехать и не купить ее?

Так мы и поступили.

Это было очень забавно, и мне подумалось, а почему бы не

сочинить весьма занятный киносценарий, в котором была бы рассказана история актрисы, которая сначала влюбляется в молодого сценариста, а потом водит его за нос, получив более выгодное предложение. Потом, по прошествии лет, у нее возникают серьезные трудности в карьере, и, в надежде упросить его написать для нее сценарий, она отправляется вместе с ним в путешествие, чтобы подобрать ему машину.

Такова моя версия нашего путешествия.

И вот мы в Лондоне. Последние документы для машины — милый консульский сотрудник. Счастливая примета, не правда ли?

Это я пишу для того, чтобы просто освежить твою память, Вилли. И чтобы позабавить самое себя. Разумеется, я вовсе не думаю, что моя память лучше твоей.

Ты помнишь?

Это был какой-то сумасшедший день. С Дэвидом Лоу, моим английским шофером, и Филлис мы поехали в аэропорт. На сей раз у меня был внушительный багаж. У тебя, Вилли, насколько помню, было два весьма солидных чемодана. У меня — один чемодан фирмы «Виттон» и две туристских сумки, тоже от «Виттона». И конечно, две большие сумки, которые я носила через плечо.

Ты был восхитителен, и мне подумалось: какое дивное создание. Такое симпатичное, мужественное, наивное. Что?

По радио объявили, что в Милане гроза, и что, по всей вероятности, нам придется садиться либо в Генуе, либо в Венеции.

В Генуе я никогда не была, зато Венецию знала. Поездка из аэропорта «Лидо» в Венецию была ужасной. Как найти гараж, где, в случае удачи, можно было бы взять в аренду машину. О Боже!

— Нет-нет, — сказал Вилли. — Мы садимся в Милане. Совершенно в этом уверен.

Ты потянулся и взял меня за руку.

Мы встали и пошли по длинному-предлинному коридору к самолету.

Судьба обещала нам счастье на двоих.

В сущности, инициатором этой поездки была я, так как считала, что Вилли сам должен подобрать себе «мазератти», и тогда она действительно будет его. Его так мало что-либо по-настоящему интересует, но машины, видимо, и вправду представляют для него какую-то ценность. А эта «мазератти» не будет представлять для него особой ценности, если ее выберет один из официантов ресторана.

Кроме того, если он не покинет сейчас Джерси, то никогда уж не вернется к своему ремеслу. «Хочу, чтобы на моем надгробии было одно слово — ПИСАТЕЛЬ», — сказал он как-то.

И вот теперь мы сидели в самолете. С бокалами шампанского в руках.

Вилли никогда не трусил. И мне думалось: какой блестящий, какой очаровательный человек — такой сильный, уверенный в себе. Вновь навстречу жизни. Замечательно.

Мне и вправду хотелось чувствовать себя в этом путешествии слабой женщиной.

Он так блистательно жонглировал словами и мог вести разговор едва ли не на любую тему — я слушала его с замиранием сердца.

Коль скоро я говорю «слушала», так оно, значит, и есть.

Он очень обижался, когда я прерывала его монологи в наиболее интересных местах неуместным комментарием и тем самым нарушала ход его мыслей.

Конечно же, не надо было, не надо было перебивать его, но движение его мыслей, пожалуй, было единственным движением, которое влекло нас к цели.

Нет, мне не следует говорить или думать о нем так. Взгляните на него. Он действительно выглядит необыкновенно. Спит ли на своем сиденье рядом со мной, рисует ли безобразную и обидную карикатуру или спрашивает, почему я не ношу очков, — ведь я, вероятно, ничего не вижу. «В твоем возрасте надо носить очки».

Но все в эту минуту делается с любовью, с шармом и юмором. Чирикающая птичка. Конечно, у него потрясающие мозги. Подавляет меня своим интеллектом. Временами это чуточку раздражает, потому что я привыкла считать себя очень яркой личностью. Но с ним я почти всегда забываю это. Только иногда, когда я говорю о его проблемах, о нем самом, он допускает вероятность того, что у меня могут быть мысли, достойные его слуха.

Мы над Миланом. Боже, тучи рассеиваются. Мы садимся. Вилли, милый Вилли, ты прав. Честное слово, ты прорицатель, ты провидец, ты — чудо!

Мы приземлились. Носильщик забрал наши сумки.

Земля, конечно, была покрыта снегом дюймов шесть глубиной, а снег все валил и валил. Была половина первого, а может, и час ночи. Мой итальянский — в тогдашнем его состоянии — довел нас до «Службы проката» — есть такой удобный вид услуги в миланском аэропорту. Аэродром находился рядом с большой автострадой, по которой можно было добраться

до Модены, где и выпускаются эти «мазератти». На завтрак у меня были припасены сандвичи и бутылка вина, которые я захватила с собой, уезжая из дому, из Элм-Плейс. С собой был атлас автодорог и «Путеводитель по Северной Италии» на итальянском языке.

Мы тронулись в путь на «фиате», взятом напрокат. Мне предстояло играть роль гида.

Куда? Сначала под мост, потом — первый поворот налево, потом направо…

Вилли. Ну, ты не пересказывай мне весь маршрут. Просто по ходу. Вот сейчас, например, что мне делать? Куда теперь поворачивать?

Кейт. Налево.

Вилли. А мне показалось, ты сказала — направо.

Кейт. Сказать-то я сказала, но я ошиблась. Направо нельзя. Правила запрещают. Давай налево. Примерно через километр поворачивай все налево и налево, пока не проедешь аэродром. Тогда на первом повороте повернешь направо. Проедешь под мостом, потом налево на…

Вилли. Я не настолько остроглазый, чтобы видеть карту. Вряд ли и ты что-нибудь в ней видишь, без очков-то.

Кейт. Я уже говорила тебе, что не ношу очков. У меня зрение отличное!

Вилли. Понятно…

Кейт. Налево наверх, еще метров сто семьдесят.

Вилли. Куда?

Кейт. Туда, туда.

Вилли. Но это же прямо противоположное направление.

Кейт. Ну да. Это то, что надо. Мы едем назад мимо аэропорта, потом…

Вилли. Нет нужды так подробно рассказывать. Просто будем надеяться, что ты права.

Кейт. Разумеется, права.

Вилли. Надеюсь.

Кейт. Будь уверен, дорогой.

Вилли. Не по той ли местности мы едем сейчас, над которой рассеивались тучи, когда мы приземлялись?

Кейт. Ты гений.

Вилли. Ты вроде бы определила, что нам нужно будет ехать через Венецию?

Кейт. Ну да. Но, слава Богу, ошиблась!

Вилли. Ничего себе ошиблась.

Кейт. Рада за себя, милый.

Вилли. Ты славная девочка.

Кейт. Благодарю.

Вилли. За что, за «славная» или за «девочка»?

Кейт. Осторожней. Не дерзи.

Вилли. Не понимаю, чего ты стесняешься своего возраста.

Кейт. Стесняюсь, и все, так что заткнись.

Вилли. Да нет, серьезно. Когда тебе исполнится сто двадцать пять, мне стукнет сто четырнадцать. Не такая уж большая разница.

Кейт. Мне не дано этого узнать. Равно как тебе.

Вилли. Если наши пути пересекутся еще раз, ты сможешь просто сказать, что твой муж неотразимо привлекателен для поздней-препоздней игры.

Кейт. Очень забавно!

Вилли. Ты пьяна?

Кейт. Нет, я счастлива.

Вилли. Возьми мою руку. Можно включить радио?

Кейт. Конечно.

Вилли. Прикури мне сигарету.

(Прикурила.)

Кейт. Не хочешь перекусить?

Вилли. Что же ты не спросила об этом до сигареты?

Кейт. По недомыслию.

Вилли. По чему?

Кейт. Я сказала — по недомыслию.

Вилли. Ах да!

Кейт. Я ожидала услышать от тебя: «Ну что ты, нет!» Вилли. За сколько мы туда доедем?

Кейт. Думаю, часа за три.

Вилли. Да что ты! Понимаешь, по этой дороге можно ехать с любой скоростью, с какой только пожелаешь.

Кейт. Откуда ты знаешь?

Вилли. Я здесь уже бывал.

Кейт. Правда?

Вилли. Да, несколько раз. Мне нравится Италия.

Кейт. Один?

Вилли. Что значит — один?

Кейт. То и значит, что сказала. Ты путешествовал один?

Вилли. Нет, вообще-то я был с…

Кейт. Не говори мне.

Вилли. Почему? Фактам мы обязаны смотреть прямо в лицо.

Кейт. О, «фактам», говоришь? Во множественном числе?

Вилли. Надеюсь, ты не сравниваешь мою бедную изломанную жизнь со своей.

Кейт. Вилли!

Вилли. Что?

Кейт. Как насчет вина и сандвича?

Вилли. Отлично. На ходу?

Кейт. Ну, да. Вино откупорено. Я стащила два стакана.

Вилли. Благодарю. Здорово. Что у нас в меню?

Кейт. Цыпленок. Мясо.

Вилли. Тогда — цыпленок.

Кейт. Ты доволен?

Вилли. Не то слово. Ты молодец.

Кейт. Ты тоже.

Вилли. Я всегда считал, что я так себе. Теперь — как бы заново на свет народился.

Кейт. Нет, правда, независимо от чувств, которые я к тебе питаю, ты милашка. У тебя замечательное лицо. Мне приятно на него смотреть.

Вилли. Ты умница. Подвинься. Нет — ко мне.

Кейт. Ну, разве это не рай?

Вилли. Конечно, рай.

(Он увеличил громкость радио.)

Предместье. Мне кажется — это Модена. Мы едем не по той дороге.

Кейт. Что ж, давай повернем обратно.

Вилли. Нет… проедем еще немножко.

Кейт. Мне кажется, ты попусту тратишь время. Спроси-ка лучше вон того мальчишку.

Вилли. Как, черт побери, я его спрошу?

Кейт. Ну давай я спрошу.

(Мы остановились.)

Perdoni, scusi — Modena? Usine Maserati?

(Мальчик указал в том направлении, откуда мы приехали, и что-то сказал по-итальянски.)

Кейт. Grazie.

Вилли. Ты поняла, что он сказал?

Кейт. Нет, не совсем. Но все равно поворачивай обратно.

Вилли. Слушай, может, я все-таки сам буду вести машину, а? Я поверну там, где будет безопасно повернуть.

(Я как раз отыскала в сумочке карту Модены. И определила местонахождение завода Мазератти, не обозначенное на карте.)

Кейт. Поворачивай на… Там, там…

(Мы въехали в город. Увидели полицейского).

Тормози, полицейский!

Вилли. Какой смысл останавливаться, раз ты не понимаешь, что тебе говорят?

Кейт. Да уж как-нибудь поймем что надо.

Вилли. Ты, может быть. Я, черт, и слова не пойму.

Кейт. Да остановись же! Почему ты не останавливаешься? Нам нечего терять.

Вилли. Нечего, кроме моего здоровья.

Кейт. Останавливайся и не впадай в истерику, сынок.

(Мы подкатили к полицейскому, который стоял на маленькой площади с оживленным движением.)

Кейт. Scusi, Usine Maserati?

(Протянула ему карту.)

Полицейский. Si, Signora. Dritto, e al primo semaforo, girate a destra — Via Marghetta. E poi dritto al ponte è di nuovo a destra. La fabrica e alia destra. Avete capito.

Кейт. Si, grazie tante. Давай вперед…

Вилли (обращаясь к полицейскому). Благодарю.

Полицейский. Niente, Signore.

(Мы тронулись.)

Вилли. Что он сказал?

Кейт. Одним словом, поезжай прямо…

Вилли. Что он сказал?

Кейт. Прямо к первому светофору — Виа Маргетта…

Вилли. Да ты скажи мне, когда мы туда подъедем, я же не могу делать все…

Кейт. Поворачивай направо.

Вилли. Ты уверена?

Кейт. Поворачивай направо. Взгляни на ту церковь — восхитительно…

(Он повернул ко мне голову и не сразу отвел от меня свой взгляд.)

О Боже, какие художники итальянцы! Так, впереди мост, поворачивай направо. Осторожно, Вилли, — нам в ворота. Как зовут этого человека?

Вилли. Синьорелли.

(Мы въехали в ворота.)

Три часа… недурно.

Кейт. В той маленькой конторке кто-то есть.

Мы проехали через одни ворота, потом еще через одни. Территория завода выглядела как-то пустынно. Наконец мы въехали во двор, на противоположной стороне которого стояли здания и маленькая сторожка. Я направилась к ней. Вилли остался в машине. Вошла в тесную каморку с письменным столом, на котором стояли несколько телефонов. Стена со стороны двора была вся застеклена, так что Вилли видел нас, а

мы видели его. Он вылез из «фиата», потом достал из него свой портфель с документами на машину.

Кейт. Il Signor Signorelli per il Signor William Rose — un nuovo Maserati.

Привратник. Si, Signora Rose. Un momento.

Кейт. No — il non la Signora. Oh, non è importanto. Comprende?

(Привратник начал разговаривать по телефону.)

Привратник. Momento.

(Вилли вошел в сторожку с портфелем в руке.)

— Signore — momento.

(Привратник вышел.)

Кейт. Интересно, есть тут где-нибудь туалет?

Вилли. Прямо здесь, конечно, нет.

Кейт. А тебе не надо?

Вилли. Нет.

Кейт. С тобой приятно путешествовать: никогда не докучаешь.

Вилли. Просто у меня здоровые почки.

Кейт. Ну, четыре часа безвылазно в машине плюс бутылка вина подействуют на любые почки.

Вилли. Спросим у Синьорелли, когда он придет.

Кейт. Не стоит. Я сама справлюсь со своими трудностями. Забудь про это.

Вилли. Уже невтерпеж?

Кейт. Да нет. Пока только позыв.

(Привратник вернулся, с ним пришел господин Ретто.)

Господин Ретто. Signora — Господин Роуз…

(Мы обменялись рукопожатием.)

Синьор Синьорелли беседует по телефону. Я бы просил вас пройти со мной. Мы сначала осмотрим машину, потом оформим бумаги. Испытатель может показать вам, как управлять машиной, а мадам мы любезно попросим тем временем подождать. Вы не промокли?

Кейт. Нет, нет… Дождь совсем несильный.

Вилли. С тобой все в порядке, дорогая?

(Я проследовала за двумя мужчинами по двору и вошла за ними в заводской корпус.)

Господин Ретто. Вот ваша машина, синьор.

Она стояла совершенно потрясающая. Точь-в-точь цвета «Шато Лафит-Ротшильд» — красного вина, так им любимого.

Его цвет — его собственный, — купленный на ЕГО деньги, им самим заработанные…

Его машина… Знаменательное мгновение в жизни Вилли…

Вилли. Я не заказывал такие колеса — я заказывал со спицами…

* * *

Испытатель стоял с видом человека, показывающего нам все вокруг. А рабочие в цехе плюс многие из сборщиков на линии с интересом наблюдали, как американцы отреагируют на их машину. Вилли, стесняясь, не хотел показаться несдержанным, поэтому был настроен критически. Открыл багажное отделение. Я села в машину.

Вилли. Что бы вы могли сказать об этих колесах? Они кажутся такими тяжеловесными. Сколько времени уходит на их смену?

Кейт. Я думаю…

Вилли взглянул на меня.

Испытатель принялся подавать какие-то совершенно безумные знаки — не дайте синьору менять колеса!

Испытатель. Va bene — è megliore.

Кейт. Вилли, он хочет сказать… Этот человек, он говорит, что такие колеса обеспечивают водителю большую безопасность — опробуй их. Если не понравятся, они всегда могут прислать тебе со спицами.

Пока все это происходило, я сидела в машине, охала и ахала…

Потом мы прошлись вдоль линии и обратно — смотрели на их машины. Каких там только не было! Вилли решил оставить колеса.

Между тем несколько рабочих начали догадываться, кто я на самом деле — а я изображала из себя благородную даму, очень довольную машиной. Не соглашусь ли я сфотографироваться?.. Нет, это не я покупаю машину… это он. Да и вообще я не люблю… Очень хорошо, синьора…

Мы вышли из заводского корпуса и направились к сторожке. Синьорелли наконец закончил свой телефонный разговор. К этому времени все знали, кто я такая, и толпились у входной двери, чтобы взглянуть на меня. В основном это были женщины

— одна очень красивая. Я показала ей жестом, что хотела бы «помыть руки». Она провела меня через вестибюль в туалет. Этот Вилли… Теперь он сходит в туалет, потому что я скажу ему, где это. Но спросить не спросит — такой упрямый.

Я отвечала на вопросы по-итальянски и подписала бесчисленное множество автографов. Вилли вышел на улицу, чтобы прокатиться на машине. Наконец нам оформили документы, мы вынули наши вещи из «фиата», погрузили их в «мазератти» и, когда наступили сумерки, двинулись в направлении Флоренции… У меня была карта, лупа и фонарик.

Кейт. Он сказал налево.

Вилли. Направо — налево… Щетки, фары — функционирует. Жесткая…

Кейт. Что? Трудно управлять?

Вилли. Нет, просто жесткая, действительно… Какой дорогой?

Кейт. Прямо. Просто прямо. Он сказал, что мы никак не сможем проехать мимо. Ты доволен?

Вилли. Э-э… Хороший цвет, да?

Кейт. Д-да — красивый…

Вилли. То красное вино…

Кейт. Да.

Вилли. Из-за этих колес она кажется тяжеловесной.

Кейт. А мне колеса нравятся.

Вилли. Правда?

Кейт. Да, с такими она устойчивей.

Вилли. Ну, я думал, от колес со спицами она должна казаться более легкой — и не такой пижонской.

Кейт. Ну, какой смысл стараться выглядеть не пижонски в такой машине, как эта.

Вилли. То есть, ты полагаешь, она смотрится…

Кейт. Нет, не совсем.

Вилли. Не совсем — значит «совсем не»…

Кейт. Вилли, мне кажется, она просто прекрасна, и могу сказать тебе теперь, что не прочь бы заказать себе такую же. Комфортно и…

Вилли. Это автострада?

Кейт. Да — поворот. Отлично. А теперь безо всяких поворотов прямо до Флоренции.

Вилли. Ты не сможешь управлять ею. Очень тяжелая в управлении. Ну, понимаешь, — сцепление, педаль. Это мужская машина.

Кейт. Ты мужчина, Вилли.

Вилли. Так она действительно тебе нравится?

Кейт. Она и ты.

Вилли. Знаешь, когда я заказал ее, я чувствовал абсолютный… как бы это сказать… Все время думал о том, как чудесно будет… В общем, мысленно представлял себя за рулем — ты понимаешь, что я имею в виду…

Кейт. Вилли, подставь щечку.

Вилли. По-твоему, я дурак, да?

Кейт. По-моему, ты — прелесть. Ты радуешь меня. За рулем этой машины ты такой…

Вилли. Ты рада, что поехала со мной?

Кейт. Конечно, рада.

Вилли. Нам еще далеко?

Кейт. Ну, если мы едем во Флоренцию, а это, мне думается, лучше, чем Монтекатини, то давай туда. А там просто…

Вилли. Командуй парадом. Твое слово — закон.

Кейт. Боже, какая ужасная ночь. Я никогда не видела, чтобы шел такой дождь. Он тебе не мешает?

Вилли. В общем, нет.

Кейт. Ты очень спокоен.

Вилли. Возьми меня за руку.

Кейт. Вилли, — забавно, правда?

Вилли. Забавно? Ну, не знаю… Интересно.

Кейт. Ныряй, Вилли. Ныряй, — что тебе терять?

Вилли. Я не умею плавать…

Кейт. Я спасу тебя…

Вилли. Интересно, как…

Кейт. Ты спасешь меня.

Вилли. Вероятнее всего.

Кейт. Вероятнее всего, я дам себя спасти, если ты соберешься с мыслями и напишешь мне сценарий.

Вилли. Ты ради этого и поехала со мной?

Кейт. Да нет, конечно. Просто я не могла забыть тебя.

Вилли. А пыталась?

Кейт. Ты видел меня насквозь, Вилли, до затаенных уголков моей души.

Вилли. Разве у тебя есть душа?

Кейт. Кстати, закрой ту дверцу, а?

Вилли. Я не люблю сквозняков. Я чувствителен к простуде.

Кейт. Благодарю.

Вилли. Куда мы едем?

Кейт. Что ты имеешь в виду?

Вилли. Во Флоренции. В какую гостиницу?

Кейт. Насколько я помню, на этой площади, на реке, есть две:

одна весьма уютная.

Вилли. Как называется?

Кейт. Когда подъедем, я узнаю ее по виду…

Вилли. Ничего не можешь запомнить, да?

Кейт. Я тебя помню.

Вилли. Интересно.

(Он перестроился в крайнюю полосу дороги.)

Я любил тебя при всем том, что у меня было. Тогда во мне мало что было. Но я так любил тебя — мучительно.

Кейт. Может быть, чересчур мучительно.

Вилли. Не будь жестокой.

Кейт. Какая же я жестокая, Вилли! Ведь я, согласись, здесь? Разочаровала, не так ли?

Вилли. Послушай, солнышко, все разочарованы. Такой хороший сценарий ничто бы не спасло.

Кейт. Я знаю, что ты имеешь в виду. Это справедливо. Но только отчасти. Мне нужно что-нибудь более надежное.

(Вилли снова завел машину, и мы поехали дальше.)

Вилли. Только для временного облегчения. Если боль не проходит, перестань принимать лекарство и проконсультируйся с врачом.

(Мы ехали молча.)

Кейт. Боль не проходит.

Вилли. Я не врач.

Кейт. Ты мой врач.

Вилли. Интересно… Интересно, если бы…

Кейт. Знак. Флоренция.

(Он взглянул на меня. Разве мне не важно, чем он закончит предложение?)

Вилли. Где мне поворачивать?

Кейт. Я скажу. Ты хотел что-то сказать…

Вилли. Понятия не имею, что я хотел сказать. А тебя это, видимо, вовсе и не интересовало, иначе бы ты не стала меня перебивать.

Кейт. Господи, милый, я вовсе не перебивала тебя… Знак!

Вилли. Знак! Какое мне дело до какого-то знака?!

Кейт. Но он показывает направление на Флоренцию. Ведь там нам придется ночевать…

Вилли. Кто тебе сказал?

Кейт. Но, Вилли, мы же решили…

Вилли. Что значит — мы? Решила ты… Ты решила — как обычно…

Кейт. Но не можем же мы раскатывать всю ночь под проливным дождем.

Вилли. А что тут такого? К тому же мы собирались потолковать о нас с тобой. И что нам делать с этим… Так или нет?

Кейт. В общем-то да… Но…

Вилли. Господи, да ты скажи прямо, что надо сделать. Все те уловки, к которым ты прибегаешь, стоят, вероятно, того, чтобы услышать, что же именно надо сделать…

Кейт. Направо.

Мы свернули и в полной тишине въехали во Флоренцию. У меня была карта города, фонарик и лупа.

Вилли. А тебе не лучше было бы в очках? Я хочу сказать, что вместо того чтобы тратить столько энергии на… Я помню, конечно, что зрение у тебя идеальное, однако…

Кейт. Нет, все эти принадлежности мне ничуть не мешают. К тому же я и в очках все равно не смогла бы читать карту…

Вилли. Разве?

Кейт. Я пробовала…

Вилли. Значит, очки у тебя все же есть?

Кейт. Да, есть… Просто я не ношу их.

Вилли. Может, они просто слабы, чтобы ими пользоваться. Попробуй мои…

Кейт. Нет, благодарю покорно — обойдусь… Налево…

Вилли. Ты знаешь, куда теперь ехать?

Кейт. Да, вниз к реке, потом выедем к площади, а потом будут две… Ну вот, теперь поворачивай, — две гостиницы… Вон та наша — «Гранд»…

Вилли. Похоже, в ней идет ремонт.

Кейт. Лучше не сыщется, да и не шумно тут, у реки. К тому же всего на одну ночь.

Мы подъехали со стороны двора, где было припарковано довольно много машин. Остановились. Сразу же появился швейцар — подскочив к машине, он распахнул дверцу.

Вилли. Можно на ночь поставить машину в гараж?

Швейцар. В гараж?

Вилли. Да. Сам сможешь отогнать?

Швейцар. Синьор! Как здорово! Она такая красивая!

Вилли. Благодарю.

Кейт. Откройте багажник и отнесите все в холл.

Швейцар. Si, Signora.

Парень открыл багажник, вытащил из него все сумки. Подбежал другой и потащил их внутрь. Вестибюль был маленький. Я направилась к стойке администратора.

Кейт. У вас есть две комнаты — с ванными?

Администратор *(женщина)*. Ах, синьора, мы так рады принимать вас здесь…

Кейт. Благодарю.

Администратор. Совмещенные?

Вилли. Нет.

(Она взглянула на него.)

Кейт. Нет. Но не слишком далеко друг от друга. И чтобы очень красивые.

(На нас молча глядели из-за стойки администратора.)

Администратор. Паспорта?

(Мы подали свои паспорта.)

Благодарю.

* * *

Администратор взяла солидную связку ключей. Мы сели в лифт. Остановились. Прошли один длинный коридор, потом другой. Наконец оказались в комнате — тесной.

Кейт. Чересчур маленькая.

Администратор. Они все маленькие… Может, двойной номер?

Кейт. Да, конечно. Два двойных.

Администратор. Мне придется сходить за другой связкой. Perdoni…

(Администратор ушла. Мы сели на диван в коридоре.)

Вилли. Интересно, что они думают, когда видят в паспорте наш возраст? Ха-ха-ха! Можно, я скажу глупость?

Кейт. Почему бы и нет?

Вилли. «Дочери американской революции» и «Бойскауты Америки» — две наиболее благородные организации за всю историю Америки.

Кейт. Вилли, как ты можешь! О!.. Как гадко! Но вопрос ты задал веселый. Действительно, было бы очень интересно узнать, что они думают…

(Вернулась администратор с ключами.)

Администратор. Синьор, синьора…

(Она открыла другую дверь.)

Кейт. Это намного лучше — чудесно.

Вилли. Теперь еще одну — для меня.

Администратор. Не совмещенная, но рядом.

Вилли. Благодарю. Я пошел — помоюсь немножко.

(Уходит в свой номер.)

Вилли *(звонит).* Ты в порядке?

Кейт. Заходи. Все нормально. Знаешь, тут есть холодильник — и шампанское.

Вилли. Дай мне.

Кейт. Ты, наверно, с ног валишься — весь этот дождь, и новая машина.

Вилли. В известном смысле…

Кейт. Но, наверное, доволен…

Вилли. Конечно, доволен.

Кейт. Так удобно, необычно…

Вилли. Будь здорова!

Кейт. Будь здоров!

Вилли. Ну, что ж, все так удачно — никаких осложнений. Я очень счастлив. А ты?

Кейт. Да, я очень счастлива.

Вилли. Может, поужинаем внизу?

Кейт. Думаю, нам это не повредило бы.

Мы пошли в ресторан. Нас поместили в своего рода альков. Все очень мило. Потом мы прогулялись вдоль Арно. Потом назад в гостиницу, до самой моей двери.

Вилли. Спокойной ночи, дорогая.

Кейт *(громко вслед ему, уходящему по коридору).* Тебе не постирать носки и трусы?

Вилли. Издеваешься?

Комната была приятная, ванная симпатичная. Я умылась. Достала все свои маленькие фотографии: Спенс, Мама, Папа. Долго глядела на них. Это мои люди, кому я предана, кто предан мне. И я поневоле задалась вопросом, что я здесь делаю? Чего я хочу? Чего хочет он? Я пришла к выводу, что мы оба находимся в полном отчаянии — с утра до ночи. И ни один из нас не избавится от этого.

Я находилась в лучшем, чем он, положении, потому что могла опереться на добрых-добрых друзей. У него была дочь, которую он держал на расстоянии, — как вообще всякого — из страха обжечься.

Этот человек был во власти гордыни. Он был обижен, и

обижен жестоко. Но когда? Его всегда высоко ценили как писателя и до «Женевьевы».

Но, может, с его точки зрения, не столь высоко, как он этого заслуживает?

А может, причина в чрезмерной скрупулезности?

Он, конечно, очень ревностно относился к своей работе — словно новичок. Помните, когда я раскритиковала имя Джой — как он отреагировал!

Я ценила его очень высоко, насколько это возможно по отношению к мужчине. Я чувствовала, что если и есть кто-то, достойный имени «писатель», так это он. Никаких трюков. Никакой низкопробности. Глубокий классический талант. Но по какой-то причине мне не нравилось имя Джой. Насколько же неуверенно должен чувствовать себя человек, способный вообразить, будто мой выпад означал нечто большее, чем просто отражение моего вкуса. Ведь вся моя критика сводилась к одному: мне не нравилось имя. Конечно, свербила мысль: «А что она имеет в виду? Надо над этим подумать». Господи Боже мой!

Я казалась себе мышкой рядом с гигантом. Но неужели этот гигант чувствовал себя в глубине души мышкой?

Любой мало-мальски умный человек не чувствует себя таким образом. Но стоит человеку испытать успех в своем ремесле, как он отрывается от окружающей среды: вероятно, потому, что знает, что получил, в сущности, то, чего добивался, что он, конечно же, не как все. И это проклятие, разумеется, не радует его, лишает его уверенности в своих силах. В чем причина?

Я не думаю, что люди, наделенные чувствительностью, способны мнить себя некими пупами земли. Но куда там! Находясь с ним, не знаешь, что сказать. Вилли — единственный автор в мире кино, о котором мне никогда и ни от кого не доводилось слышать критики, — все им восхищались.

И для женщины, которая в силу своего воспитания убеждала детей, родителей — зрителей — ничего не говорить о противоположном поле, иначе говоря, питать к себе уважение, встреча с человеком вроде Вилли была равнозначна великому потрясению.

На его месте, с его талантом я бы ко всему относилась как Всевышний в миниатюре. Конечно, я уверена, что Вилли был бы рад вернуться к своему ремеслу. Но сможет ли он? Ответ на этот вопрос хотели бы получить многие критики, артисты — именно об этом говорил и Алан Джей Лернер. Он тоже большой поклонник Вилли. Мне кажется, что писатели — мученики. И когда приходит старость, глубина и мудрость, им становится только трудней.

Как бы там ни было, мне бы хотелось накостылять Вилли, но в действительности единственный, кто может сделать это, — некто, обретающийся ТАМ, любящий ЕГО, — так что ему, как это ни странно, ничто физически не угрожает. А потом в один прекрасный день он начнет. В сущности, это счастливая проблема, поскольку в большинстве своем люди не способны сделать что-либо — не суть важно, что именно они делают, или не делают, или пытаются делать.

Я отлично выспалась, хотя за окном всю ночь жутко шумел ливень. Мы с Вилли пришли к решению выехать около девяти: кто первым проснется, тот первым и позвонит. Я заказала в номер обильный завтрак и принялась изучать карту. Телефонный звонок.

Кейт. Да… Привет, Вилли… Замечательно… Чудесно… Правда?.. Девять — ладно… Я оставлю дверь открытой… Велеть им подогнать машину?.. Хорошо.

Я оделась. Оставила чаевые для служанки, упаковалась, открыла дверь, поставила возле нее свои сумки. Пришел Вилли. Мы вызвали швейцара. Заплатили, Вилли заплатил. Швейцар ставил вещи в машину. Я подошла к нему.

Кейт. Нет, эту сумку сюда, эту туда. Потом поставите вот это сюда, а…

(Швейцар и Вилли стояли как побитые. Потом мы сели в машину.)

Вилли. Куда ехать?

Кейт. Едем той самой дорогой, по какой гуляли вчера вечером. Вниз, направо, а потом — когда скажу — налево: мне очень хочется проехать мимо Баптистерия, ворот Джиберти. Ведь это так восхитительно, к тому же нам все равно по пути…

Вилли. О!

Кейт. Если бы удалось припарковаться, можно было бы осмотреть все вблизи.

Вилли. Нет!

Кейт. Ну, тогда просто объедем вокруг.

Вилли. Ладно. Не забудь, что нам надо погрузить машину на пароход. Он должен прибыть в Сан-Мало в пятницу. Было чертовски трудно достать билет. На другой пароход мы никак не попадаем, а путь предстоит немалый.

Кейт. Ладно. Хотя, Вилли, сегодня ведь только второй день. Вторник. И потом — ехать не так уж и далеко.

Вилли. Ровно полторы тысячи километров, и для меня это —

далеко. Ведь я за рулем.

Кейт. Ладно, ладно. Как бы там ни было, вон по той улице…

(Он взглянул на меня.)

Так надо. На той, по которой гуляли вчера вдоль реки, — одностороннее движение.

«Арриведерчи» — швейцару, которого Вилли с чрезмерной щедростью отблагодарил чаевыми. И мы тронулись в путь. Движение было очень оживленное.

Кейт. Здесь налево.

Вилли. Нельзя — здесь одностороннее движение.

Кейт. О Боже. Ладно, поезжай вперед, а на следующем перекрестке повернешь налево.

Вилли. Жаль все-таки, что у меня нет с собой зрячего гида. Ты вот все смотришь и смотришь в свои карты, а ведь вряд ли знаешь даже то, в какой стране мы сейчас находимся. В результате — благодаря тебе — мы едем не в том направлении по улице с односторонним движением.

Кейт. Тут не написано, то есть не обозначено, куда ведут улицы… Теперь налево — нормально.

Вилли. Значит, сейчас мы движемся именно в том направлении, в каком тебе хочется ехать? Я хочу сказать, что ты, выходит, все-таки видишь, когда хочешь видеть?

Кейт. Надеюсь, что да. Ты молодец.

Вилли. Да это все от езды по городу.

Кейт. О Господи. Понимаю… Я бы с ума сошла… Пожалуйста, направо.

Вилли. Интересно, будет ли снова дождь?

Кейт. Боюсь, что да…

(Въехали на площадь.)

Медленно езжай по кругу, может, удастся припарковаться. А вот и Баптистерий.

(Я стала читать надпись.)

Вилли. Почему ты не смотришь на само здание? Прочесть-то про него можно и после.

Кейт. Вот ворота.

Вилли. Я не умею смотреть спиной.

Кейт. Это церковь. Паркуйся здесь.

(Мы заняли свободное место; нас тут же обругали по-итальянски.)

Вилли. Послушай, это частная стоянка. Для автобусов или что-то вроде этого.

(Пришлось выехать.)

Кейт. Давай еще раз по кругу, как можно медленней…

(Я снова стала читать.)

Вилли. Послушай, не утруждай себя чтением. Я все это сам читал. Было построено тогда-то и тем-то…

(Он перечислил некоторые детали истории Баптистерия.)

Кейт. Когда, черт возьми, ты все это успел узнать, но что самое забавное, — как ты все это запомнил?

Вилли. Главное — сосредоточиться.

Кейт. Да брось ты.

Вилли. Ну а ты что, не можешь?

Кейт. Не знаю, Вилли. Правая развилка. Мне кажется, что у меня все вылетает из головы из-за возбуждения. Запоминается цвет, форма, расположение вещей и предметов. Я всегда могу воссоздать все свои шаги.

Вилли. Это я заметил.

Кейт. О, ты… Но это было здорово, да?

Вилли. Я был сбит с толку. Ты уверена, что это нужная нам дорога?

Без особых хлопот выехали из Флоренции на большую автостраду, которая вела в Пизу. Миновали Монтекатини, потом Лукку — очаровательный город, хотя и его мы не видели, потому что не свернули с автострады. Выехали к побережью. Мне хотелось по меньшей мере добраться хотя бы до Пизы, до которой от побережья, если двигаться на юг, оставалось всего несколько километров, — взглянуть на нее хотя бы мельком, а уж потом двинуться на север.

Очень скоро стал накрапывать мелкий дождь, а потом хлынул настоящий ливень. Длинные колонны грузовиков делали обгон почти невозможным.

Вилли. Ты уверена, что это та дорога?

Кейт. Да, это единственная дорога.

Вилли. Я не могу обгонять. Слишком опасно.

Кейт. Прошу прощения — из Модены нам, очевидно, следовало поехать обратно на север.

Вилли. Как мы могли это знать?

Кейт. Я ездила по этой дороге раньше. Именно по этой самой дороге. Теперь я вспомнила.

Вилли. Да?! С кем же?

Кейт. Тебе так важно, с кем? Я не знаю.

(Едем в полном молчании.)

Посмотри, какой замечательный цвет вон у того дома?

Вилли. Да, замечательный. Ты хочешь уверить меня, что не в

состоянии вспомнить, с кем ты была, когда ехала по этой дороге?

Кейт. Ну, наверно, с Мамой и Папой.

Вилли. Я не верю, что ты сказала мне именно то, что только что сказала.

Кейт. Что же тебя не устраивает в том, что я путешествовала с Мамой и Папой?

Вилли. Думаю, что мамочку и папочку ты оставила дома. Ты отлично помнишь, с кем ты тогда путешествовала.

Кейт. Вилли, ты не прав…

Вилли. Ну и денек выдался.

Дорога шла по холмистой местности, то поднимаясь в горы, то спускаясь в долины. Миновали Женеву, потом ехали по южному берегу Франции, где так много замечательных курортных городков.

Разговор наш носил подчас куда менее деликатный характер, чем вначале. Он устал, а я — честно говоря, — я тоже.

Последняя перед паромом остановка.

Кейт. Кажется, здесь можно пообедать.

Вилли. Послушай, я умираю от усталости. И не хочу обедать. Единственное, чего я хочу…

Кейт. Чего же?

Вилли. Не думаю, чтобы тебе действительно хотелось знать.

Кейт. Мне действительно хочется знать.

Вилли. Ты уверена, что правильно поступаешь? Ведь так можно и правду невзначай услышать.

Кейт. Ну и что?

Вилли. Ты уверена?

Кейт. Абсолютно.

Вилли. Когда я сказал, что не хочу обедать, я говорил правду. Я действительно не хочу обедать. Просто хочу пойти в свою комнату один и отдохнуть.

Кейт. Ну и что ж тут особенного? Я была бы рада сделать то же самое.

Вилли. О, неужто?

Кейт. Да.

Вилли. Ну что ж, давай. Устраивайся. Не буду тебе мешать. Устраиваться — это ты, бесспорно, умеешь делать замечательно.

Кейт. Боже мой, Вилли, что с тобой?!

Вилли. Знаешь, оставь меня в покое, ладно! Я хочу припарковать машину вот здесь… Что ты возьмешь с собой?

Он остановил машину, достал из багажника мою сумку и

направился в маленькую гостиницу, чтобы взять ключ от комнаты, забронированной на его имя. Я подождала некоторое время, потом взяла ключ от своей комнаты.

Н-да… Жизнь, жизнь. Что теперь? Надо ли ехать дальше этой дорогой? Стоит ли? Ладно, надо заказать обед. Какая же свинья!

Я с удовольствием поела, потом с удовольствием поспала.

Стук! Стук!

Кто, черт возьми!

Вилли. Привет, солнышко! Ну и видок у тебя. Готова к отъезду?

Кейт. Как чувствуют себя сегодня утром американские бойскауты?

«Зеленая кукуруза»

Ну вот. Вещь почти закончена. То есть сейчас она монтируется. А поскольку я на Восточном побережье, а они на Западе, то мало чем могу повлиять на этот процесс.

Снова Фенвик.

Лежа в постели, наблюдаю, как восходит солнце — в промежутке между двумя маяками. Над болотистой, заросшей травой низиной. Кружат птицы. Семейство белых цапель. Пролетают с клекотом дикие гуси. Промелькнул альбатрос. Солнце постепенно все ниже встает по утрам — зима. Я еще ни разу не наблюдала в этом году, как оно совершает свой дневной путь, потому что находилась в Лондоне, где работала, не жалея сил. Солнце уже скатилось к югу от внутреннего маяка. Время бежит. Да. Не упускай его.

Да, так вот, я вернулась. Они посмотрели все фотографии. Они — это братья, сестры. Дик знает пьесу «Зеленая кукуруза». Для остальных это — китайская грамота. Но не подают вида. На фотографиях я в костюмах 1890 года. Чрезмерно полновата вроде бы. И старше той, какой я себя знаю. Ничего удивительного, ведь я съела шесть початков кукурузы, которые мы наломали на ферме Виджиано, когда приехали с 95-го шоссе.

Миссис Виджиано сказала:

— Это вам не что-нибудь, а кукуруза.

Тор, мой племянник, — великий любитель шоколадного мороженого — тоже съел шесть початков. И громадный кусок пирога с цукини. Прием был радушный. Дик приготовил громадный окорок и большущее блюдо с макаронами и сыром. И еще — миску очищенной моркови, нарезанные ломтиками помидоры, хрустящий длинный огурец, листья салата и свежую

петрушку. Берите, чего душа желает.

Я делаю французский соус. Дик — свой собственный майонез и чеснок.

Когда приступили к десерту, появились Мэрион и Эл (сестра и ее муж) со своим внуком Джейсоном. Их приглашали на обед? Приглашали? Тогда надо было дождаться их! Как бы там ни было, еды предостаточно, и они, взяв стулья, сели за стол. Что же, теперь все в сборе.

Моя семья. Дик и сын его Тор. Боб и его жена Сью. Мэрион и ее муж Эл. Пег и ее муж Том. Полный комплект. Мы вели разговор обо мне и показывали фотографии.

— О, Кэтти, ты прекрасно выглядишь.

— Что это? О, мальчик? Что за мальчик? О! Ну да!

— Девочка? Что у нее за роль?

Они старались, но очень трудно ходить по неведомой тебе территории. И скоро мы начали беседовать уже не обо мне и Уэльсе, а о…

— Слушай, давай я расскажу, что случилось сразу после твоего отъезда.

Тем не менее они были рады видеть меня. А я рада видеть их. И еще я плавала и обожглась о медузу. Я — дома.

— Смотри — разбитое оконное стекло. Что же до сих пор никто его не вставил? Какая досада! А куда делся стопор, который был закреплен на полу? Дверь бьется об угол стола. Ладно, я схожу в скобяную лавку, куплю новое стекло и стопор и укреплю его.

В скобяной лавке:

— Привет, Кэти. Вернулась?

— Да. Мне оконное стекло тридцать на двадцать. Чудесно…

— Нет… Эта шпаклевка лучше… Работа серьезная, Кэти. Будь поосторожней, когда будешь вынимать стекло. Оно очень хрупкое.

Все оказалось правдой. Работа тонкая — заняла у меня три часа. Кто сказал, что плотникам переплачивают? А как быть с дверью, которая не закрывается?

О, ведь я начала рассказывать о фильме «Зеленая кукуруза». Веселая была пора. Поначалу я вела дневник. Потом все пошло так ужасно, что у меня просто не хватало духу записывать происходящее.

О предложении участвовать в экранизации пьесы Эмлина Уильямса я узнала от Джорджа Кьюкора.

Телефон: дзинь-дзинь.

— Кейт, это Джорджи. Алан Шейн — глава «Уорнер ТВ» — лелеет мечту экранизировать с твоим участием «Зеленую

кукурузу».

— О, Джорджи! Да, я читала. Но, дорогой мой, ее ставили сотню раз. А как быть со всеми теми незаконнорожденными детьми? О нет. Пожалуй, нет… Да, конечно, я прочту еще раз, но… Ты ведь знаешь, что по ней собирались ставить мюзикл. Заменили горняков на безработных негров. Глупо… Ладно, я хочу сказать, вышел полный прокол… Да, конечно, я прочту еще раз… Да, Джордж. Я знаю, ты сделал из меня то, чем я сейчас являюсь… Нет, не забуду. Ты не позволишь мне…

Достала пьесу. Прочла.

— Привет, Джордж! Я прочла. Замечательно. В ней огромный заряд энергии и надежды… Да. В ней есть нечто такое, что заставляет идти вперед, а не пятиться назад. Она о человеке, который направляет в будущее колеса собственной жизни, а не думает постоянно: вот я делаю ошибку за ошибкой; у меня было несчастное детство, я ничего не умею — только ныть. Постоянная радость от познавания жизни и затем — применение на практике нового знания. Продвижение вперед. Открывание двери под названием «ЖИЗНЬ». Познание ее неисчерпаемых возможностей — для тех, кто способен по-настоящему трудиться… Да, Джордж… Да, да, я согласна. Чудесная пьеса. И веселая. Вот уж я насмеялась. Но и наплакалась вволю… О, конечно… Чудесная роль. Создана для меня. Такая удача. Живая, не полудохлик… И другая — для настоящего парня. И та девчонка. С характером и такая забавная. Все роли отличные, правда?.. Нет… Калифорния не годится. Снимать нужно в Уэльсе… О да, я согласна. А второй парень? Правильно. Обязательно должен быть валлиец. Натура валлийская… Нет. Подделывать нельзя. Как в «Африканской королеве», которую снимали в Африке. Когда обращаешься к первоисточнику, открываешь нечто такое, чего совсем не ожидаешь. Нечто такое, что заранее просто невозможно себе вообразить. Воздух, холмы, свет, туман, мягкая вода. А язык! Такой необычный. Трудно воспринимаемый на слух. Произношение — повышение и понижение интонаций. Удвоенное «л». Язык — к нёбу, задержать там. Теперь произнести «л». А удвоенное «д»? Произносится как «th». Невозможно сымитировать — нужно действительно там родиться. А люди? Глаза широко поставлены. Крепкие. Сильные. Немногословные. Независимые. И чувство юмора. Что касается шахтеров, то они действительно особая порода. Это от постоянной опасности для их жизни? Именно поэтому они такие простые и прямые?

Решение было принято. Мы с Кьюкором отправились в Лондон, чтобы подобрать состав и поискать места для натурных съемок в Уэльсе.

Первая настоящая трудность состояла в том, чтобы найти исполнителя роли Моргана Эванса. Без этого просто-напросто не имело смысла браться за картину. Это самая характерная роль. Темный, безграмотный парень восемнадцати лет, работающий в шахте, превращается — по сценарию — в молодого человека, сумевшего поступить в Оксфорд, в Тринити-колледж.

Поэтому нам нужен был классный парень — умный, энергичный и, разумеется, способный вызвать неподдельный интерес у публики. С огнем и теплотой во взгляде.

Нам прислали списки претендентов — хорошо известные актеры. Без особого труда можно было сказать сразу — «да» или «нет». Но необходимо было просмотреть и неизвестных. Ассистенты, отвечающие за подбор актеров, обязаны связываться со всеми агентствами, просмотреть школы, колледжи, маленькие театры, театры с постоянной труппой. А их — легион. Кроме того, обязаны знать актеров, только что появившихся в городе.

И вот — список молодых актеров, из которого нужно было попытаться выбрать одного на роль Моргана Эванса. Первым в списке значился Иэн Сейнор. Валлиец. В Лондоне — три недели. За плечами — опыт работы в одном из валлийских театров. Играет роли на валлийском и английском языках. Самые разные.

Первый день. Появился Иэн Сейнор. И мы все онемели: у него был именно «тот» взгляд. Рост — за метр восемьдесят. Темные каштановые волосы. Глаза широко поставлены и изумительного зеленоватого цвета. Хороший голос. Молодой человек, мечта о котором стала явью. Он прочел нам роль. Чудо расчудесное — похоже, он действительно способен сыграть. Первый, кто пришел на просмотр. Это была слишком большая удача, чтобы быть правдой.

Конечно, мы не могли сразу оставить роль за ним. Это было уж чересчур. Мы продолжали искать. Проверили еще трех юношей — Иэн был вне конкуренции. Мне думается, что Джордж Кьюкор сделал на него ставку в первый же день. Он все говорил:

— Это то, что нужно. К чему просматривать дальше?

Меня же всегда тянуло узнать, что там, за углом? Таким образом, Иэна держали в неведении восемь недель. Потом устроили ему проверку еще раз. Наконец ему сказали, что он утвержден на роль.

Нашли и актрису на роль девочки. Вернее сказать, она сама нашлась, то есть сама пришла. Тойа Уилкокс. Рост — ниже среднего. Тонкая талия. Большая грудь. Кожа — как внутри раковины. Глаза…

О, я ничего не сказала о зубах этого юноши? Это — ЗУБЫ. Ему следовало бы вынуть их все и продать арабам. Роскошные.

Да, так вот, глаза Тойи тоже были широко поставлены. И светились мыслями — плутовскими, греховными. Глаза, которые так много обещали. К тому же такие веселые. Любит жизнь и… Она прочла роль на пару со мной. Джордж и я плакали.

Надо вам сказать, что, когда я возвращалась из дома Джорджа пешком к себе, мне пришла на ум мысль.

Кстати, Джордж жил на Итон-сквер, № 95. Снимал квартиру. Гостиная нормальная — не большая, не маленькая. Мебель с неопрятной обивкой. Два окна с видом на площадь. Две спальные комнаты. Одна — с ванной, совсем крохотная. Туалет, раковина — маленькая. В спальне, которая побольше, — два окна. Внушительный стенной шкаф. Здание ремонтировалось — хаос: ковров нет, краска со стен соскоблена, постоянный шум. Лифт почти всегда занят — перевозит рабочих и их материалы. И все это — за три сотни фунтов в неделю, то бишь шестьсот долларов. Цены в Лондоне — полный мрак.

Я тоже жила на Итон-сквер — вниз по улице от квартиры Джорджа. В доме Бобби Хелпмана. Огромный, просто очаровательный сад — повезло. Я прожила там, пока мы вели съемки. Никаких тебе дорожных знаков. Никаких запретных зон. Хочешь — гуляй, хочешь — катайся на велосипеде.

Так вот, когда я возвращалась пешком от Джорджа к себе, в голову мне пришла мысль: как быть с теми двумя молодыми людьми, которых мы только что просмотрели? Они очень симпатичны. Кто будет глядеть на тебя, Кэти?

О, ты будешь великолепна, Кейт. Эта роль прямо-таки для тебя.

Я не могла об этом не думать… Интересно, что говорили Джеку Бэрримору, когда он решил сняться в «Билле о разводе»? О Джейн Коул, когда она снималась в «Искусстве и миссис Боттл» — с теми молоденькими девушками-актрисами, мечтающими о славе? Юными, красивыми, энергичными.

Разве теперь не твоя очередь, Кэти? Черт возьми, кому это интересно? Замечательная пьеса? Да. Вот о чем тебе надо думать. Но ты все-таки думаешь об этом, Кэти? Верно? Что ж, я не идиотка…

Но ведь это жизнь, правда? Ты рвешься вперед и добиваешься успеха. Ты все еще рвешься вперед, но кто-то обходит тебя. Потом кто-то обходит его или ее, тебя обогнавших. Законы времени.

Остальные роли распределяли позже. На роль мисс Ронберри мы хотели взять Анну Мэсси. Она согласилась. На роль миссис Уотти планировалась Патриция Хейес. Мистера Джоунса должен был сыграть Артро Моррис, валлиец. Наконец, свободен был Билл Фрейзер — он мог сыграть сквайра. Все, слава Богу, согласились

участвовать. Вот и все относительно состава актеров.

В действительности же он складывался постепенно — в течение нескольких недель начиная со дня нашего приезда. Кармен Диллон, приглашавшая актеров на фильм «Любовь среди руин», находилась в Уэльсе в поисках натуры. Это была женщина с удивительно безошибочным вкусом. Энциклопедические знания и богатое воображение. Уникальная женщина. Между прочим, всегда готовая к познанию нового. Джордж всегда привлекал Кармен, если было возможно.

До своего отъезда из Соединенных Штатов мы переговорили со всеми ключевыми фигурами — оператором, звукорежиссером, костюмером. И с теми, кого могло бы заинтересовать участие в работе над картиной. И все — старинные друзья Джорджа и мои, с которыми мы работали раньше. Все шло как нельзя удачно, мы были счастливы.

В день своего приезда в Лондон я знала, что перво-на-перво необходимо раздобыть костюмы. События пьесы происходили в 1890 году. Художник по костюмам у нас был блестящий. И веселый вдобавок. Он встретил меня с роскошным букетом цветов. Мимоходом заметил, что на уик-энд уезжает из дому, поэтому с ним нельзя будет связаться по телефону. Я позвонила ему в понедельник.

— Привет. Цветы были красивые. Ты — душка. И я так рада, что ты с нами… Что я? Не получила ли твоего письма? Нет. Письма нет. О чем оно? Ты не… Что?.. Ты не участвуешь в картине? Принял другое предложение? Что ты имеешь в виду — что, черт возьми, ты имеешь в виду?.. Ты не предполагал, что мы начнем так скоро? Но почему? Почему ты не позвонил? Если у тебя появилось более выгодное предложение, почему ты не мог просто позвонить и сказать: «Кейт, у меня более выгодное предложение»? Боже мой! Просто кормить нас обещаниями, и теперь, когда мы готовы… Тебя надо проучить. У тебя было несколько месяцев… У меня просто в голове не укладывается.

Да-да, ясно. Не подумал о телефоне… Ты не знаешь, что сказать? Это Я не знаю, что сказать. Итак, мне нечего тебе сказать, да? И тебе нечего сказать. Какой ты…

Но ведь мы друзья. Ты не можешь так запросто подвести друга. У меня это не укладывается в голове. Ведь так легко было позвонить и сказать: «Послушай, Кейт, я получил чудесное предложение и намерен его принять. Ты не возражаешь? Можно заработать столько-то и столько-то. Они платежеспособны. Я проверил. Такой-то мог бы заменить меня…»

Ну конечно, я была бы чрезвычайно огорчена. Но я бы сказала ДА. Мне пришлось бы согласиться. Вот что значит дружба. Но

безо всяких причин так подвести нас… В последнюю минуту. Тебя просто надо проучить… Я в шоке — просто в шоке. Нельзя вести себя таким образом…

Но люди ведут себя так. И он поступил так же. Мы остались без костюмера. И никого, кто мог бы его заменить.

Нил Хартли, наш продюсер, с большим опытом работы в Англии, взялся подыскать кого-нибудь еще. Он позвонил Дэвиду Уокеру, который работал у него и Тони Ричардсона на «Атаке легкой бригады». Уокер поначалу не соглашался, но, поняв, что у нас действительно безвыходное положение, сжалился и согласился-таки.

Работать ему пришлось в страшном темпе — никаких примерок. Наконец он убедил Джин Ханнисетт взять на себя заботы о наших с Анной Мэсси костюмах. Мы с облегчением вздохнули. Но другие! Еще три модели по образцам 1890 года делались в Лондоне. Костюмы, которые можно было взять напрокат, были разобраны театрами. Достать что-нибудь в готовом виде, особенно мужскую одежду, было практически невозможно. Мы с Джорджем сели в лужу. Цейтнот по всем статьям: ни поразмышлять, ни подискутировать, ни подыскать подсобный материал, ни выяснить взаимные претензии. Я хочу сказать, что ему надо было бы изучить мои недостатки: воротники на платьях следовало делать более высокими; свободные складки, чтобы скрыть расширение вен здесь, сутулость — там. Ему надо было ознакомиться с этой ВЕЩЬЮ — со мной.

Один из самых веселых дней. Я ждала прихода Дэвида Уокера, чтобы обсудить с ним, как в общем и целом должна выглядеть мисс Моффат — цвета, ткани. К моему ужасу и изумлению, он явился в сопровождении мисс Ханнисетт — той самой, которой надлежало шить платья. Она показалась мне очень милой, знающей свое дело особой. Ей нужно было снять с меня мерки. Она открыла сумочку необычной формы и достала оттуда очень маленький корсет. Я как бы невзначай взглянула на него. Талия примерно в сорок сантиметров, подумала я. Она взглянула на меня и тут же опустила глаза.

— Да?

Она пыталась скрыть свою тревогу.

— Мне всегда казалось, что у вас очень… То есть, когда смотришь на вас в кино, кажется, что у вас такая маленькая…

Ну конечно, в ее представлении не теперешняя я, а я — та, из кинофильмов, снятых тридцать — сорок лет назад, когда размер моей талии составлял тридцать шесть сантиметров. Она принялась молниеносно расшнуровывать спинку корсета, но

шнуровки не хватило, чтобы сделать спинку достаточно широкой для талии, которую она теперь видела перед собой.

— Мы примерим сейчас… Хотя нет… Вообще-то лучше будет, если я… Дайте-ка подумать… Ну что… Мисс Хепберн… видите ли… В общем, я не уверена, что вам нужен корсет. Я хочу сказать… Я понимаю, что вы снимаете ваши платья после каждого эпизода… Да… Наверно, вам будет очень неудобно…

Дэвид Уокер вступил в разговор, чтобы выручить мисс Ханнисетт.

— Вы будете носить жилетки. Мы раздобудем жилетки. Намного лучше корсета.

— Вы будете носить жилетки.

— Моя грудная клетка… — начала было я.

— Да, — сказал он. — Я знаю. То есть я понимаю, что вы имеете в виду. Выдается вперед.

В общем, ничего не остается, как только рассмеяться. Было смешно. Ближе к вечеру я чувствовала себя творением Генри Мура. А творение Генри Мура закорсетить невозможно.

Потом я встретилась с гримером. Энн Броди. Мы наложили пробный грим. Шел дождь, было темно. Освещение слабое. Зрение у меня хорошее — то есть я могу еще отличить человека от собаки. Но детали определенно ускользают от меня. Я кожей ощущала, как она думает: «Ну, эта старушка явно любит покушать блины и, похоже, не намерена отказаться от этого блюда. А я-то всегда считала, что она такая, какой должна быть. Так зачем изменять ее. Пусть радуется жизни. Не надо портить ей жизнь».

Она мне нравилась — была милашка. Трудности ее не смущали.

— Нет. Этого вообще не видно. Если бы вы сами не упомянули, я бы ни за что не заметила.

Да. Милашка.

Она рекомендовала мне взять в парикмахеры некоего Рея Гоу. Оказалось, что он из тех парикмахеров, которые умеют укладывать волосы. А это такая редкость. Когда кто-то с расческой в руках берется за ваши волосы, у вас возникает такое ощущение… Ну, какое? Либо уверенность, либо отчаяние.

Я объяснила:

— Надо попытаться сделать завивку, ведь в Уэльсе постоянно льет дождь. Но мы не можем заставлять Джорджа ждать. Ему до всего этого нет дела. Он не понимает, что существует проблема прически. О нет. Никакого лака. Волосы у меня чересчур мягкие. А эта лондонская вода такая жесткая. Да, у меня много… Просто взбить их. Причесать. Следите вон за теми локонами.

Он был душка. С природным чувством такта. И понимал, чего

опасается актер.

— О да. Я понимаю — щетка… Не расческа. Конечно, могу. Стрелка на свободных концах. Намотать. Завить.

Он заметил корзинку с моими бигуди, которая стояла на туалетном столике. Они были сделаны из туго-натуго скатанной газетной бумаги.

— Там, в коробке, ваши бигуди? Я пользуюсь такими же.

— Вы?

— Да.

— Вы первый, от кого я слышу…

— О, конечно. Самое лучшее средство. Впитывают влагу. Но вам лучше подойдут прямые волосы. Никакая не чепуха. Ведь героиня — учительница. А валлийская вода замечательная. Мягкая. Подойдет как нельзя лучше. У вас прекрасные волосы.

— Благодарю.

Как видите, от завивки мы отказались. И от «газетных» бигуди — тоже.

У Дэвида Уокера, ставшего нашим модельером, был помощник — Боб Рингвуд. Он следил за нашей внешностью, когда мы снимались на натуре. Разумеется, ему было за чем следить, но он справлялся со своими хлопотными обязанностями. Подогнать вот здесь, покрасить, растянуть, ужать, замазать, смыть, состарить… Надеть, снять.

Мы нашли общий язык с главным оператором, с которым работали на предыдущих картинах. Он, его первый и второй помощники заверили нас, что мы вполне можем на них положиться. Это были мастера своего дела. Действительно, великолепные мастера. Главный оператор обычно ищет правильное освещение. Ассистент ведет камеру, движется за актером, ищет правильный ракурс в кадре. Третий человек в операторской бригаде отвечает за то, чтобы кадр держался в фокусе. Все эти операции очень тонкие и важные: все трое следят за тем, как вы смотритесь и что видит публика. Естественно, как будет играться сцена, решает режиссер-постановщик, но именно от оператора зависит, насколько точно она будет снята. Мы были очень рады тому, что заполучили такие «золотые» руки.

За две недели до начала съемок мой дорогой старинный друг-оператор позвонил по телефону:

— Я не могу участвовать в картине.

— Что?.. Что?

— Мы не можем участвовать в картине. Мы все измотаны. К тому же у моей дочери летние каникулы. А тут еще зубы… Мы измотаны.

— О Господи! Было черт знает сколько времени, чтобы… Я

тоже измотана. Весь белый свет измотан. Ну и что из того? Мы начнем только через две недели, а то и через три. Вы успеете отдохнуть…

— Я просто… Дочь у меня. У нее… Это ее последние каникулы дома…

— Твоя дочь? Ты уже несколько месяцев знаешь, что… Я просто не могу поверить, что ты откажешься от нас… Уже поздно. — Потом, обращаясь к Филлис, которая стояла рядом: — Последние каникулы его дочери… Наверно, я сойду с ума. Очевидно, это моя последняя картина! — И продолжала: — Но если ты был так настроен, почему не позвонил раньше? Так легко соединиться с Джорджем или со мной. Хотя бы несколько недель тому назад. Когда у нас еще была возможность найти кого-нибудь еще…

— Но мой агент сказал, что…

— Нет. Это не так. Твой агент сказал, что ты устал. Что вы все устали. Естественно. А как же иначе? Тебе приятно быть усталым. Ты занят. Но нам не сказали, что ты собираешься подвести нас. Как, черт возьми, ты можешь даже думать о том, о чем сказал. Только потому, что ты еще не подписал договор. Я не могу больше говорить об этом. Ни под каким видом. Такого не может произойти. Мы друзья… Ты… Это по-свински и безответственно и…

Я повесила трубку. К чему продолжать? Я позвонила ему на следующий день и убийственным тоном сказала, что принимаю к сведению, что он и двое его сотоварищей не намерены участвовать в картине. Что поделаешь: нельзя заставить человека, даже если он подписал договор. Невозможно. Слишком неприятно. Слишком обременительно.

Можете себе представить такое? Второй нокдаун. Мои хорошие друзья. Что творится с людьми? Сначала дают слово, а потом, когда ничего нельзя поправить, отказываются от него и оставляют своего товарища с носом. Наедине с самим собой. Без какой-либо надежды найти замену. Удача! Где ты, удача? Приди.

В лондонском киномире все были заняты и трудились, как пчелы в улье. Мы с ног сбились. Нет. Нет. Нет. Потом я села и подумала: Тедди Скейф. На «Африканской королеве» он работал вторым оператором, будучи совсем еще юнцом. Джек Кардифф был тогда у нас первым. Когда с Кардиффом случился приступ малярии, Тедди довольно много поработал с Боги и мною. После той картины работал с Хьюстоном. Милый человек. В какой-то мере кот, гуляющий сам по себе. Независимый. Яркий и забавный. Попробуй уговорить его. Попробовали. И — о чудо из чудес! — он согласился. А у него был великолепный первый

оператор — Херб Смит. Второй помощник — Тони Бризх.

По части звука у нас был полный порядок. Питер Хэндфорд — один из лучших в своем ремесле. Тревор Резерфорд. Ник Флауэрс. Добиться совершенства — вот их творческое кредо. Мне это нравится.

За это время мы с Кьюкором совершили поездку в Уэльс, чтобы осмотреть вероятные места натурных съемок. Остановились в очаровательной гостинице в Ланголлене. Это на севере Уэльса. На реке Ди. Осмотрели несколько ферм, расположенных милях в пятидесяти на запад от городка. Благодатная местность. Проливной дождь. Горы на горизонте — Сноудон. Некоторые из ферм казались какими-то допотопными. Местность, выбранная нами, была начисто лишена телефонных столбов и прочих признаков цивилизации. Наконец мы приняли предложение Кармен Диллон, чей выбор пал на деревню Айсибити-Айфэн. Там протекала речка. И ландшафт был весьма приятный. Очень близко — ферма Хафод Айфэн. Она принадлежала «Нешнл траст», а хозяйствовала на ней семья по фамилии Хьюз. Каменный дом на склоне высокого холма. Группа длинных и красивых хозяйственных построек — тоже из камня. На ферме выращивали крупный рогатый скот — валлийских чернушек. Очень занятная ферма.

Кармен сказала нам, что может кое-что соорудить тут и там, чтобы усадьба соответствовала нашему сценарию. И очень важно, что близко деревня. Мы осматривали ее без особого энтузиазма: был конец долгого дня и шел проливной дождь.

Потом мы вернулись в Ланголлен. Отель «Ройал». Пообедали, выспались. Утром отправились на северо-восток в город Врексхэм. Близ него находилась Бершэм Кольери. Нам хотелось, чтобы публика поняла, как в 1890 году десяти-одиннадцатилетние мальчики ходили на шахту, где работали по двенадцать часов в день. Мистера Оуэнса, управляющего, не было на месте — он куда-то уехал. Там имелось несколько достаточно старых строений, которые можно было использовать.

В конце нашего визита мы все надели плащи, перчатки, плотные шляпы, ботинки (я воспользовалась только шляпой, — моя обычная одежда, включая туфли, соответствовала случаю). Потом сели в лифт. Фактически это была открытая двухэтажная клеть. В каждом отсеке могло стоять человек по пять. Если ты был ростом выше ста шестидесяти пяти сантиметров, то стоять было невозможно. Кромешная темнота. Почти четыреста метров вниз. Спуск быстрый, с шумом и треском. Грубо пробитый в породе ствол. Остановились. Туннель. Тусклое освещение и узкая колея посередине. Туннель напоминал округлое, грубо выдолбленное

отверстие. Очень неровное дно. Чтобы добраться до места добычи, шахтерам нужно было пройти три километра пешком по туннелю. У каждого — лампа и прибор для определения уровня газа. (У нас — тоже.) И противогаз. Мы дошли только до помещения, где шахтеры пили чай. Несколько стульев. Темновато. А в породе еще только одна дыра. Постоянный изнуряющий сквозняк. Все были в угольной пыли. И было холодно. Детей же они используют потому, что в некоторых местах мужчина просто не в состоянии орудовать инструментом в узких лавах.

Уходя, чтобы подняться наверх, мы услышали красивый тенор, затянувший песню. Постепенно подключились другие голоса. И это глубоко под землей. Нам сказали, что многие их песни — это псалмы. Интересно, правда? Это производило одновременно и трогательное, и жуткое впечатление. В такое время, под землей, где каждый звук мог вызвать сотрясение породы. Кто господин? Только Он. Пой гимн. Такой красивый был звук, слышавшийся из ствола шахты. Тяжелая и опасная работа, требующая каждодневной отваги. Шахтеры были так не похожи на других мужчин. Впрочем, они и должны быть совсем иными. И тем не менее в них столько забавного. Та песня — такой контраст с окружающим. Поднявшись наверх, мы заметили, что буквально покрыты угольной пылью.

Так трудно отмыться.

Оттуда мы поехали на юг. Через весь Уэльс. Пейзажи намного приветливее в центре и на юге. Ничего более подходящего, чем ферма Хьюза, мы не нашли. Приехали сначала в Кардифф, потом направились прямиком на юго-восток — в Лондон. Долгий день. Но запоминающийся.

После того как Тедци Скейф дал согласие, мы совершили еще одну поездку в Уэльс. К тому времени на ферме Хьюза появился красивый цветник. Парник. Великолепная поляна. Исчезла грязь, так как были проложены дорожки, посыпанные гравием. Появилось несколько новых труб на крышах. И на фронтонах — несколько выступов. Это декорации. Вид у усадьбы теперь был намного более цивилизованный. А поскольку стоял чудесный день — только немного туманный и без хлябей небесных, — новый вид фермы показался нам прекрасным. Я спросила миссис Хьюз, могу ли я оставить свою одежду и туалетный столик у них в доме. Она дала согласие. Я очень обрадовалась, поскольку в противном случае мне пришлось бы устраиваться в трейлере. А трейлер бы поставили в поле. И каждый раз, выходя наружу, пришлось бы наступать в грязь. А при каждом шаге внутри трейлера он начинал бы слегка дрожать. И чем больше проходило

бы времени, тем хуже были бы его внешний вид и запах в нем. В доме, в комнате с окнами на юго-восток — на втором этаже, с ванной по соседству — у меня была замечательная приемная. Мои блузки лежали на постели. Мои шляпы — на постельных простынях. Мои ленты, платки, перчатки, вуали — на постели в корзинке. Для меня — уголок на постели, чтобы можно было прилечь. Туфли под кроватью. Пальто, сорочки и жилетки — на вешалке в коридоре, сразу за дверью. А главное удовольствие — какое замечательное преимущество — можно было глядеть в окно и видеть все, что происходит. РАЙ, да и только.

Больше, в сущности, нечего рассказывать. Когда на картине начинаются съемки, все сводится к самочувствию и погоде, а также к тому, удалось ли набрать хороший состав актеров и технического персонала. Важно также, имеется ли в сценарии какой-либо смысл. Учитывается и ваша собственная ценность. Способны ли вы сделать это? Тем, кто в том или ином виде причастен к искусству, всегда важно знать, оказались ли они в этой сфере благодаря своим способностям или случаю. Конечно, если выдается время поразмышлять.

Почти каждый день — одно и то же: работа, работа. Что касается меня, то подъем каждый день в пять. Плотный завтрак. Я готовлю его сама: фрукты, яйца, бекон, гренки, куриная печенка, джем, кофе. Все — на поднос. Несу это обратно в постель. Как приятна утренняя тишина. Учу и обдумываю все, покуда ем и пью. Встает солнце. Так редко приходится видеть его. Туман. Мало-помалу проясняется. Легкий дождь. Благословенный климат для веснушчатой кожи. Потом холодная ванна или холодный душ. Если освободилась рано — до прихода машины, — еду на велосипеде. Примерно в семь.

У нас с Филлис есть маленький домик — в Кэпел Гармон. Дому триста лет. Красивый большой камин в гостиной. Три больших куска сланца. Там повсюду сланцевые шахты. Мы заполнили комнату большими бобинами шерсти. Они очень декоративны — красные, голубые, белые, сине-белые. Примерно пятнадцать сантиметров высотой. Надо было посетить много ткацких фабрик. Они выпускают всякого рода свитера, рубашки, одеяла, юбки, брюки, пальто, кепки, шляпы, сумочки, пелерины. И всегда жаль, что вы не купили больше. Овец там — в изобилии.

Обед на подносе перед камином. Попадая в дом, первым делом мою волосы — делаю это каждый вечер. Укладываю их мокрыми. И пока я ем, они как бы сушатся перед огнем. В семь или семь пятнадцать заканчиваю ужин. Шесть дней в неделю на натурных съемках. Иногда ложусь в постель с мокрыми волосами.

Возил нас некто Джордж Поттер. Настоящий кудесник.

Мастер на все руки. Плотник, электрик, водопроводчик. Человек необыкновенно жизнерадостный, что было очень приятно. Окружающий ландшафт в Кэпел Гармон и на месте натурных съемок просто божествен. Холмы, деревни, небеса, цветы, поля, каменные фермерские дома, амбары, узкие дороги, обсаженные розово-пурпурными наперстянками. Стада овец, пасущихся на склонах холмов. Горы, возникающие и исчезающие в тумане, — на горизонте. Каждый день мы возвращались со съемок домой, выбирая новый маршрут. Поверьте на слово — это было захватывающе. Воздух — чистый и такой бодрящий. Вода — мягкая. Небеса — высокие. Душа проветривалась. Красота жизни. Чудо.

Можете представить себе кинобригаду — примерно в шестьдесят человек, — которые в течение трех с половиной недель то входят, вместе или поодиночке, в ваш уединенный фермерский дом, то кружат вокруг него? Шесть дней в неделю. То главную героиню — меня, — входящую в комнату второго этажа. Людей, греющихся в вашей гостиной. Дождь и грязь, наносимые внутрь дома. Группу, которая приехала в семь утра, а уехала в семь вечера.

Семья Хьюзов состояла из мистера и миссис Хьюз, их беременной дочери, ее сына примерно двух лет, который разговаривал только по-валлийски; ее мужа, который помогал мистеру Хьюзу на ферме, а также шести овчарок. Никто из них никогда не раздражался. Всегда были в ровном расположении духа. Угощали кофе, чаем. Чудесным смородиновым пирогом. Теперь такой пирог воспринимается как нечто необычное. Вот его рецепт:

1 фунт[4] или 3¼ чашки муки,
¾ фунта маргарина,
1¾ чашки черной смородины,
1 чашка сахарного песку,
2 яйца, размешанных с незначительным количеством молока,
1 столовая ложка жженого сахара.

Втереть маргарин в муку. Размешать с сахаром и ягодами. Влить яйца и молоко. Размешать. Выложить в форму, покрытую промасленной бумагой. Спрыснуть сверху жженым сахаром. Поставить на верхний уровень плиты на 15 минут при температуре 400 градусов. Затем уменьшить температуру до 325 градусов и печь еще в течение 1¾ часа.

Каждое воскресенье мы выезжали надолго либо кататься, либо на прогулки в горы. Или на море. Или в Сады Бод-нанта. Пикники. Если вы любите настоящий воздух, зелень во всем ее

многообразии, рекомендую вам съездить в Уэльс.

Съемки для меня всегда были смесью страха и радости. И еще постоянного ответа на как бы сторонний вопрос: ты действительно настолько хороша, насколько можешь таковой быть? В начале картины есть сцена, где я еду через холмы по дороге к дому, оставленному мне в наследство дядей. Группа поднялась на вершину крутого холма, чтобы снять, как я буду спускаться вниз по холму на велосипеде выпуска 1890 года (жесткая конструкция и весит — тонну). Из-за солнечного освещения решили изменить первоначальный вариант и будут снимать во время моего подъема на холм. Для меня почти непосильная задача. У них была двадцатичетырехлетняя девушка-спортсменка, которая великолепно могла сняться вместо меня в одном дубле.

Я чувствовала себя униженной. Меня чуть удар не хватил. Но одолеть этот подъем мне было просто не по силам. Фиаско такого рода привело меня в ярость. Обычно я без особого труда сама справлялась с любой задачей. Сейчас же подводили ноги — я никак не могла удержать велосипед от «пьяной пляски». Всем казалось, что глупо так выходить из себя, я же, видимо, не могла совладать с собою. Чертовы старые ноги. Как бы там ни было, они не стали прибегать к помощи девушки-спортсменки — я их отговорила. Сказала: это не лучшим образом отразится на всем эпизоде в целом.

Услышала на следующий день очень забавный разговор. Кто-то у кого-то — примерно моего возраста — спросил:

— Как себя чувствуешь?

— Прекрасно. Если тебя не интересуют частности.

Характерный — в контексте моего рассказа — ответ, не так ли?

После возвращения в Лондон мы работали по пять дней в неделю. Мило, да? Сотрудничать с персоналом «Ли Бразерс Студио» — это новая студия, руководимая «Ли Электрикс», — было приятно. Они оборудовали мне костюмерную. Замечательно. Окна, которые открываются. Просторно. Душ. Ванна. И все прочие атрибуты комфорта. Все белым-бело. И прямо рядом со сценой, на которой располагалась наша группа.

Мы работали упорно и быстро. Эпизоды были длинные и очень насыщенные драматически. Актеры — само совершенство. Команда действительно заинтересованная, потому что история Моргана Эванса — молодого человека, совершающего гигантский прыжок из невежества к знаниям, — покоряла своей правдивостью и очарованием. Эванс открывал дверь, за которой, собственно, только и начиналась его жизнь. С помощью

учительницы, то есть меня — мисс Моффат, — которая знала, на что он способен, если будет работать над собой. История поучительная, восхитительная и окрыляющая. Ведь вы вдруг понимаете, какие потрясающие возможности открываются перед человеком, который просто — жив. Если можешь двигаться, значит, дойдешь до цели. Так что не сбавляйте хода — и вы сможете добиться своего. Стоит же лишь раз остановиться, считай, что проиграл.

V

Филлис

Филлис Уилбурн — моя правая рука. Она пришла ко мне в середине пятидесятых годов. После того как умерла Констанс Колье, у которой она проработала двадцать с лишним лет. С тех пор Филлис — со мной. Нам обеим за восемьдесят. Она чуть старше меня.

Это очень самоотверженный человек и (не скрою от вас, что только что пришло мне на ум) работает для очень эгоистичной личности.

Филлис может делать все, что на протяжении многих лет создавало мне удобство. Она очень хорошая кулинарка, отличный дипломат — умеет разговаривать со всяким: будь то президент или сторож. Никогда не берет отпуска. Поддерживает меня морально. А еще она — как бы это сказать — действительно создана, чтобы помогать мне: составить ли мне компанию, оставить ли меня наедине с собой, сделать ли для других нечто такое, что сделала бы для них я сама.

Буду короче. Она — уникальна. Она — ангел.

Мимолетная встреча

Филлис, моя подруга Сара Форбс («Конек») и я укладывали вещи в машину, чтобы ехать в Нью-Йорк. Это было в понедельник утром. Был прекрасный день, в меру теплый, как все последние дни той зимы. Мы выехали примерно в десять тридцать, заехали заправиться, на почту, потом двинулись по шоссе № 95. Внезапно я заметила, как впереди остановилась машина. Мне показалось, что женщина опускает в багажное отделение шину. Я затормозила, вышла. Вышла и Конек. Филлис осталась в машине, потому что была завалена цветами и корзинками на заднем сиденье. Конек и я сидели впереди.

— Поломка? — спросила я.

— У меня спустило колесо, и я не знаю, как его сменить, — ответила женщина.

— У вас есть домкрат?

Она пошла посмотреть. Это было создание из разряда рассеянных женщин, лет тридцати пяти или около того, волосы всклокочены — казалось, она их никогда не расчесывала. Мне приходилось иногда менять колеса, так что я имела кое-какое

представление о том, как это делается. К тому же мне не занимать ловкости. Кроме того, я отдавала себе отчет, что никто не остановится ради нее. Конек поддерживала меня своим присутствием. Я с умным видом смотрела на бампер. В мозгу вертелось: бамперный домкрат — бамперный домкрат — осевой домкрат… Нет, нет — это из детства, та история с осевым домкратом.

Принесла основную часть домкрата.

— Да… Так, значит, это низ… Это рукоятка… — сказала я.

Конек отыскала низ. Отлично. Они пошли обратно — я установила низ и направилась снова к бамперу — оказалось, что спущено правое переднее колесо. Я поставила домкрат там, где, по моему разумению, удобно будет осуществить балансировку. Господи, подумала я, а ведь машина-то может ускользнуть. Как… Я провела рукой по бамперу. Слишком толстый, подумала я.

Конек принесла рукоятку.

Я сказала:

— Да, это то, что нужно. Кто бы вот только подсказал, как прикрепить домкрат к бамперу, чтобы он действительно держался. Должна быть инструкция.

— О, инструкция есть! — воскликнула женщина.

Конек пошла обратно — нашла инструкцию, крикнула:

— Да… Есть отверстия…

Я легла на асфальт. О да, отверстие — вот оно. Хорошо. Все сходилось. Рукоятка подходила. Я нашла приспособление, благодаря которому домкрат двигался вверх или вниз. Принялась вращать рукоятку. Потом вдруг, соображая по ходу дела, спросила:

— Машина на тормозе?

— Да, — ответила женщина. Я продолжала вращать рукоятку, и машина стала подниматься. Прекрасно, подумала я.

Так, чуть выше, и можно снимать колесо. Отлично — колесо легко проворачивается. Я вынула рукоятку из домкрата и сняла пластину, защищающую лаги, навинченные на обод.

— Ну, вот и отлично. Сейчас отвинтим все эти…

Провернула рукоятку, чтобы отвинтить лаги, то есть попыталась провернуть.

— Ну-ка, проверим: по часовой — против часовой… — Как я ни крутила, результата не было никакого. В обоих вариантах это чертово колесо почему-то проворачивалось. Ну ты и дура. Ведь ты слишком высоко подняла машину.

Мои девчата прилагали неимоверные усилия, чтобы колесо не проворачивалось, — все впустую. Я подошла к домкрату, изменила положение приспособления «вверх-вниз», потом снова

вставила рукоятку в отверстие. Качала, качала, но машина почему-то не опускалась. Что ж, подумала я, не желая окончательно расписаться в своей глупости, можно снять ее с домкрата, если изменю положение колеса, запустив двигатель и подав немного назад. Я вновь принялась раскручивать домкрат — уже теряя хладнокровие.

— Слушай, а правильно ли мы крутим? В какую сторону ты раскручиваешь гайку? — Я призадумалась. Так — эдак. — Сходи-ка, Конек, за моей сумочкой, достань бутылку и выясни, каким образом откручивается пробка.

Конек выполнила мою просьбу. Против часовой стрелки.

— Ну а теперь постарайся не дать колесу провернуться. — Я приложила последнее — неимоверное и отчаянное — усилие, чтобы отвинтить гайку. Они пытались удержать колесо. Мы потерпели фиаско. Безнадежно.

— Нам нужна помощь.

Я обошла машину, выйдя на проезжую часть автострады, и подняла руку. Конек и хозяйка машины сделали то же самое. Мимо нас одна за другой — ни на мгновение не задерживая ход — проезжали машины, за рулем которых сидели мужчины. Промчался — на очень высокой скорости — грузовик. Вот она, эмансипация, подумала я. Мы так жаждали ее!

Вдали на дороге показался еще один грузовик…

На сей раз я вышла на середину нескоростной полосы и подняла вверх обе руки. Шофер грузовика затормозил — проехав еще метров двести, — вышел. Молодой стройный негр. Я двинулась ему навстречу.

— Спустило колесо… Мы никак не можем отвинтить гайки… И еще домкрат никак не опущу.

— Хорошо, хорошо, — прервал он меня. — Машина на тормозах…

— Да, сэр, — подтвердила я.

Он опустил домкрат. И крутил по-другому и очень уверенно.

— Как вам удалось?

— Надо просто слегка ударить, мэм, потом вверх — или вниз (сопровождая объяснение жестами).

— Да, — сказала я, думая: ударять-то я ударяла. Может, я просто утратила самообладание?

Как бы там ни было, колесо стало опускаться, и лаги соскочили. Потом водитель снова поднял машину вверх и надел запасное колесо, которое у него крутилось свободно. Навинтил на обод гайки и, удерживая их гаечным ключом, зажал шину, чтобы подвинтить одну гайку. Замечательно, восхитительно — как в балете. Как это здорово — уметь заменить шину, знать, что нужно

делать. Снимаю шляпу — и приятно, и достойно уважения.

— Знаете, мэм, мисс, вы так похожи… Знаете, так похожи…

— Вы угадали, — сказала я, наклоняясь вперед и продолжая наблюдать за его работой.

Круть, круть… Он не слышал меня.

— Вы… похожи на Кэтрин Хепберн.

— Я не похожа, я — она и есть.

— Есть что?

— Она…

Он издал стон, потом поднял на меня глаза. И простонал еще раз.

— Нет… нет. Такого не бывает…

— Да, я — она…

И снова стон. И — смех и свист.

— Я просто не могу поверив в это.

— Я докажу. Конек, на переднем сиденье целая кипа корреспонденции, там есть письмо, принеси.

Мы показали шоферу письмо — внутри лежал счет, на котором была отчетливо напечатана моя фамилия. Как он внутренне ни сопротивлялся, мы его вроде бы убедили. Однако он был просто не в силах поверить и, укладывая шину в багажник, продолжал охать, ахать и «ничегосебекать».

— Я докажу. Назовите ваше имя. Я пошлю вам свою фотографию.

Он назвался — Роберт Чэтмен. Живет в Джерси. Вот адрес.

Мы пожали ему руку. Он пошагал к своему грузовику, обернулся.

— До свидания, — сказала я. — Вы просто молодец!

Он крикнул навстречу ветру:

— Невероятно!.. Не верится. Ехал порожняком, чуть не спал за баранкой и вот — останавливает тебя женщина, и не кто-нибудь, а именно сама Кэтрин Хепберн!

Я пошла обратно к «своим девочкам».

«Не верится», — бормотала я. Мы прилагаем максимум усилий — все впустую. В приступе отчаяния пытаемся остановить кого-нибудь — впустую. Потом вдруг, когда мы уж были готовы сдаться, мимо проносится громадный трейлер, останавливается. Появляется мужчина, и не какой-нибудь, а — истинный джентльмен.

Можно ли еще употреблять это слово?

Голос

Иногда бывает невозможно объяснить причины, из-за которых

человек страдает. Обычно они совсем ничтожны. Необъяснимый приступ тщеславия или слабая надежда — вроде моих претензий на умение петь, например, — или величина моих глаз.

Ребенком я всегда мечтала, что кто-нибудь скажет: «Какие у тебя большие глаза». Волк из сказки о Красной Шапочке сказал это бабушке, но никто так и не сказал этих слов мне.

Или: «Какой у тебя чудесный голос. Я слышал, как ты поешь и…» Впрочем, пение — это из другой оперы.

Марсия Давенпорт, жена Рассела Давенпорта, посмотрев фильм «Маленький священник», сказала:

— Это ты озвучивала песню в той сцене в лесу?

— Да, да, Марсия, я. — Это было то ли в 1935-м, то ли в 1936-м году.

— Знаешь, мне кажется, тебе надо что-то делать со своим голосом.

— Конечно. Я не очень музыкальна. Но когда-то занималась — училась играть на скрипке. Два года. У одного замечательного человека. Мсье Бошмэн. Мне было лет десять или двенадцать… Я… Словом, просто ничего путного не получилось. Я воображала, что у меня что-то получается, но в конце концов не выдержала и бросила. Просто не могла этим заниматься.

— Нет, я не хочу сказать, что тебе следует возобновить занятия скрипкой. Я говорю о пении. Ты когда-нибудь занималась вокалом?

— О да. Точнее, дикцией, постановкой голоса.

Я занималась у Фрэнсис Робинсон-Даф. Помните, у нее была методика задувания свечи, чтобы научиться направлять воздух от диафрагмы. Я чувствовала ее диафрагму, но мне не удавалось повторить то, что делала она. Мы сидели и дули на свечу. И занимались этим на протяжении нескольких лет. Я не жалею: она научила меня тому, что могла передать; заразила меня своей увлеченностью; развила мое воображение; привила мне уверенность в своих силах. Но дуть я не могла. И потеряла голос, когда играла на сцене. На годы.

Не лучшие воспоминания связаны у меня с «Супругом воительницы» и с «Миллионершей» Джорджа Бернарда Шоу, в которой я сыграла примерно двадцать лет спустя. В обеих ролях пришлось форсировать звук. В «Супруге воительницы», в 1932 году, это было для меня еще непривычным. Я говорила низким голосом, пытаясь подражать мужским интонациям. В результате звучало так плохо, что встал вопрос, не отказаться ли мне на время от участия в спектаклях. Папа прислал мне в Хартфорд специалиста по болезням горла — доктора Уильяма Двайра. Он сказал Папе, что я не смогу заниматься своим делом, что мои

голосовые связки покрыты узелковыми утолщениями и что мне нужно серьезно лечиться.

— Только не говори ей об этом, — сказал Папа. — Ни слова.

Билл Двайр так и сделал.

И вот, когда осталось сыграть совсем немного спектаклей и я находилась в преддверии поездки в Голливуд, эти узелковые утолщения исчезли.

В «Озере» для голоса не было такого рода нагрузок. Но там я чуть не потеряла свой разум, а не голос. «Джейн Эйр», «Филадельфийская история», «Без любви», «Как вам это понравится» — все было без малейших осложнений. Потом «Миллионерша». Я придавала голосу больше звучания и страсти, чем была способна выдать, и со мной стало твориться неладное. Премьера состоялась в Лондоне. Спустя шесть недель у меня появились хрипы, они становились все более сильными. В конце гастролей я вообще не могла говорить. Просто писала записки.

Мы закрыли спектакль, решив возобновить его в Америке. На лето нас распустили. Потом осенью — две генеральные репетиции на публике. Мой голос сразу сел. Два представления!

Лоренс Лангнер сказал:

— Мы отложим премьеру!

— Какая чепуха, — сказала я в приступе отчаяния. — Нет проблем: я либо умру, либо останусь живой. Я все лето была в простое. К чему этот самообман? Надо держать форму. Другое дело, что ее можно не сохранить.

Мы сыграли премьеру. В Лондоне у нас был огромный успех. В Нью-Йорке все билеты были распроданы почти на десять недель вперед — фактически на весь период. На премьере я прилагала неимоверные усилия, чтобы не сорваться — наполовину задыхалась, было тяжко. Рецензии были нормальные. Естественно, моя игра при таких ограниченных голосовых возможностях была лишена взволнованности и необходимой свободы. Не звучала. Разумеется, это отрицательно сказывалось на общем впечатлении от спектакля и на моем настроении тоже. Никаких контрастов, никакой высоты. А ведь это была история о женщине, которая вела разговор на повышенных, резких тонах.

Что делать? Что делать?

Я обратилась к театральному врачу. Только они понимают, что уж коли вы актер, то обязаны либо сыграть, что вам положено, либо умереть на сцене.

— Ну что, мисс Хепберн, вы взвинчены, не так ли? Я бы посоветовал вам немножко пригубить и расслабиться…

— Боже мой… Выпить. Я не могу пить… Боже мой! Я на грани сумасшествия. Вы не знаете кого-нибудь — какого-нибудь

педагога — кого-нибудь, кто мог бы помочь — я подвожу целый коллектив — мне нельзя отказываться… Неужели нет чего-нибудь… кого-нибудь…

— Вообще-то есть некто Альфред Диксон. Почему бы вам…

К этому времени я уже не один уик-энд провела в нью-йоркской больнице «Коламбия Просбитериан» с мыслями о том, а не выпрыгнуть ли из окна… Что-нибудь… Что-нибудь… Я больше не могу…

— Вы ничего не теряете, — сказал Бобби.

— Так пошлите за ним.

Бобби Хелпманн — сэр Роберт — исполнял в «Миллионерше» роль египетского врача. Кроме того, он был моим другом. Бобби появился в моей больничной палате. Его сопровождал мужчина — не высокий, не низкий, — расположенный к полноте. Короче говоря, толстый. Большая голова, широко поставленные глаза, крупное лицо. Сидя на постели, я подумала: «Ну, он не спасет меня…»

— Меня зовут Альфред Диксон…

— Да… Так… Что вы посоветуете в моем случае? Что можете сделать? — Я была плохо настроена, не питала никакой надежды.

Он попытался объяснить, что, на его взгляд, вызвало мою чрезвычайную хрипоту, и свой метод лечения. Что-то о собаках и одышке. Господи, спаси, подумала я. Я — само отчаяние, лечу в пропасть отчаяния, а ты толкуешь мне о собаках с одышкой. Мне хочется умереть, хочется выпрыгнуть из окна и умереть. Это невообразимый напыщенный дурак, и я хочу, чтобы он поскорей оставил меня наедине с моими страданиями.

У меня едва хватило сил дослушать его. Я чувствовала себя совершенно разбитой.

— Благодарю вас, я подумаю.

Он ушел. Бобби ненадолго задержался. Но поскольку я не могла говорить, тоже вскоре ушел. А я сидела и тупо глядела перед собой. Завтра начнется новая неделя… Мука…

Я выписалась из больницы, решив вернуться домой. Настроение было прескверное — до дна рукой подать. Дно — дно… Что делать? Понедельник. Шесть дней до воскресенья. Потом возникла мысль: не будь истеричной дурочкой, попытайся. Позвонила Альфреду Диксону.

— Я хотела бы встретиться с вами. Сейчас — если возможно.

— Хорошо — в час дня.

— Нет, я сама приеду. — Пересиль себя. Поезжай к нему. Окунись в его атмосферу.

Тридцать шестая улица. А здание-то ветхое, ободряя себя, подумала я, несколько грязноватое. Из кабинета вышел

школьник. Теперь моя очередь идти в кабинет. Диксон сразу начал с комплекса упражнений, которые были нацелены на то, чтобы расслабить вагусный нерв, который заставляет человека, пребывающего в возбужденном состоянии или испытывающего страх — что сплошь и рядом происходит с нашим братом актером, — вытягивать шею и закрывает свободную подачу воздуха от диафрагмы через глотку. Видимо, мне самой судьбой было предначертано сражаться с собственной глоткой. Сразу стало понятно, о чем он говорит. Я убеждена, что и Даф с ее проклятой свечкой, в сущности, делала то же самое, но в ту пору своей жизни я не разгадала этой благой подсказки. Наверно, я была тогда чересчур занята собой — любимой. Теперь же, находясь на грани самоуничтожения, я чувствовала, что в этом есть зерно. И это ощущение успокоило меня. Я пробыла в кабинете час. Мне стало легче. Теперь-то я понимаю, что в самом деле мне так только показалось — то есть на самом деле мне ничуть не полегчало, если иметь в виду голосовые связки. Но мой внутренний настрой изменился. Теперь я не съеживалась в комок в ожидании предстоящей катастрофы, а стремилась ухватиться за луч надежды: найти лазейку — тропинку — выход наружу. Я двигалась вперед, а не плыла по течению, подчиняясь стихии волн. Плыла — но сама. Гребла против течения, но плыла.

Я ходила к Диксону каждый день. И понимала все больше и больше. Хотя улучшения не чувствовалось, но не было и ухудшения. Я начала сознавать, что, если буду продолжать в том же духе, мне не станет хуже. Я смогу держать под контролем этот процесс. Нет, не процесс — себя. И я удерживала свой статускво — только и всего. Я была настроена на лучшее. Держалась на плаву. И…

Но мне необходимо было вернуться. Я уже упоминала о Марсии Давенпорт и пении.

Так вот она сказала:

— Почему бы тебе немножко не позаниматься? Голос у тебя приятный.

Можете себе представить, как это мне польстило.

— Что нужно для этого сделать?

— Думаю, я смогла бы уговорить Сэма Чозинофф взять тебя в ученицы.

Это был очень авторитетный музыкальный критик — муж Полины Хейфец. Я ходила к нему раз или два в неделю. Мир, к которому я прикоснулась, был мне совершенно незнаком. В этом доме имел обыкновение обедать Тосканини. Тосканини! Дети Сэма — два мальчика — глазели на меня, когда я пела, и время от времени снисходительно отпускали в мой адрес комплименты.

«Вы хорошо сегодня пели, мисс Хепберн». Выходя после занятий из дома — он жил в районе Шестидесятых улиц, западнее Парка, — я чувствовала себя наполненной музыкой. Но, естественно, это длилось недолго, потому что я не была музыкальной. Я исполняла песню в спектакле «Без любви» — пьесе Филипа Барри, по которой Дональд Огден Стюарт снял картину под таким же названием — «Parlez, moi d'Amour», неплохую, но и недостаточно хорошую. О Господи, почему я не могу быть певицей! Я вижу, как открываю рот и извлекаю из себя божественные звуки. Но это происходит только в моем воображении. Почему… Почему… Что-то мешает — в мыслях умею, а наяву не могу? То же самое в теннисе. То же самое в живописи. Почему, ну почему? Недостает таланта, вот в чем загвоздка. Но так трудно смириться с этим.

Вы просто недостаточно способны, моя дорогая.

Кто сказал это?

Я сказал это — твой здравый смысл.

Прошло время, все забылось. А что дальше? Я сыграла в «Коко». И работала, работала. Брала уроки у Сью Сетон. Каждодневно. Я училась, и это помогало мне улучшить звучание голоса. Сью Сетон была в свое время ученицей мадам Сембрич. Та же — что и у Диксона — методика извлечения звука, поднимающегося снизу от диафрагмы и проходящего через свободный туннель — ну, не туннель, — шахту, какая разница, и потом в голову. «Головные тона, — говорила Сью. — Чувствуешь вибрации?» Да, да. Голова, не гортань. В обход гортани. Забудь про гортань. Грудная клетка, верх черепа. Это было мне по силам.

И я знала, то есть чувствовала своим нутром, когда начинать, а кожей — как идти за оркестром. Я едва поспевала следить за Бобби Доланом, дирижером. И они все говорили мне, какая я молодец. Но… Ну я же не дура. Я готова была разорвать их на части — то есть зрителей — в своем воображении. Этот писклявый жалкий звук — ты ли это, Кэт? Да, это ты. Ты разорвешь их на части этим… ведь разорвешь?

О, если б я могла описать этот леденящий душу страх — это сковывающее тебя по рукам и ногам состояние, — ужас, который охватывал меня каждый вечер перед выходом на сцену. Чувство такое, как если бы вы вышли играть в теннис без ракетки. Или, скажем, с ракеткой, но без сетки внутри. Беспомощность и претенциозность — «Кэти поет». Ну, сама-то я воспринимала это как образец той Кэти, которая не поет. И это несмотря на самоотверженную помощь Сью Сетон, а потом еще и упражнений, которые мы проводили прямо в гримерной с Линн Мастерс, ассистенткой Диксона, к тому времени уже покойного.

И вот мое выступление стало неотвратимой явью! До выхода на арену борьбы из ямы оставались считанные минуты. Все собрались в зале — сидели и ждали, — заплатив большие деньги за билеты и потому по праву надеясь на самое лучшее. А я готовилась выйти к ним — вооруженная писком. Мышь в образе льва.

Изображаю сосредоточенность на лице: прическа, туфли, костюм, шляпа… Потом села, сердце, казалось, вот-вот выскочит… Расслабься, успокойся, они не думают, что ты Мария Каллас…

Нет, нет, возьми себя в руки, надо быть Каллас, иначе зачем ты здесь?

Я помолилась, поплакала, выполнила необходимые упражнения… Господи, дай мне опору! И пошла из гримерной на сцену. Господи, не оставь меня…

Все нормально, Кэти, — пусть ты не можешь петь, нам это не так уж важно, но мы слышим тебя — мы чувствуем — мы знаем тебя… И сообща справимся с этой задачей. Стало чуточку лучше — немного отлегло от сердца, чтобы не умереть. И я продолжила занятия со Сью Сетон. И Коко была замечательным персонажем, а Линн Мастерс приходила каждый вечер в течение нескольких недель, чтобы поддержать меня. Я обрела уверенность в себе и потому продолжала. Отправилась на гастроли. Было весело.

Что я сказала?

Теперь вернемся к началу рассуждения о том, как могут раздражать вас те или иные вещи.

Так вот, я получила письмо от некоего Бена Багли. Весной 1979 года. Он спрашивал, не соглашусь ли я сделать запись некоторых песен Коула Портера.

Я позвонила моей подруге Сью Сетон.

— Есть о чем поговорить. Можно прийти?

— Приходи.

— Когда?

— Сейчас.

Я пошла.

Мы со Сью встречались каждый день, чтобы достойно подготовиться, точнее выражаясь, чтобы подготовить меня. Так продолжалось до встречи с Беном Багли и Артуром Зигелем, который должен был аккомпанировать мне. Вообще-то он сам хороший исполнитель — играет и поет.

На этом прослушивании мне предстояло исполнить песню Коула «Благодарю тебя за все, миссис Лоусборо…». Она действительно в моем ключе, так сказать. Было еще две песни

Коула Портера — «Королева гор» и «Карьера женщины». Эти, на мой взгляд, не очень мне подходили. Во всяком случае, с натяжкой. Тем более что последняя требовала настоящего пения. Однажды я стояла рядом с роялем Сью и подумала, что действительно звучу чуточку лучше… Или это Сью — натура чувствительная и склонная к преувеличению — сумела убедить меня, что я звучу несколько лучше? Я хочу сказать, что некое звучание все-таки было. Было ли? Было?

Наконец наступил день, когда меня должны были прослушивать.

Сколько их было у меня — этих, назовем так, просмотров? Почему были?.. Являются. Надеюсь, я покажу им… Чтобы мой заказчик увидел, услышал, никогда и не смог бы обвинить меня…

Первый состоялся — если не ошибаюсь — в 1965 году или около того. Рей Старк, Говард Дитц и кто-то еще. Они хотели, чтобы я участвовала в мюзикле «Миссис Эррис едет в Париж». Слушали у меня дома. Я прошла курс занятий с Раби Уорд. Кто-то сказал мне, что она в свое время работала у Этель Мерман. Разве это не здорово — Этель Мерман? И почему бы, черт возьми, мне не согласиться? Почему? Но… Они вроде бы остались довольны тем, что я могу петь по нотам. Не помню, что я пела. Все напрасно. Мюзикл так и не был поставлен.

Следующий раз меня просматривал Алан Джей Лернер — то ли в 1969-м, то ли в 1970-м. Он аккомпанировал на рояле, а я пела «Да приблизится Боже к тебе». Я хорошо исполняю псалмы. Он сказал: «Ну что ж, годится. У меня есть сценарий по Коко Шанель и…»

— Послушай, Алан. Тебя это, возможно, и устраивает, но я скажу тебе, что устроило бы меня. Мне бы хотелось поработать с кем-нибудь… Наверное, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы…

— Да, знаю, — сказал он. — Роджер Иденс.

— Кто это?

— Лучше его не найти — Джуди Гарланд…

— А он?..

— Да… думаю, он согласится.

Я начала работать над несколькими песнями вместе с Роджером. Роджер был необычный человек. Он помогал тем, кто был способен сделать песню интересной, пленительной — любую. Это был реалист, искушенный в житейских делах. Мы работали над песнями «Мисс Отис сожалеет», «Благодарю тебя за все, миссис Лоусборо…», «Мне не забыть лица ее родного».

Я старалась изо всех сил. Угодить Роджеру было нелегко. Довольно скоро мне стало совершенно очевидно, что в его представлении я — пустое место. Иной раз холодное выражение

его глаз воистину леденило мне душу. Если же мне каким-то необъяснимым образом вдруг удавалось угодить ему, я от избытка радости отвозила его домой на машине.

Мы работали каждый день с час или больше. Однажды Роджер сказал:

— Пора организовывать прослушивание. Мы пригласим на обед Джорджа Кьюкора, Ширли Вердена, его жену Флобеллу Фербенкс, Гэра Кэнина и Рут Гордон. Устроим музыкальный вечер. И если все пройдет удачно, сделаем то же самое для Алана.

— Хорошо, — согласилась я.

Вечер наступил. Я, разумеется, дрожала. Сказала Роджеру, что сначала нужно провести музыкальную часть, а уж потом обедать. Так мы и сделали. Он аккомпанировал, я пела. И все эти славные люди, замечательные друзья, были исключительно любезны. А Роджер улыбался. И мне кажется, он считал, что при моих крайне ограниченных музыкальных возможностях я сделала максимум возможного. Потом, конечно, мы повторили то же самое для Алана, который был очень дружен с Роджером. Энтузиаст по природе, верящий в лучшее, он поддержал нас. Мы решили, что мне стоит рискнуть. Хотя рисковали скорее Алан и Фредди Бриссон… Мне предстояло сыграть Коко.

Наконец последнее прослушивание — для Бена Багли. Аккомпанировал Артур Зигель. Я пребывала в своем обычном состоянии паники. Они же, два преданных мне человека, находились под впечатлением от пения Кэтрин Хепберн, то есть думали: «Справится ли? Ну а почему нет? Да, смотри-ка, совсем недурно выходит».

Я кое-чему научилась, играя по утрам в теннис на площадке отеля «Беверли-Хиллз» с Харви Снодграссом.

— О Боже, Харви. На меня смотрят — я не выдержу.

— Не волнуйся, Кейт, они скоро уйдут. Только чокнутые способны долго наблюдать за отвратительно играющим теннисистом.

Он был прав. В те дни я была молода и играла слабенько. Теперь я стара, у меня протез бедра, и в теннис я играю слабенько. Хотя теперь я представляю больший интерес для зрителей, потому что все еще стараюсь.

Вот и все про пение. Я не могу петь, но могу заниматься сочинительством. Разве не так? Во всяком случае, в нем я сильней, чем в теннисе.

Их же оценка такова: «А ведь совсем недурно, правда?» Это не мой критерий — это негативное одобрение, это принцип «достаточности». Мне это претит.

Как бы там ни было, я записала для них пластинку — три

песни Коула Портера. Но, Боже мой, чего-то там не хватает… От чего-то они не совсем… В общем, слушать не хочется…

Напрашивается аналогия с живописью. Само создание картины доставляет вам огромное удовольствие. Вот вы закончили картину — никакую с точки зрения художественных достоинств — и вешаете ее на стену. Потом постепенно сознаете, что просто уже не можете видеть ее. Тогда вы снимаете ее и вешаете в другую комнату — в ту, куда редко заглядываете. Кто-то спрашивает: «Вон те лилии — кто их нарисовал?» Польщенные, вы отвечаете: «Я». Но в душе-то вы знаете истинную их цену.

Пластинка смотрелась красиво в конверте или как это у них называется. Я привезла ее с собой в Фенвик, положила в кухне на большой круглый стол, над которым с потолка свисает лампа от «Тиффани». Положила на стол, рассчитывая на то, что Дик не может ее там не заметить. Дик — мой брат — он музыкален.

И представьте себе, пластинка пролежала там пятницу, субботу… Наконец в воскресенье я:

— Ты не хотел бы поставить пластинку?

Дик:

— Какую пластинку?

— Ту… На столе.

— А… Коул Портер. Терпеть не могу Коула Портера. — О ужас! Какой удар… Я вышла из кухни. Какой же гад — как же мерзко — вот так… Ведь я хотела… Честное слово, я…

Его подруга Вирджиния Харрингтон — сама любезность — во время нашего разговора находилась в кухне. И вдруг я слышу — какая-то пластинка. Ее поставили в кабинете. Там же находилась Филлис. Нет, Дика там не было. Он все еще был в кухне. Разве можно быть такой свиньей? Мои песни, а он не… Я стояла в прихожей и слушала.

И тогда слух мой обрел способность различать звуки, до меня дошло… Что тебя так огорчает, Кэтрин? То, что ты слышишь — это просто не… Вот что это.

Это было просто не то.

Если бы ты была уверена, что это — хорошо, тебе было бы все равно, слышит это Дик или нет. Но ты так не думаешь. И потому тебе в голову приходят всякие мысли. Дик не станет слушать пластинку, потому что ему просто-напросто недостает на это отваги. Ну что он может сказать?

— Все! Больше никогда!

Так вот, именно мелочи больше всего огорчают человека. И я рассмеялась — в сущности, над собой, потому что прекрасно сознавала, что мой позор проистекает из того совершенно очевидного факта, что за дело-то я взялась, а сделать его НЕ

сделала. Эх, жизнь…

Ну что ж, в следующий раз.

Следовало бы сказать: в следующей жизни.

Глаза

В кабинете врача

Да. Понимаю. Дряблость кожи. Да. Это оттягивает глаз.

Это не — что вы сказали? — сениле эктропия. Да… Ясно. Но это эктропия. Да… То есть… нижнее веко свисает… То есть опускается… из… Да, обнажается слизистая.

Нет. Не слезятся. То есть слезятся… когда ветер… или от холода. Да, слезятся.

Да, краснеют и чешутся.

Подвержены воздействию, да… Я понимаю. Да, сухие.

Это в самом деле действует на нервы. Вы же знаете, зуд… Да, сэр, это нервирует, естественно. Я, конечно, понимаю, что… Да, мне приходилось слышать. А если взять верхнее веко — верхнюю часть… И использовать для нижнего века…

Да, я понимаю — будет другого цвета. Да, только на некоторое время. Грим? Да, но я не пользуюсь гримом в повседневной жизни…

Да, нам всем когда-то приходится менять некоторые свои привычки, не так ли? Да… Я полагаю, мы…

О!.. А нельзя ли использовать кожу тыльной части уха? Я понимаю. Кожа жестче… прочней. Да, я прекрасно понимаю…

Благодарю… да.

Филлис и я вернулись к машине.

По пути домой

Я никак не пойму, почему, собственно, они не могут сделать подтяжку сбоку. Взять кусочек. Господи, у меня мурашки бегут… Белое пятно под каждым глазом. Буду похожа на енота, вылезающего из ржавой консервной банки. А что будет, если веко останется на глазу? Ты не обращала внимания на тех стариков, у которых глаза прикрыты веками? Кожи у них хватает, а веко все равно опускается. Сениле эктропия. Как бы мне хотелось побольше веры… Жуть какая… Глаза.

Консультация

— Добрый день. Благодарю, доктор.

— Садитесь сюда, пожалуйста. Да… отлично. Вы хотите сказать — это просто естественное ухудшение. У нас вся семья с рыжим окрасом. Вы понимаете — веснушчатые, рыжеволосые. Ячмени, когда была ребенком. Потом стафилококковая инфекция. Венецианские каналы… Нет, я купалась в одном. Просто нужно было упасть спиной в воду, когда снимали одну картину… Я прыгнула. С широко открытыми глазами. И с широко открытым ртом. Промыть глаза тогда даже мысли не возникло… Обо всех других частях тела, но не о глазах. На следующее утро они были красные, как у рака. Нет, не веки… Белки покраснели.

Нет, мне просто интересно, можно ли взять что-то вроде… ну, лоскутка, что ли… И здесь сбоку… Я имею в виду, нижнее веко вроде как мертвая ткань… И может…

Вы не согласны. Я понимаю… Вы имеете в виду, что единственная возможность — это аппликация. То есть наложение верхнего века под глаз. Ну да… Я понимаю… То есть в моем возрасте я могла бы… Может быть, еще нескольких лет… Я бы предпочла радоваться тому, что не буду похожа на енота. Да. Вы считаете, что стоит попытаться… О, ну да. Это луч надежды. Доктор Мастард в Шотландии…

Послушай, Филлис, поедем в Шотландию. Ты и я. Посмотрим, что он скажет. Попытка не пытка.

Шотландия

— Ну что ж, вот мы и на месте — Шотландия. Еще два часа — и мы в Глазго. Он сказал, что сделает, а жить можно в гостинице. Всего несколько дней. Конечно, газеты сообщат, что я сделала подтяжку кожи лица, если только узнают об этом. Но, может, мы избежим этого… Стоит попытаться… Вперед.

Сидя над картой

Добрались. Глазго.

Он живет здесь. Гостиница аэропорта находится здесь. Тернбери Лодж — здесь. Насколько мне известно, сама клиника действительно расположена в самом городе. Рискну и позвоню ему. Он так посмотрел на меня…

По телефону

— Здравствуйте… Да. Доктора, то есть мистера Мастарда,

пожалуйста… О, да-да… Да, точно… Добрый день, сэр. Мы только что приехали в Глазго, и я определила по карте, что вы живете совсем рядом… Я хочу сказать, что мы могли бы подъехать и вы бы еще раз осмотрели меня… Отлично… Да, я знаю, где это… Спросить сестру Чарльза… Да, отлично… О, два часа примерно, разве вы не знаете?.. Отлично.

В клинике

— Думаете, это может помочь? Нет, я понимаю. Это ненадолго. Ну, кто знает. Может, и надолго… Надежда умирает последней. Вы оперируете ребенка в восемь. Господи, какая трагедия. Только половина глаза. То есть возьмут половину нижнего века… и добавят ее к половине верхнего, чтобы получилось одно целое верхнее… Потом что? Делать новое нижнее… Потом стеклянный глаз.

Ну, мой вообще-то ничего, правда? То есть у меня есть глаз… О да. И я им вижу… Еще бы. Конечно, знаю, что очень хорошо использовала все свои способности. В сущности, это вопрос моей будущей деятельности. То есть я хотела бы продолжать работать, покуда на меня есть спрос. Понимаете, та сфера, в которой я занята… Предлагать себя при наличии таких ярко-красных нижних век несколько затруднительно… Помимо всего прочего, они еще и чешутся. И я думаю о них… То есть они меня постоянно раздражают… Ну, как бы там ни было, я полагаю, что стоит попытаться. Значит, вы считаете, что прок будет… Да-да… Увидимся завтра в одиннадцать.

В гостинице

— Заходите. Дэвид (мой английский шофер), заносите сумки. И все продукты.

А что с… Совсем недурно. Не стоило судить по вестибюлю. Я возьму вот эту. В ней есть душ. Мне необходимо вымыть волосы. Возможно, что потом не придется мыть несколько дней… а то и недель.

Обеда как такового у них не было — только сандвичи, но это было прекрасно; сандвичи были вкусные, к тому же у нас хватало своих припасов. Окно было открыто, слышался гул самолетов. Но это не раздражало. А еще можно было взять электрический кофейник, горячую воду, чай, кофе, сахар, молоко, булочки с маслом, которые выпекали к утру. Сносно.

В клинику мы явились рано. Мастард уже приступил к

операции, которая длилась дольше, чем предполагалось. Он пытался спасти глаз маленькой девочке. Надо сказать, что это убедило меня в том, что нет никаких оснований для нытья: ведь у меня было два глаза.

Я немножко прогулялась, потом нас позвали внутрь. Поднялись наверх. Очень симпатичная частная клиника. Меня провели в раздевалку медсестер, где я сняла свои габардиновые брюки, чтобы они не помялись, и, конечно же, туфли и рубашку. Мне выдали халат, велели подобрать волосы и надеть на голову медицинскую шапочку. Сделав все, я спустилась в операционную. Очень красивый интерьер.

Легла на стол. Меня накрыли простыней — руки под простынь — и привязали, очевидно, чтобы я их не высовывала.

— …чтобы легче было оперировать. Очень больно не будет.

Укол иглы, слева от левого глаза, — игла, казалось, достала до самого мозга. Ой-ой-ой!

— Анестезия.

— Да.

— Вы что-нибудь чувствуете?

— В общем, да… Нет… Хотя, кажется, — нет.

— Начинаем.

— Да.

Я слышала, как скальпель разрезает кожу. Это была судьба — с неприятным лицом. Потом почувствовала, как по щеке течет вниз кровь. А он или, вернее, одна из медсестер вытирала ее. Видимо, что-то не ладилось с этим, но я, разумеется, могла видеть лишь, как они вытирали кровь. Итак, закончил один глаз. Правый был не так плох. Но его тоже нужно было делать.

Раз!

— А-а-а!

Операция закончилась как-то внезапно. Я чувствовала себя вконец разбитой.

— Вставать?

— Да, потихоньку — сначала посидите с минутку.

— Все нормально?..

— О да, у вас все будет нормально.

Встала со стола, прошлась…

— Да, все нормально. Я поеду сейчас в Тернбери Лодж и лягу в постель.

— Ну что ж, в таком случае советую ехать берегом моря — получите удовольствие.

— Прекрасно, мы поедем берегом моря.

— Я позвоню вам, чтобы узнать, как вы себя чувствуете.

— Отлично. Благодарю.

Я пошла обратно в раздевалку, оделась, вышла из клиники и направилась к машине. Села на переднее сиденье рядом с Дэвидом. Мы поехали.

День был очень жаркий. Сквозь ветровое стекло проникали солнечные лучи. Я очень чувствительна к солнцу. Моя кожа, мои глаза — в сущности, дряблость кожи и, как следствие, опущение века вызваны калифорнийским солнцем. Нет, я никогда не загорала. Всегда укрывалась, особенно когда играла в теннис. Но теннис, я не мыслю себя без тенниса. А в ту пору я не пользовалась защитным козырьком. Если бы пользовалась, капли пота могли бы помешать мне в самый важный момент.

Мы подъехали к берегу моря. Повернули на запад, потом на юго-запад. Солнце палило нещадно.

Остановились, чтобы сделать несколько снимков. Я сказала Филлис:

— Я сяду назад — слишком много солнца.

Мы поменялись с нею местами и поехали дальше.

Надо сказать, что мои большие темные очки закрывали открытые швы. В уголках глаза было пять или шесть швов, направленных вниз. Доктор вырезал лоскутик нижнего века и подвернул его, чтобы приблизить к глазному яблоку.

Приехали в Тернбери Лодж. Типичная гостиница для игроков в гольф переходной эпохи между правлением королевы Виктории и короля Эдуарда. Она стояла наверху холма, у подножия которого находилась площадка для гольфа, за нею — плескались волны Ирландского моря. Наверх вела асфальтовая дорога с многочисленными поворотами. Наверху нужно было сделать круг, чтобы подъехать к парадному входу трехэтажной гостиницы. Большой парадный подъезд. Первый этаж (по-нашему — второй) — именно там мы расположились: две комнаты, две ванные. Не совмещенные, с маленькими балконами. Очень дорогие. Сделали круг и оказались перед главным входом. Два крыла, большая клумба цветов, рядом несколько машин. Припарковались. Не слишком далеко от входа. Я хотела проникнуть внутрь незаметно. Комнаты были сняты на имя Филлис.

— А теперь слушай и запоминай (это мои слова): пройдешь к столику администратора, возьмешь ключи и выяснишь, где находится лифт. Вернешься — отдашь ключи мне. Сумки пока не берем. Дэвид их принесет позже.

Они двинулись к входу. Я осталась в машине.

Боже мой, ну и духота! В кабине жарче, чем на улице. Я вся мокрая. Подняла руку, сняла темные очки и слегка дотронулась ладонью щеки — опустила руку. Ладонь была в крови. Господи!

Не может быть. Я снова коснулась щеки. На ладони еще больше крови. Вот тебе раз — шов открылся. Где бумажные салфетки? Развернула несколько квадратиков, сложила их… Господи, как я попаду в гостиницу… Господи… Вот они уже идут. О Боже праведный, с ними швейцар…

— Да… Дэвид, скажи носильщику про багаж… Отведи его к багажнику… Филлис, подожди, у меня, вероятно, открылись швы — течет кровь. Ты знаешь, как попасть в наши комнаты? Ладно, веди.

Я последовала за ней.

— Поворачиваем направо…

— Да.

Было совсем темно. Вокруг никого.

— Где лифт?

— Напротив.

— Отлично.

Мы подошли к предполагаемой двери лифта. Лифта, однако, там не было.

— Где кнопка?

— Не вижу…

(У Филлис глаукома. Внезапно оказавшись в темноте, она ничего не видела. Я тоже ничего не видела, потому что мой глаз был залит кровью.)

— Щупай… У меня свободна только одна рука.

В отчаянии мы ощупывали всю стену. Наконец…

— Вот она.

Зашли в лифт.

— Закрой дверцу.

Поехали вверх. Дверь открылась. Вниз, в холл, спускались люди.

— Какой номер?

— Четыреста тридцатый и четыреста тридцать первый.

— Доставай ключи.

— Вот они.

— Нет, ты — дура…

Мимо шли люди. Мы двинулись в конец коридора.

— Вот она, четыреста тридцатая.

Ключи были огромные. Бедная Филлис — она так силилась… О Боже!

Наконец-то дверь открылась.

— Ладно, все нормально. Закрой дверь, позвони и попроси, чтобы принесли лед. Лед, дура! Для глаза. Надо остановить кровотечение. Звони. По телефону. Я сниму свой пиджак и лягу в ванной на пол — он прохладный. Потом легко будет отмыть, если

запачкаем кровью.

Я прошла в ванную — сняла брюки. Осталась в хлопчатобумажной блузке, нижней рубашке и туфлях. Сняла с вешалки банные полотенца — легла на пол и прижала полотенце к глазу. Льется кровь. Дверь открылась.

— Что это?

— Лед.

— Давай сюда и звони доктору.

— Куда?

— Как куда? Откуда мне знать? Ему домой — в его офис. Вызови Дэвида.

— Я здесь, мисс Хепберн.

— Послушай, Дэвид, сними туфли, носки и брюки, встань под душ и попытайся отжать кровь из тех тряпок, что я туда бросила. Просто сполосни в холодной воде и положи на коврик. А ты, Филлис, если не дозвонишься до него самого, звони в клинику. Может, там найдется какой-нибудь врач, который бы подсказал нам, что делать. Номера телефонов у меня в записной книжке — в кошельке.

Филлис принялась звонить — туда, сюда. Врача найти не удавалось. Поэтому она позвонила в клинику.

— Врач у телефона.

— Подожди, я сама.

Я вошла в спальную комнату — выглядела при этом весьма живописно — взяла трубку.

— У меня кровотечение. Я не вижу, откуда течет кровь, потому что не могу надеть свои очки.

— Вы, наверное, немножко испугались, мисс Уилбурн (он думал, что разговаривает с Филлис). Советую вам выпить немножко виски…

— Виски?

— Да, немножко виски. Потом сядьте на кровать, и кровь остановится…

— Сесть — мне?

— Да, ведь вы лежали?

— Да.

— Напрасно. Держите голову выше.

— Да.

— Как вы теперь себя чувствуете? Нормально?

— Да, нормально.

— Мистер Мастард позвонит вам позже. Я его разыщу.

— Благодарю.

— Виски…

— Виски?

— Да, обеим — лед — содовую — кровь останавливается.

Я инвалид законченный.

С Новым годом!

Что такое? Что вы сказали? Счастливо провести день… Ах да, с Новым годом. Да, конечно. Как глупо с моей стороны. Вас тоже с Новым годом!

(Звук закрывающейся двери, и палата погружается в темноту.)

Они пожелали мне счастья в Новом году? Что ж, дай мне Бог. Надо полагать, может сбыться и такое пожелание.

Я лежу здесь, в хартфордской больнице. Филлис лежит в трех метрах от меня. Мы занимаем двухместную палату на шестом этаже этой части комплекса хартфордской больницы. Сейчас около 10 часов вечера — с нами только что попрощалась медсестра, работающая с 3 часов дня до 11 вечера. Лин Ремингтон — так ее зовут. Да, она приехала вечером накануне Нового года. Я велела ей пораньше отправиться домой — чтобы не опоздать к торжественным мгновениям полуночи. Просто чертовски мило, что она вообще пришла.

О, они проявляют к нам столько внимания, столько заботы — все, кто нас лечит: Лин и Гейл, Бернис, Сью, Кэти, Диана, Марша и Рада. Действительно, работают не за страх, а за совесть. Рада даже пришла навестить нас в Сочельник. Так благородно. Ведь у других-то у всех дети, а сейчас рождественский и новогодний праздник. Что? Что мы здесь делаем?

О, разве вы не слышали? Я наехала на телефонный столб. Да, переезжала дорогу, что ведет из Фенвика в Сейбрук-Пойнт. Проехала — ну, метров пятьдесят… Потом — то ли вверх глянула, то ли вниз, то ли в сторону, то ли Бог знает чем еще отвлеклась. Ну и в результате мы врезались в телефонный столб — что называется, прямо лбом.

Можете поверить? Я не могу. Я действительно хорошо вожу — или водила? — машину. Может, что-то не то случилось с управлением? Как это случилось? Может, голову что затуманило?

Как бы там ни было, после аварии сознания я не потеряла.

Ни с того ни с сего — прямо перед моим радиатором возникает телефонный столб. Ни с того ни с сего.

Филлис, глядя на меня невидящими глазами — сидела рядом на переднем сиденье, — она как бы стала ниже ростом, потому что сползла вперед, под стекло перед сиденьем.

Помню, что я вроде бы сижу нормально. Из носа хлещет кровь. Правая нога — ступня — все еще на акселераторе. Ну, это

просто так говорится. Но что-то не то с этой правой ногой и коленом. Повернута как-то не так, и ощущение какое-то неприятное, очень противное — и в крови. И что же теперь делать?

— Эй, Филлис. Очнись. Ты жива, надеюсь?

Пожалуй, надо нажать на гудок. Кто-нибудь появится.

Пип-пип, пип-пип, пип-пип. Эй! — Кто-нибудь! — Пип-пип-пип!

— Ну же, Филлис. Открой глаза. — Неужели? Эти красные глаза. Этот залитый кровью нос. А — передняя панель. Это лучше. Об нее, наверное, и ударилась носом. — Поднимайся, дорогая… Вот и они едут.

Полицейские явились в великом множестве.

— Сюда, сержант. Нет, со мной все в порядке… То есть я — ладно… Вы, пожалуйста, позвоните моему брату Дику, хорошо? Скажите, чтобы он приехал в Халле Марина… Что я попала в аварию. Позвоните в Хартфорд — моему брату, доктору Роберту Хепберну. Скажите ему, что я попала в аварию, что мы будем в хартфордской больнице. Закажите нам палату на двоих и шесть медсестер обслуги… Вставай, Филлис. Открой глаза.

Что? Да, права есть. Где-то тут, с собой. Сейчас приедет мой брат Дик.

Нет, нет, не занесло. Я бы почувствовала. Нет. Скорей всего, я по глупости отвлеклась — на что-нибудь засмотрелась — не помню на что. Этот телефонный столб — он словно вырос перед радиатором. Ну прямо бросился на меня. Можете себе представить? А-а, милая моя Филлис, это уже хорошо! В аварию попали, дорогая, — очнись же. Я врезалась в телефонный столб. Мы сейчас — погоди минутку.

Что он делает — вот тот полицейский, — фотографирует?

Эй, вы! Не фотографируйте меня. А вот и Дик. О, и «скорая помощь» появилась. Даже две. Да, сержант. Я думаю, у меня лодыжка сломана… Просто…

Спокойно, Филлис… Они хотят положить тебя на носилки.

В хартфордскую больницу. Хотя нет, сначала в клинику на шоссе № 156. Хорошо. Просто подержите мне ногу. Положите ее на…

Вот, отлично. Ну все, едем.

Вытащи все наши манатки из машины, Дик. Мои сумки… В одной из них должны лежать права. Полицейские спрашивали… Ну все, до свидания.

Мы расстались. Едем на двух машинах «скорой помощи»: в одной — Филлис, в другой — я. Едем в клинику, что близ Риджио. Потом, спустя некоторое время, нас перенесли в другие

две машины «скорой помощи» и отвезли в хартфордскую больницу.

Положили в отделение «скорой помощи».

— Нам нужно снять с вас одежду, мисс Хепберн.

— Да, да, разумеется.

Потом я услышала:

— Ну-ка, подайте мне вот те ножницы. Мы разрежем брюки.

— Что? Что это? — заволновалась я. — Подождите! Бога ради, не разрезайте — эти брюки я купила в Англии. За двести семьдесят пять долларов… Снимите туфли, тогда легко снимутся и брюки.

Вы спросили, не больно ли было? А вы как думаете, а?

Хотя, в сущности, я бы не сказала, что больно. Похоже… Ну, немножко…

Итак, независимо от наших ощущений, каждая из нас совершает свое собственное путешествие в операционную. Оказалось — у меня неимоверно сложный перелом, в мышце застряло много обломков костей. А у Филлис были сломаны левое запястье и правый локоть, кроме того, повреждены шейный позвонок (откололся кусок) и два ребра.

И вот они слепили нас, а чего недоставало, то соорудили из проволоки и пластинок, после чего отвезли нас в палату.

Я понимаю: прежде чем их удовлетворили рентгеновские снимки, они пять раз накладывали мне на правую лодыжку гипс, каждый раз новый. Доктор Пастернак, которому помогал доктор Баттерфилд. Доктор Биби. Доктор Стивенс делал анестезию.

Что это за запах? Фу-ты. Какой противный. Ах да, мои волосы. О Боже. Я очнулась с гипсом на правой ноге — ступня на крюке.

У Филлис — гипс на левой руке — от локтя до запястья; некое хитроумное приспособление на правом локте; подпорка на шее, поставленная до полного выздоровления — одна для лежания, другая, более жесткая, — для прогулок. Ей разрешалось гулять — да.

Так началась моя жизнь. Я едва могла двигать своей правой ногой — тоже гипс. Он был тяжелый — и, конечно, двигать этот тяжелый гипс приходилось искусственным правым бедром. Тут надо упомянуть о звонке доктора Нира. Доктор Нир, из нью-йоркской пресвитерианской клиники, который семью неделями раньше во второй раз прооперировал мне правое плечо! Да — вращающаяся мышца. (Первая операция была сделана в июне 1980 года. Мне пришлось прибегнуть к ней после съемок в картине «У Золотого озера».) Спустя четыре недели после той первой операции доктор Нир сказал мне, что ее результаты

пойдут насмарку, если я начну работать раньше двенадцати, а то и пятнадцати недель. Ну, что я могла сделать? Вся группа меня ждала. Генри Фонда — Джейн — Марк Райделл, режиссер — Билли Уильямс, оператор. Декорации — жилые помещения… Им было нужно незамедлительно начинать. В противном случае предстоящая всеобщая забастовка работников кино остановила бы их и пришлось бы ждать до следующего года. Так что я дала свое согласие.

Ну и доктор оказался прав. Я повредила плечо — первый раз. Разумеется, я не собиралась отказываться от второй операции.

— Да, доктор Нир. Я понимаю. Согласна, сэр.

Никаких костылей — никаких грузов…

Как приспособиться: лодыжка в тяжелом гипсе не должна касаться пола. Поскольку правое бедро искусственное, нужно внимательно следить за тем, чтобы — не дай Бог — не произошло растяжения. Таким образом, весь вес тела приходился на левую ногу и ступню.

Например, чтобы попасть с кровати в коляску, надо спустить поврежденную ногу в гипсе. Медсестра поддерживает, чтобы она невзначай не коснулась пола. Я ставлю левую ступню на пол и — хоп! — подпрыгиваю на левой ноге, пытаясь усесться на коляску. Медсестра опускает подставку для ног, а потом ставит на нее и больную ногу. Мы отправляемся в туалет. Через дверь.

— Осторожно! Дверь узкая! Следите за руками — следите за локтями!

Ставлю коляску на тормоз. Приподнимаю больную ногу. Медсестра поддерживает ее, не давая ей коснуться пола. Опускаю вниз левую ступню. На кафельном полу можно повернуться, поджимая пальцы к пятке. Поджимаю — скольжение, пятка двинулась чуть вперед, опустилась, снова пальцы, снова пятка. Так мало-помалу подвигаюсь к кое-чему, сажусь… Потом встаю и таким же образом: пальцы под себя — пятка вперед — пятка на пол — и новый цикл — боком к коляске. Обратно в палату. Сижу в коляске до второго завтрака — потом до обеда. Потом снова в постель. Приподнимаю ступню над кроватью, чуть сползаю всем телом, чтобы лежала пониже голова. Сплю. А медсестры поочередно легонько массируют кончики пальцев, торчащих из гипса. Успокоение — сон, сон, сон.

Да, так вот… То есть такова моя история. А теперь вот Новый год. Все это было почти четыре недели назад. Мы не могли никого уговорить подежурить от трех до одиннадцати. Неудивительно — в преддверии новогодней ночи. Мы намеревались поехать домой к моей сестре Мэрион, живущей в западном Хартфорде, на первый день Нового года.

Я рано проснулась в то утро и мимо дежурной медсестры, которая заступила на смену в семь часов, проехала в коляске в ванную комнату. У меня были такие грязные волосы. Чистота идет рука об руку с благочестием. Но что поделаешь? Я подняла голову — над ванной висела какая-то штуковина, нечто вроде шланга с наконечником — пульверизатор.

— Гейл, что это за штуковина — вот тот шланг и пульверизатор?

— Это для мытья подкладных суден.

— А вот те краны — для холодной и горячей воды?

— Да — горячей и холодной.

— А можно мне помыть волосы?

— Где?

— Над ванной. Я могла бы наклониться над раковиной. Ты могла бы подержать шланг. Понимаешь, что я имею в виду? Левую ногу ставлю сбоку. Ясно? Голову держу над ванной. Сидеть буду в коляске — подгоню ее вплотную. Больную ногу поставлю в поддон душа, гипсом зацеплюсь за край, чтобы он не соскользнул. И голову над ванной. Давай, пошли. Возьми мое мыло. Ну, давай же, все получится.

И вот мы идем — действуем — правую ногу убираем. Правильно. Ты берешь шланг. Подай мне мыло. Так, хорошо. Отлично. Мочим волосы. Еще воды — лучше погорячей. Нормально — достаточно. А теперь мыло. Хорошо — хватит. Я намылю. О, так приятно. Отлично, отлично… А теперь, Гейл, — здесь — почеши. Лей воду. Хорошо, хорошо — а теперь полотенце. Выключи воду — больше не надо.

— Все, закончили. Обмотай голову полотенцем.

Это начало. Можете себе представить! Какой триумф! Да еще в утро Нового года! Какой знак — пусть мне улыбнется счастье в Новом году! Да, о чем может быть речь, — он будет счастливым, этот наступивший Новый год!

VI

Любовь

А теперь я расскажу о Спенсере.

Вы, наверное, думаете, что долго ждали этого. Ну, признайтесь. Я тоже буду откровенна. Мне было тридцать три.

Мне кажется, что теперь я точно знаю, что на самом деле означает фраза «Я люблю тебя». Она означает: я ставлю тебя, твои интересы и твой комфорт выше своих собственных интересов и комфорта, потому что люблю тебя.

Что это значит?

Я люблю тебя. Что это значит?

Думайте.

Мы употребляем это выражение всуе.

ЛЮБОВЬ никак не связана с тем, что вы ожидаете получить, а исключительно с тем, что вы надеетесь дать, то есть — сполна.

Взамен вы можете получить что угодно. Но это никак не связано с тем, что вы даете. Вы даете, потому что любите и не можете не давать. Если судьба вам улыбнется, можете рассчитывать на ответную любовь. Это жутко приятно, но такой исход не обязателен.

В реальной жизни это требует полной самоотдачи. И это включает в себя все — и ваше доброе, и ваше дурное. Я знаю, что без дурного тут не обойтись.

Я любила Спенсера Трейси. Он, его интересы и его запросы были для меня превыше всего на свете.

Такое отношение мне давалось нелегко, потому что я была самой настоящей эгоисткой.

Ни с чем не сравнимо то чувство, которое я питала к С.Т. Для него я была готова сделать все, что угодно. Мои чувства — как описать их? — дверь между нами всегда оставалась открытой: не существовало никаких оговорок, никаких потаенностей.

Ему не нравилось то или это. И я исправляла то или это. Это могло быть нечто такое во мне, что я лично высоко ценила. Но это не играло роли — я исправляла это нечто.

Еда — мы ели то, что нравилось ему.

Делали то, что нравилось ему.

Жили такой жизнью, какая нравилась ему.

Одна только мысль о том, что я доставляю ему удовольствие, уже доставляла огромное удовольствие мне.

Конечно, я не испытывала таких чувств в отношении других

поклонников. Я искала их, чтобы получить удовольствие для себя. Это отношение совсем иного рода. Оно сродни чудесной вечеринке. Но отнюдь не любви.

Ладди любил меня — в моем понимании слова. Он делал все, что только мог, чтобы доставить мне удовольствие.

Ладди заботился обо мне и заряжал меня уверенностью.

Я заботилась о Спенсере и заряжала его уверенностью.

Я познала два лучших вида взаимоотношений.

Любила Папу и Маму. Их слово было для меня решающим. Если они хотели чего-то — я делала это. И, слава Богу, — и они любили меня — я чувствовала это, и чувство это наполняло меня счастьем.

Между любовью и увлечением существует огромная разница. Обычно мы, по сути дела имея в виду увлечение, употребляем слово «любовь». Мне думается, что вообще-то очень мало людей, говоря про любовь, имеют в виду именно «любовь». Думаю, что увлечение — куда более легкое отношение к человеку. Оно основывается на ощущениях, восприятии. А влюбившись, мы слепнем.

Что же такого было в Спенсе, что очаровывало меня? На этот вопрос ответить нетрудно. Ирландец до мозга костей, он обладал уникальнейшим чувством юмора. Был веселый. Умел смеяться и рассмешить. Ему была присуща удивительная способность видеть в окружающем его мире смешное.

Существовала компания — Спенсер Трейси, Джеймс Кэгни, Пэт О'Брайен, Фрэнк Морган, Фрэнк Макхью. Раз в неделю, по четвергам, они устраивали своеобразные посиделки, именовавшиеся ирландскими вечерами. Встречались они в «Романофф». Иногда в «Чейзен». И наконец в моем доме, когда я жила в доме Бойера. Обычно я либо ложилась спать, либо уходила из дому ночевать куда-либо еще. У меня был чудесный повар и — проекционный зал. Я заказывала еду, доставала какую-нибудь кинокартину — и ирландская ночь начиналась. На мой взгляд, это сродни сумасшествию. Но ведь мы все этим грешим, не правда ли? От Бойера я в конце концов съехала и перебралась в маленький домик Спенсера, который мы арендовали у Джорджа Кьюкора. У Спенсера стало пошаливать здоровье, и мне нужно было всегда находиться рядом с ним. С тех пор не стало и ирландских ночей.

Меня спрашивали, что такого было в Спенсе, что заставило меня прожить с ним почти тридцать лет. Ответить на этот вопрос мне не представляется возможным. Честное слово, я не знаю. Могу лишь сказать, что никогда не могла оставить его. Он жил —

и я была всецело его. Я хотела, чтобы он был счастлив — был защищен ото всех невзгод — был окружен комфортом. Мне нравилось ждать его, слушать его, кормить его, беседовать с ним, работать для него. Я старалась не мешать ему, не раздражать его, не беспокоить его, не тревожить его, не изводить, не «пилить». Я стремилась по мере возможностей избавиться ото всех качеств, которые, как мне казалось, не нравились ему. Иные из моих качеств — мои лучшие, как мне мнилось, — ему, думаю, казались утомительными. Я подавляла, устраняла их, насколько это было возможно.

Когда он, образно говоря, находился на склоне жизни — последние шесть или семь лет, — я фактически отошла от дел только для того, чтобы быть рядом с ним, чтобы он был избавлен от волнений и не чувствовал себя одиноким. Я была счастлива тем, что могу сделать это. Я рисовала, писала, пребывала в покое и в надежде на то, что он будет жить вечно.

Так что же это было? Спенсер казался мне абсолютно абсолютным. Он действительно нравился мне — до глубины души, — и я хотела, чтобы он был счастлив. Не думаю, что он был счастлив. Не то чтобы он делал или говорил нечто такое, что указывало бы на то, что он несчастлив, — нет. Разве я могу сказать — кто бывает счастлив? Я — счастлива. Я счастливый человек по самой своей природе: мне нравится дождь, жара, холод, горы, море, цветы… Словом, мне нравится сама жизнь, и мне в ней так везет. Почему же мне не чувствовать себя счастливой?

Я не держу двери на запоре. Не склонна к зависти. Единственно, что по-настоящему неприятно мне, — это ветер. Я вижу в нем источник хаоса, смуты, всякого расстройства — то есть в ветре небесном.

Спенсеру не нравился холод, ему не нравилась слишком сильная жара… Ему… не нравился комфорт. Мне кажется, все это стоит того.

Спенсер был замечательный актер, его амплуа — простак. Он умел быть им. Никогда не переигрывал. Поистине попадал в яблочко. Его игра была лишена усложненности. Была открытой. Он умел рассмешить вас, умел заставлять вас плакать. И умел слушать.

Однажды кто-то спросил меня, почему я сравнила Спенсера Трейси с печеной картошкой. Вероятно, потому, что в своей актерской сути он был очень основателен. Всем своим существом пребывал в них — в своих созданиях. Его испекли и почистили — осталось в рот положить. Единственный человек, с которым его можно было бы сравнить, — это Лоретта Тейлор.

Тут надо добавить, что образ печеной картошки возник исключительно в связи с невероятным совершенством их актерских работ. В «жизни» Спенсер был бесконечно далек от этого образа. Был сложным человеком в той мере, в какой человеческому существу вообще присуща сложность.

Меня только что осенило: он не защищал себя, не умел защищать себя.

Как бы мне объяснить, что я имею в виду? Мне кажется, что в большинстве своем мы, люди, обладаем своего рода панцирем самозащиты. Мы можем укрыться за ним даже тогда, когда играем некую роль. Независимо от обстоятельств мы можем спрятаться в нем. Спенс не мог. У него не было панциря.

Возможно, именно поэтому в своем наиболее уязвимом возрасте он любил выпить — временами слишком много. У него был сильный характер. Он мог остановиться. Остановившись же, не пил вообще, и очень долго — год, два, три. В конце концов, после очередной «завязки», бросил пить совсем, навсегда. Не позволял себе попадать в ситуации, которые бы терзали его.

Мы снялись с ним вместе в девяти фильмах:

«Женщина года»

«Хранитель огня»

«Без любви»

«Море травы»

«Состояние союза»

«Ребро Адама»

«Пэт и Майк»

«Кабинетный гарнитур»

«Угадай, кто придет к обеду?»

Мы никогда не репетировали с ним дома. Почти никогда не обсуждали сценарий. Странно, правда? Ведь я всегда любила поработать со сценарием. Но не Спенс. Он предпочитал что-нибудь почитать. Скажи «да» или «нет». И только так.

Кто-то спросил меня, когда я влюбилась в Спенсера? Я не помню. Это случилось внезапно. Мы только начали сниматься в нашей первой с ним картине, и сразу поняла, что он — неотразим. Да, именно так — неотразим.

Его отец умер до того, как мы познакомились. Я никогда не встречалась с его матерью. И мало что знаю о них. Его отец сильно пил. Не думаю, что Спенс был очень близок к кому-то из своей семьи. Конечно, это не похоже на мои отношения с родителями. У него был брат, Кэррол, который в конце карьеры Спенсера вел все его финансовые дела. Но они действительно не были… словом, они были совершенно разными людьми. Кэррол был женат на женщине, с которой он познакомился у себя в

Висконсине, на Дороти. Сейчас у меня есть хороший друг в лице дочери Спенсера — Сьюзи. Она очень похожа на него, хотя у нее более легкий характер.

Кто-то спрашивал меня о взаимоотношениях Спенса, Мамы и Папы. Разумеется, они встречались. Он приезжал несколько раз в Хартфорд и Фенвик. Но они не стали близкими. Мне думается, что он им нравился, но Спенс в их присутствии чувствовал себя несколько неловко. Ведь он был женатый человек. Не думаю, что Папу и Маму это обстоятельство очень уж беспокоило. Но когда Спенс приезжал, то чувствовал себя некомфортно — в каком-то напряжении. Поэтому он редко присоединялся ко мне, когда я уезжала домой.

Понятия не имею, какие чувства Спенс испытывал ко мне. Я могу сказать одно: мне думается, что, если бы я ему не нравилась, он бы за меня не держался. Вот так просто. Он никогда не заговаривал об этом, я — тоже. Мы просто рука об руку прошли по жизни двадцать семь лет, и весь этот путь я была абсолютно счастливой.

Это называется: ЛЮБОВЬ.

Прощай, калифорнийский дом

Дорогой мой домик, я покидаю тебя. Гляжу на тебя едва ли не в последний раз. Углы, светильники, тени. Добрые дни, плохие дни. Именно здесь я жила, это было мое. Это было твое, но и столько лет — мое. Ночи, дни, разговоры. Ты сидел в кресле-качалке, Спенсер. Помнишь, как я достала это набитое конским волосом кресло-качалку? Оно стояло среди старого хлама в витрине магазина на Олвер-стрит. Собственно, лишь один каркас: никакой набивки — одни пружины да круглые планки, на которых оно качалось. Когда ты нервничал, ты любил раскачиваться в нем. Мистер Шварц, работавший у Фэнни Брайс, сумел восстановить его — набил черным конским волосом. У этого кресла была такая красивая форма. Верх спинки — с небольшим углублением, а подлокотники чуть загнуты вверх. Оно должно быть моим, это кресло. Пока же оно принадлежало какому-то китайцу, еще раньше — дедушке этого китайца. Он сказал — нет, не продается. Но я приходила к нему снова и снова. Объясняла, сколь важно тебе сидеть в нем и раскачиваться. Вот почему он наконец смилостивился и позволил мне забрать его. За весьма солидную сумму. Он не прогадал. Я — тоже. Ты тоже. Это было твое кресло, в твоем углу. У тебя был свой стол — дубовый с откидной крышкой — достаточно большой. Хорошая лампа с плетеной подставкой, много лампочек, много света. Все книги,

самые тобой любимые, и энциклопедия, и оксфордский словарь, и радио, и телевизор с дистанционным переключением программ. А слева телефонный столик и скамеечка для ног. Два телефона. Тебе было удобно. Тебе, надеюсь, был виден огонь. Огонь же горел у нас почти каждый вечер — и зимой, и летом. Было еще одно кресло, обитое красной материей, — в нем сидела я. Я купила его по случаю. Не очень тяжелое. Теперь оно кажется тяжелей. Тогда точно было легче.

Комната была обшита панелями из каштана. Потолок скорее высокий, нежели низкий, уходивший вверх и уменьшавшийся до размера квадратного метра, — видимо, предполагалось, что это должен быть световой люк, но так и не ставший таковым. В одном конце стоял письменный стол, на его крышке — стекло. Двустворчатые, доходящие до пола, окна. Письменный стол был одним из моих творений. Раньше ты жил в невзрачной маленькой квартирке на Саут-Беверли-драйв, даже не в нем, а в примыкающем переулке. Пытаться сделать ее привлекательной, честное слово, было безнадежным делом. С отчаяния мы заказали с тобой Эрику Болину — французскому мебельщику — деревянные карнизы для штор. Когда ты переезжал, я забрала их с собой, чтобы использовать их потом для крышки письменного стола: положила их на сделанные столярами две тумбочки, отстоявшие друг от друга сантиметров на семьдесят. Середину одного карниза вырезала — чтобы было куда ставить ноги. Это была большая удача — ценою в 40 долларов. Много места. Части карниза — полочки: удобно для телефонных книг. Потом я спроектировала каминную полку из каштанового дерева, которую прибили над камином. Дымоход — около трех метров. Он был выкрашен белой краской. По обеим сторонам большого дымохода стояло по колонне, в которых в пятнадцати сантиметрах от верха были сделаны вырезы, что позволяло установить полку. Каминная доска, на которую, собственно, и опиралась полка, — размером примерно пятнадцать на десять сантиметров. Каштан на фоне белого дымохода — привлекательно. Благодаря этому камин казался большим, чем он был на самом деле.

Папа нашел красивый угловой буфет в Кромвеле, штат Коннектикут. Он был сосновый, стоял в углу, слева от камина. Теперь вместе со мной он вернется в Фенвик. Мое африканское кресло стояло рядом с буфетом. На полу — большая белая, типа ковра, подстилка, поверх которой — розово-красный на белом фоне, местами черный, местами темно-голубой, примерно три на три с половиной — ковер. Божественный навахский ковер. Старинный, броский — я приобрела его в Сиэтле, когда играла там в «Серьезном деле». Ты никогда не видел того ковра —

конечно же, нет. Он лежал перед письменным столом в дальнем конце комнаты. Той, где было много окон с видом на внутренний дворик — невзрачный пейзаж — чуточку ярковатый. У меня была красивая плетеная штуковина, похожая на сито. Ты помнишь. Ты мог сидеть в своем кресле-качалке — восхитительный свет придавал дворику таинственность.

Так странно — уезжаю. Я никак не могла оставить дом после твоей смерти. Поддерживала в доме порядок, который был при тебе, даже книги лежали все там же, на дубовом столике. Сейчас я сижу в твоем кресле. К книгам никто не прикасался. Глупо, наверно. Я старалась сохранить в доме твой дух. Теперь мы оба покидаем его. Мне предложили продать старенький «тандерберд». Я хотела его оставить, но он чересчур неэкономичный. Уитни (собака Джорджа), песочный лабрадор, изорвала кожу на сиденьях в кусочки. За нею не следили надлежащим образом. Милый старичок. Так здорово было его водить — теперь уже не так. Едешь и ждешь, когда его поразит сердечный приступ. Но автомобиль-то твой — то есть мой. Мне пришлось откупить его у Луизы, когда ты умер.

Я сижу в твоей спальне и пишу все это. Ты любил, чтобы все было заперто изнутри — или снаружи? Я никогда не закрываю окон: они выходят во внутренний дворик. Конечно, можно закрыть белые жалюзи — я не закрываю. Твоя кровать стоит в том же месте — рядом с дверью в ванную комнату. С нее видно всю комнату и маленький клочок неба — тот самый, над стареньким бесформенным бананом, год за годом выбрасывающим огромные листья, потом засыхающие, ломающиеся, буреющие и вообще уродливые. Я невольно обращаю на них внимание, поскольку перебралась в твою спальню и теперь, в постели, смотрю на это дурацкое растение. Оно даже не плодоносит. Оно все такое же — бесформенное. Альберт, садовник, не подстригает его. Он любит эти мертвые листья.

Иногда — точнее, часто — я думаю о тебе, лежа в этой постели. И — ворочаюсь-ворочаюсь-ворочаюсь. Ты помнишь: в конце — мы не знали, что приближается конец — я обыкновенно клала свою подушку на пол. А иной раз — диванные подушки из гостиной комнаты. Ты принимал снотворное. Свет был выключен. Я чуть высовывала голову из больших стеклянных дверей, выходящих во внутренний дворик. Отдергивала занавеску, чтобы легче дышалось. Тебе было безразлично, какой в комнате воздух. Для тебя важно было только, чтобы все было заперто и чтобы ты находился в полной безопасности. Мы немножко разговаривали о том о сем. Ты пытался справиться со сложнейшей для себя задачей — уснуть. Поэтому говорила в основном я. Понимаю, что

докучала тебе. Но я не думаю, что тебя это раздражало. Просто была рядом, была с тобой. И ты сознавал, что у тебя есть человек, на которого можно положиться. Но ты метался и все ворочался, ворочался, ворочался и — вздыхал. Почему? В чем была причина? В чем… в чем? Жизнь, в которой не было и минуты покоя. И вот ты стал уже стариком. А ведь тебе было всего шестьдесят семь. Ты терзался чувством вины. Жутко переживал, мучился. Не потому ли, что презирал себя? Актера, равного тебе по таланту, не было. Ты и Лоретта. Я всегда это говорила — и так думала. Вы оба ирландской крови. И оба не в ладу с жизнью. Оба стремились всегда обрести — хотя бы на время — забвение в той или иной форме. С помощью алкоголя — смеха — чего угодно. Актерское ремесло давалось тебе необычайно легко, не так ли? Ты просто умел играть. Нервные клетки сами трепетно жаждали момента, когда они могут включиться в действие. Игра избавляла их от бездействия.

С самого начала это было предопределено, не правда ли? Я жила в доме Эдгара Бергена. Я отдыхала тем летом вместе с Бобом Макнайтом, моим старым другом. Почему я не выхожу за него замуж? Я хорошо знаю его… Он мне нравится… оба мы обожаем теннис. Знакомство наше началось, когда мне было пятнадцать. Я пригласила его вместе провести лето. Нам с тобой — тебе и мне — предстояло сниматься в «Женщине года» у Джорджа Стивенса. Я только что познакомилась с тобой. Ты считал, что у меня грязные ногти. Мне кажется, ты думал, что я лесбиянка — но недолго. Ты действительно так считал. В самом начале сороковых. У Майка Кэнина и Ринга Ларднера были трудности из-за Гарсона. Им никогда не удавалось сделать что-нибудь зрелищное. Я послала в «Метро-Голдвин-Майер» сценарий на семидесяти восьми страницах. Сюжет сводился к взаимоотношениям спортивного редактора — роль для тебя — и политического комментатора, работающего в стиле Дороти Томпсон, — роль для меня. Я написала, что за все про все это составит 250 000 долларов: половина — мне, половина — сценаристу.

Но это происходило до того, как они купили вещь. До появления этого дома — до того, как мы в нем поселились.

Сейчас я лечу в самолете. Идет дождь. Сегодня 21 ноября 1978 года. Нужно было грузить мебель в грузовик. Но мне не хотелось, чтобы погрузка велась под проливным дождем. Самым что ни на есть проливным.

Так тяжко было расставаться с этим домом. Теперь дело сделано. Шаг за шагом, шаг за шагом человек постепенно удаляется. После почти тридцати лет. Въезжают его друзья —

Сьюзи и Сьюзен (дочь Спенса и ее друг). Они взяли себе кое-что на память. То хрустальное яйцо, где написана дата твоего рождения. Его подарила тебе Кэти Хаутон, моя племянница. Ты родился 5 апреля. Они взяли себе несколько книг: «Старик и море», первое издание, с посвящением Хемингуэя — «Спенсеру от Папы». И ту чудесную фотографию с поздравлением к Рождеству от генерала Монтгомери, которую он подписал тебе: он сидит за столом, напротив — Уинстон Черчилль в своей огромной стетсоновской шляпе, настоящий ковбой. Они сидят в палатке и пьют вино. Очень спокойные. Сьюзи она очень понравилась. Она хочет поставить ее в рамку. Я рассказала ей ту замечательную историю, как вы познакомились на «Королеве Марии». Помнишь? Тебя пригласили на вечеринку к капитану. Там же был и Монтгомери.

— Спенсер Трейси? — спросил он. — Я не ошибся?

— Да, — сказал ты, — это так.

— А откуда вы родом? — Во взгляде — ничего, что бы выражало, что он узнал тебя.

— Не совру, пожалуй, если скажу, что из Калифорнии, — ответил ты, не снисходя до большего.

— Калифорния большая.

— Лос-Анджелес. Из пригорода, если точней.

— Хорошее место.

— Да…

— Вы там родились?

— Нет… Мало кто, кажется, родился в Калифорнии.

— Как долго вы…

— О, несколько лет… Хотя… Впрочем, да, конечно.

— У вас там свое дело?

— Можно считать и так… Да, пожалуй.

— Что-то, что связано с Калифорнией?

— Не то чтобы… А вообще-то да… Наверное, можно сказать, что связано с… Хотя…

— Хотя что?

— Да ничего, в сущности…

Он ждал, что ты непременно признаешься ему в том, что ты киноактер. Ты же в не меньшей степени был настроен на то, чтобы не сказать ему. Вероятно, он просто валял дурака, притворяясь, будто не знает, что Спенсер Трейси — киноактер. А ты… Я так и слышу, как ты говоришь мне, что я неточно передаю эту историю.

А еще я отдала Сьюзи ту прекрасную картину, что подарил тебе на Рождество Крамер. И те статуэтки — тоже крамеровские: целый оркестр из серебра и бронзы — восемь фигурок. Помнишь?

Мы как раз тогда закончили «Угадай, кто придет к обеду?». Я нашла его открытку. Он подарил нам обоим: «Пусть ваша музыка длится вечно». Но предназначены они были, в сущности, тебе одному. Вот я и подумала: пусть все это будет принадлежать Сьюзи. Оставила у себя только открытку. И карандашные рисунки Тулуз-Лотрека — в позолоченной раме. Я подарила их тебе однажды на Рождество. Биллу Селфу продала лодку с каминной доски. А еще он купил маленький столик из твоей спальни. Больше я ничего не продавала, кроме одной вещи — дубовой подставки для ног, что стояла возле твоего кресла-качалки. Ее купил Алан Шейни. Он хотел было купить еще и те два больших кресла — они стояли по бокам камина. Но их просила у меня Бетти Бэкол, которой я не могла отказать, поскольку когда-то скопировала их с ее собственной пары кресел. Теперь у нее есть и загородный дом, помимо тех двух, что находятся в черте города.

Для жизни они не очень удобны, но вид у них весьма презентабельный. Мы забираем с собой старые письма, телеграммы. Те, что имели отношение к твоей карьере, я отдала Сьюзи. Все печальные — связанные с твоей болезнью и смертью — оставила себе.

Теперь о том, что случилось в ту ночь, когда ты умер. Ты лег спать. Решив, что ты заснул, я вышла из комнаты. Я всегда так делала. У тебя под рукой находилась кнопка звонка и шнур — в три километра длиной. Уходя куда-нибудь внутрь дома — или наружу, — я неизменно брала звонок с собой, так что всегда слышала, если ты звал меня. В ту ночь ты не звонил. Было три часа утра. Тебе захотелось горячего чаю. Помнишь, мы всегда держали чайник на очень слабом огне? Нет, ты не позвонил. Но я слышала, как ты спускаешься вниз. А потом слышала, как ты входишь в кухню. Я поднялась, обула тапочки и направилась к двери в кухню. Как раз когда я собралась уж было открыть ее, раздался звон разбившейся чашки. Потом тяжелые шаги и внезапный глухой звук. Это ты упал на пол. Я рванулась в дверь. Да — это был ты. Ты был — мертв. Как будто все остановилось… Разом… Конец…

Да, машина остановилась. Три часа утра. 10 июня 1967 года. Просто остановилась — бац! Коробка полетела. Емкость стала просто слишком маленькой для всего того — как бы это назвать? — всего того безумного материала, что проникает в душу. И вот пришел покой.

Я клонилась и попыталась поднять — мертвый. Нет жизни — нет пульса — мертвый. Спенс — мертвый. Его больше нет. Он ушел. Глаза закрыты. Чай, который пролился на него. Он так и не успел понять, что случилось…

Милый, милый друг — ушел. Эх, ну и везучий. Вот как надо уходить. Вышел за дверь и — был таков.

Я села. Ну конечно, везучий. Это хорошо, Спенс. Хорошо. Прекрасно сработано. Ты ненавидел строить догадки и болеть. Но в действительности ты не был больным. Никаких страхов, ахов, стенаний и беспомощности. Ты проявил самостоятельность — ушел. И никогда не вернешься.

Что делать, что делать… О Боже, ушел…

Звонок Филлис. Она жила наверху, на холме — 1300, Тауэр-Гроув-драйв. В домике Джека Бэрримора размерами со скворечню. Мы использовали его как своего рода студию. Она там ночевала. Наш дом в деревьях. Застекленная крыша — высокие потолки — окна — солнце — Божий свет. Мы выращивали орхидеи. А я рисовала. Плохо рисовала. Зато — удовольствие. И гости приходили на чай — но это было давным-давно. Дом приятно смотрелся.

Я позвонила Филлис.

— Спенс умер.

— Иду…

Ты мертв. Я положила тебя на ковер. Нести тебя мне было не под силу. Я говорю «я». Но точнее… Потом я позвала Вилли и Иду Геци, которые жили рядом: она была нашей экономкой, он служил помощником садовника у Джорджа Кьюкора. А поскольку Джордж сдавал Спенсу этот дом, то был и нашим садовником тоже. Они пришли и помогли перенести Спенса на кровать. Я накрыла его покрывалом и зажгла свечи. У него было счастливое лицо человека, рассчитавшегося с жизнью, которая — при всем внешнем благополучии — была для него тяжким бременем. Такой умиротворенный. Он, которому так не спалось в этой постели. Никто теперь не может помочь ему. Человек сам строит себе тюрьму. Наверное, я никогда не знала его. И он — единственный человек, знавший меня. Мне кажется, ему было со мной удобно. Надеюсь. Дорогой Друг.

Что теперь нужно сделать? Позвонить семье? Позвонить Стенли Крамеру. Уехать?.. Нет… Да… Потом позвонить. Пришла Филлис. Мы перенесли все мои пожитки — одежду, личные бумаги — в мою машину. Потом я подумала: Боже, Кэт!.. Что ты делаешь?.. Ты прожила с ним почти тридцать лет. Это твой дом. Ведь так? Это часть тебя самой. Эти стены, эта крыша, это место на земле. Я отнесла все обратно в дом. Ты не вправе зачеркнуть тридцать лет своей жизни.

Что дальше? Я позвонила врачу.

— Да… Он мертв… Удар… Самая легкая смерть. Да… Он очень везучий.

— Давай позвоним Говарду Стриклингу, в отдел связи с общественностью «Метро-Голдвин-Майер». Он знает, как объясниться с прессой.

Дозвонились до Говарда. Он обещал подъехать — немедленно. Потом позвонили Джорджу Кьюкору.

— Джордж, приезжай. Спенс умер.

— Одеваюсь.

Позвонила семье Спенса: его жене Луизе, его детям, Сьюзи и Джону, брату Кэрролу и его жене Дороти.

Постепенно начали все подъезжать. Кэррол связался с похоронным бюро «Каннингэм энд Уолш».

Приехала семья.

— Он в доме… Есть кофе и кое-что на завтрак. Яйца? Бекон? Гренки? Фрукты? Что-нибудь… Пожалуйста, ешьте… Да, конечно, в память о Спенсе.

— Пожалуйста… — Это была Луиза.

Она спустилась в холл со своей чашкой кофе. Да, конечно, чувствовала себя неловко. Она так и не смирилась с уходом мужа. Теперь он был мертв. И никогда не вернется. Она думала, надеялась, воображала, что он-таки вернется к ней. Но теперь все эти надежды умерли вместе с ним. Эта странная женщина… Я… была, вероятно, с ним, когда он умирал. А он мой… О…

Приехали из похоронного бюро.

— Какой костюм? О, старые серые брюки и коричневый твидовый пиджак — старый… Все готово. Они понесли их туда…

— Но он мой муж — я вправе выбрать…

— О, Луиза… Какая разница?

И вдруг он исчез. И все стали выходить из комнаты. Дороти попросила у меня ключи от дома.

Филлис сказала:

— О чем вы говорите, Дороти? Ключи от дома?.. От нашего дома?

И Дороти прикусила язычок, повергнутая в молчание английским изяществом и негодованием.

У Сьюзи немного кружилась голова, и она вместе с Филлис вышла во внутренний дворик. Джонни дали выпить две таблетки — он, похоже, был потрясен самим фактом смерти и тем, что находится в этом странном доме, с этими странными людьми: ведь он был глухой и жизнь его не была сладкой. Он столь многого был лишен.

Врач тоже ушел. Все, что нужно, он сделал. Потом ушел Джордж; Потом Говард Стриклинг. Он оповестил прессу. Было шесть часов утра.

Все это произошло в этом маленьком доме. Нашем

маленьком доме. Так странно расставаться с ним. Хуже… Или нет, не хуже, но мне бы хотелось знать — я никогда не видела дом Папы и Мамы после того, как уехала из него. Не осмеливалась даже пройти мимо него — № 201, Блумфилд-авеню. Они так привыкли к нему. А теперь вот этот дом. Как много лет прожито в нем. А когда ты умер, я ухаживала за ним, потому что это было все, что осталось от тебя. Очень долго все оставалось в том виде, как было при тебе. Потом мало-помалу стало изменяться. Я начала выбрасывать твои лекарства, кое-что по мелочи. Несколько лет я хранила пижамы и красный фланелевый халат, в котором ты умер. Он висел на старом дубовом кресле в спальне, когда я жила в доме. Ты был в нем, когда они повезли тебя в похоронное бюро. Ты пробыл там несколько дней — на случай возможного пробуждения или как это у них там называется, — словом, за тобой там наблюдали. Я спустилась вниз, когда все ушли. Посидела немножко, без мыслей, в сущности. Вот и все, что осталось от того, что нам хорошо известно. Все это — в глубине моей души… я вправе быть довольной. Ты — тот восхитительно мятежный дух, полный смеха… и все же такой грустный. Тебе было грустно? Почему? В чем была причина? Может, глухота Джона и чувство вины? Может, тебя мучила необходимость оставаться женатым? Ведь ты по-прежнему был мужем Луизы. Мне кажется, именно этого она и хотела. Она просто не могла смириться с фактом, что ее замужеству придет конец. Не думаю, чтобы понимала, что почти и не бывает по-другому, когда ребенок рождается с физическим изъяном. Жена сосредоточивается на ребенке, а муж как-то отдаляется. Он не может смириться с тем, что его ребенок может быть неполноценным. Жена же не в состоянии понять, что творится в душе мужа. Страдания; наслаждения, чтобы избавиться от страданий; уход в запой, чтобы позабыть про наслаждения. В конечном счете ты жертва того, что определяется словом «нерешительность». Ты не мог оставить ее, ибо она не хотела быть покинутой. Вся забота о Джоне была на ее плечах. Что делать? Что делать? Должна сказать, что будь я на твоем месте, то не могла бы придумать, как мне поступить. Поэтому ничего — ничего ты и не сделал. А время шло. Я не настаивала на замужестве. И нам вроде бы жилось хорошо и счастливо, несмотря на проблемы с твоим здоровьем. Мы вели очень замкнутую жизнь. Но она нас удовлетворяла. Я чувствовала себя нужной тебе, и мне это доставляло радость. В то время как большинство женщин моего возраста становились невостребованными, поскольку к ним пропадал интерес — в интимном смысле или профессиональном, — я была необходима

каждый час дня и ночи. Тебя беспокоило, что я как бы поставила крест на своей карьере. Мне не надо было мучиться по поводу того, что можно было бы сделать в профессиональном плане, поскольку я не была, так сказать, представлена на рынке. Была свободна от этого чертова «я».

Оглядываюсь назад… Полагаю, что теперь на меня оказывает влияние Сьюзи и тот факт, что я знаю ее. История нашего знакомства и забавна, и очень трогательна. Обычно я каждый день играла в теннис с Алексом Олмедо на кортах отеля «Беверли-Хиллз». Однажды я пришла туда с Лобо. Это была наша со Спенсом собака. Псу было приблизительно три года. Помесь сторожевой с койотом: по размерам вдвое меньше сторожевой — мягкая шерсть — одно ухо торчком, одно висячее. Полхвоста не было. Лобо был существом с явным собачьим юмором, колоритный, изящно поставленная, красивая голова, большие, светящиеся радостью глаза. Мы были друзьями, и он повсюду сопровождал меня. В его повадках ощущалось высокомерие, и нос у него всегда был чуточку приподнят вверх. Смешно. Как бы там ни было, я его очень любила.

Итак, мы прошли через ворота на теннисный корт. Внезапно, почти у нас за спиной, возникла девушка. Она вдруг покраснела до самой шеи, при этом она была полна решимости.

— Это Лобо, не так ли?

— Да, — сказала я. — Это Лобо… — «Кто? Кто это может быть? Да, конечно, — подумала я, — это — Сьюзи. Дочь Спенса».

— Он симпатичный.

— Да, симпатичный, Сьюзи.

Вдруг мы обе словно язык проглотили… тягостное молчание.

Потом я:

— Послушай, Сьюзи, если хочешь познакомиться со мной поближе, это несложно. Ты знаешь, где я живу, знаешь и номер телефона. В любое время…

Она позвонила. Мы подружились. Вот так… Просто.

В общем-то именно она невольно заставила меня задаться вопросом, правильно ли я поступила, не оформив официально союз со Спенсом. Тогда бы я могла познакомиться со Сьюзи и Джоном и раньше, через их отца. Так было бы намного проще. И это наверняка избавило бы самого Спенса от чувства вины. Это было бы правильным решением.

После смерти Спенса — спустя несколько дней — я позвонила Луизе:

— Знаете, Луиза, мы могли бы с вами дружить. Вы знали его вначале, я в конце… Во всяком случае, пусть формально, я могу быть полезной детям.

— Конечно, — сказала она. — Но вы понимаете… Я думала, что все разговоры о вас и Спенсе — только сплетня…

Это после без малого тридцати лет? Сплетня? Что можно было ответить на это? Она нанесла мне глубокую рану — вонзила занозу, которую просто невозможно вытащить. Почти тридцать лет Спенс и я были вместе, пережили всякое — и хорошее, и плохое. А для нее это — сплетня… Она никогда не признавала реальность моего существования… Она — жена… И оставалась ею… И присылала ему открытки на Рождество. Спенс — виновник. Она — страдалица. А я… Что ж, я выросла в атмосфере, чуждой всяких условностей. К тому же не я виновница краха их брака. Это произошло задолго до того, как я вошла в его жизнь. И как уже говорила, я не могла решить, что будет лучше для Спенса. И потому никогда не заговаривала с ним на эту тему. Только однажды сказала: «Все в порядке. И не оставляй мне, пожалуйста, денег — от них только больше хлопот, тем более что у меня своих вполне достаточно». А в Калифорнии мы никогда не появлялись вместе на публике. И — это совершенно точно — никто никогда не фотографировал нас ни на светских раутах, ни в домашней обстановке. В конце концов, по прошествии определенного времени, нас оставили в покое. Уважение, заработанное со временем. Так что внешне все было гладко.

Теперь мне кажется, что я выбрала легкую дорогу. Узлы нужно разрубать. Тогда все — в данном случае Сьюзи и Джон — имели бы возможность видеть своего отца со мной. Было бы лучше. Но тогда неизбежно возникло бы давление со стороны Луизы, которая чувствовала бы себя проигравшей в такой ситуации. И все-таки такое решение проблемы было бы вполне благопристойным для нее и предельно честным по сути. И сделать это Спенс мог бы легко — такой выход напрашивался сам собой и снимал тяжесть со всех. В этом случае он бы выбрал лучшее из двух. А если бы увидел, что это исходит от нее, то избавился бы и от чувства вины.

О да, чтобы быть способной на такой поступок, нужно было быть святой. Да, именно так. Но что плохого в святости? Согласна: слишком много вопросов. Луиза была в безнадежной ситуации.

Что касается меня — я просто жила. Не стремилась предпринять что-то кардинальное. И оставила решение этой проблемы за Спенсом. А он пребывал в нерешительности.

Но я извлекла из этого урок — человек обязан четко рассчитывать свои силы, берясь за решение той или иной проблемы. И только потом начинать борьбу. Или не начинать ее вовсе. Вы любите кого-то? Если вы его любите, а он всем своим

поведением дает понять, что хочет расстаться, и вы действительно знаете, что все кончено, — дайте уйти! Возьмите на себя инициативу. Проявите благородство. Это принесет больше пользы, чем если вы будете цепляться за него и постоянно напоминать ему о себе и о том, каким кошмаром была ваша совместная жизнь. К тому же так честнее. И это позволило бы сдвинуться с мертвой точки. Не имеет смысла сохранять неудавшийся брак. Новые отношения открывают новые возможности и определенные перспективы для обеих сторон. А упорствовать в своей несостоятельности бессмысленно.

— Алло!

— Доброе утро.

— Добрый вечер.

— Как поживает Джонни?

— Как поживает Сьюзи?

— Как поживаете…

Пустота. Тоскливо до смерти. Грустно. Расплата за то, что прожила жизнь, сидя на чужих коленях.

Что ж, так было. И ничего не изменить. Спенс умер. А теперь и Луиза ушла из жизни. Я уверена, что все и для нее было безумно тягостно. Путешествовать по дороге, которой на самом деле не существует.

Утро похорон. Вообще-то последняя ночь в… как это у них там называется, когда тело лежит в похоронном бюро. Я спустилась вниз после того, как все вы ушли. Вошла внутрь.

— Простите, мисс Хепберн, саркофаг закрыт. Миссис Кэррол Трейси велела мне закрыть его. Я… Мне…

— Нет-нет — пусть… В сущности, это не важно… Я хотела… несколько небольших пожеланий, но это не важно. Ничего, пусть. Я просто постою с минуту.

Мне хотелось тогда еще раз посмотреть на его лицо. Но какая разница — вчера — сегодня — завтра… Он ушел, Папа ушел, Мама ушла. Их история окончена. А я все еще здесь, но мыслями своими в значительной мере живу с ними. Они — это я. Везучая я, правда? Гуляю по жизни за всех троих. Грустно, что саркофаг закрыт. Интересно, обнаружили ли они мой маленький рисунок с цветами, который я положила ему в ногах? Вряд ли. Да и не важны они — вещи. Никогда не цепляйся за вещи. Так говорили Папа и Мама. Вещи — пустое. Это действительно так, а ему теперь ничто не может навредить.

На следующий день — отпевание в католической церкви Голливуда, на бульваре Санта-Моника. Мы с Филлис, конечно, не можем присутствовать при этом — не хочется выглядеть белыми воронами.

Представив, каким будет последний путь Спенса по городу, я сказала Филлис:

— Поедем в похоронное бюро «Каннингэм энд Уолш», попрощаемся со стариной.

Мы поехали. Заглянули внутрь. Ни единой души — только гроб. Тогда мы отправились к подъездной аллее.

— Кто-нибудь будет?

— Нет.

— Можно, мы поможем?

— Ради Бога!

И мы помогли погрузить Спенса на уготованное ему место в катафалке. Закрыли дверцу. Они тронулись, а мы поехали вслед за ними. Его кортеж. Сначала до Даун-Мерлоуз, потом налево на Вермонт; наконец вдали показалась церковь. Они продолжили свой путь к церкви, а мы остановились. Прощай, друг… Здесь мы с тобой расстаемся…

Мы развернулись и поехали домой.

Дорогой мой Спенс

Кто бы подумал, что я буду писать тебе письмо. Ты умер 10 июня 1967 года. Боже мой, Спенс, прошло двадцать четыре года. Это долгий срок. Счастлив ли ты наконец? Все это долгое время, что ты провел на покое? Воздано ли тебе сполна за все твои душевные терзания в жизни? Знаешь, я никогда не верила, когда ты говорил, что не можешь заснуть. Я думала: ну давай же, засыпай — ведь сон спасал тебя от смерти. Ты был такой взвинченный. А помнишь ту ночь, когда ты был так встревожен? И я сказала — ладно, иди в дом, ложись спать. А я лягу на пол и поговорю с тобой, чтобы ты заснул. Я просто буду говорить, а когда тебе надоест меня слушать, то ты заснешь незаметно для себя.

Ну вот, я пошла в дом, взяла старую подушку и собаку Лобо. Легла на пол, смотрела на тебя и гладила старину Лобо. Я говорила о тебе и фильме, который мы только что закончили, — «Угадай, кто придет к обеду»; о моей студии и о твоем новом твидовом пальто; о саде и разных милых, успокаивающих вещах — о кулинарии и скучных сплетнях. Но ты не переставал метаться: направо, налево, поправлял подушки, дергал то и дело простыни… Без конца, без конца, без конца. Наконец — воистину наконец, а не просто — ты успокоился, затих. Я подождала некоторое время, а потом вышла из комнаты.

Ты говорил мне правду, так ведь? Ты действительно не мог спать.

А я все удивлялась тогда — почему? Я все еще мучаюсь этим вопросом. Ты принимал таблетки. Сильнодействующие. Ответь, ведь иначе ты вообще бы не спал. Жить тебе было нелегко, верно?

Чем нравилось тебе заниматься? Ты любил ходить в море, особенно в штормовую погоду. Ты любил поло. Но потом в авиакатастрофе погиб Уилл Роджерс. И с тех пор никогда ты уже не играл в поло — никогда. Теннис, гольф… Нет, это было не по-настоящему. Ты забивал несколько мячей. Играл честно. Не думаю, чтобы ты когда-либо «свенговал» в гольф-клубе. «Свенговать» — считается ли это словом? Плавание? Да, ты не любил холодную воду. А прогулки пешком? Нет, это тебя не устраивало. Это такой род развлечений, при котором ты одновременно мог размышлять — о том о сем… О чем, Спенс? О чем же? О чем-то важном, вроде глухоты Джонни, или о своей причастности к католической вере, о своей неправедности как католика? Никакого внутреннего покоя, никакого. Помню, как отец Киклик укорял тебя за то, что ты сосредоточен на всем дурном, что ты не хочешь сосредоточиться хоть на чем-нибудь хорошем, как того требует твоя религия. Наверное, предметом твоего внимания было нечто очень важное, нечто такое, что неотступно тебя преследовало.

И неоспоримый факт. Ты был воистину великим актером. Я говорю так, поскольку верю в это, а еще потому, что слышала это от многих людей, работавших с нами. От Оливье, от Ли Страсберга, от Дэвида Лина. Ты умел делать свое дело. Причем умел делать так поразительно просто, так непосредственно — ты просто умел делать это. Ты не мог вжиться в свою собственную жизнь, зато ты умел жить жизнью любого другого человека. Ты был убийцей, священником, рыбаком, спортивным корреспондентом, судьей, газетчиком… Ты подавал им пример.

Для тебя не было необходимости учиться. Ты схватывал главное, не затрачивая много времени. Это впечатляло. Временами ты мог быть кем-либо еще. И не был самим собой — значит, был в безопасности. Ты любил посмеяться, правда ведь? Ты никогда не упускал случая посмотреть на игру замечательных комиков: Джимми Дюранте, Фила Силверса, Фэнни Брайса, Фрэнка Макхью, Микки Руни, Джека Бенни, Бернса и Аллена, Смита и Дейла. И твоего любимца — Берта Уильямса. А забавные случаи? Ты мог пересказывать их — и блестяще. Умел посмеяться над самим собой. Ты получал огромное, огромнейшее наслаждение от дружбы и поклонения таких людей, как муж и жена Кэнины, Фрэнк Синатра, Боги и Бетти, Джордж Кьюкор, Вик Флеминг, Стэнли Крамер, семья Кеннеди, Гарри Трумэн, Лью Дуглас. Ты был веселым с ними, тебе было весело с ними, ты

чувствовал себя уверенным, находясь с ними.

Но потом вновь жизненные испытания. О черт, выпей… Нет… Да… Возможно. Потом — прекрати пить. Ты был неподражаем в этом, Спенс. Ты умел просто взять и остановиться. Как я уважала тебя за это.

Ты обронил как-то по этому поводу фразу: пока тебя не защищают два метра земли сверху, нет никакой гарантии. Но зачем тогда запасной выход? Почему он был всегда открыт? Чтобы убежать от самого себя — неподражаемого?

В чем же была причина, Спенс? Я все собиралась спросить тебя. Ты знал — в чем?

Что ты сказал? Я не слышу…

Вверх по лестнице — с помощью…

Да, мне повезло, что у меня были близкие люди. Ну да, Мама и Папа, а позже и Ладди. О, Ладди, чего бы я могла добиться без тебя? Эдди Кнопф — он дал мне первую роль. Он увидел меня и рискнул. Да, давай попробуй — подключайся. Это было в Балтиморе в 1928 году. Ой-ой! Потом он перебрался в Нью-Йорк. И вновь рискнул — поручил мне главную роль. Потом, правда, уволил. Но меня заметили. Да, Артур Хопкинс. От него я получила прелестную роль в маленькой пьесе. Это была безвкусная поделка. Ее закрыли через два дня, но он дал мне другую работу — подменять Хоуп Уильямс в «Празднике». И снова Ладди и моя подруга Алиса Палаш: «Ты молодец, Кейт, ты просто…» Что бы я делала без этой поддержки?

Лора Хардинг — как она меня вдохновляла! Искушенная в житейских делах. Я считала, что она — чудо, а она убеждала меня, что чудо — это я.

Филлис Уилбурн — неизменно, двадцать четыре часа в сутки, все семь дней в неделю — рядом. Вечно.

Джордж Кьюкор. Какое множество картин!

За шестьдесят лет круг людей, которых я считаю своими близкими, расширился. Круг тех, кто поддерживал меня, выручал меня. Они вселяли в меня мужество. Ведь без них — ни за что не подняться на самую вершину.

Моя милая подруга Лора Фратти — она учила меня, как правильно играть на рояле в фильме и на сцене. Ну разве она не чудо?

Наверняка я не смогу назвать многих из моих помощников, моей опоры, которые каждый день сопровождали меня по жизни: кто проталкивал, кто слушал, кто способствовал, кто наставлял.

Чарльз Ньюхилл, сорок три года кряду. Ладди, Фишер, а теперь Джимми Дэвис.

И Нора: мысль невопрошаемая, пища, безграничная забота, любовь. «Вот, прошу вас, мисс Хепберн».

И Шарон Пауэрс. Честное слово, без тебя — полнейший хаос.

Тони Харви. Друг — настоящий.

Дэвид Эйхлер — «моя» филадельфийская история.

Скотт Берг — мой главный критик.

И конечно же, Синтия Макфадден — моя подружка, которая помнит мою жизнь лучше, чем я сама.

Фрея Мэнстон — мой агент, моя надсмотрщица. Это она, в сущности, заставила доделать эту книгу.

И — опять-таки — Мама, и Папа, и Пег, и Боб, и Дик, и Мэрион, и Кэти Хаутон.

И наконец — Сонни Мета, мозговой центр. Глава издательства «Кнопф».

Воспоминания… Они все… О, благодарю.

Да, везучая!

Иллюстрации

Кэтрин Хепберн (первая слева) с матерью,
сестрами и братьями

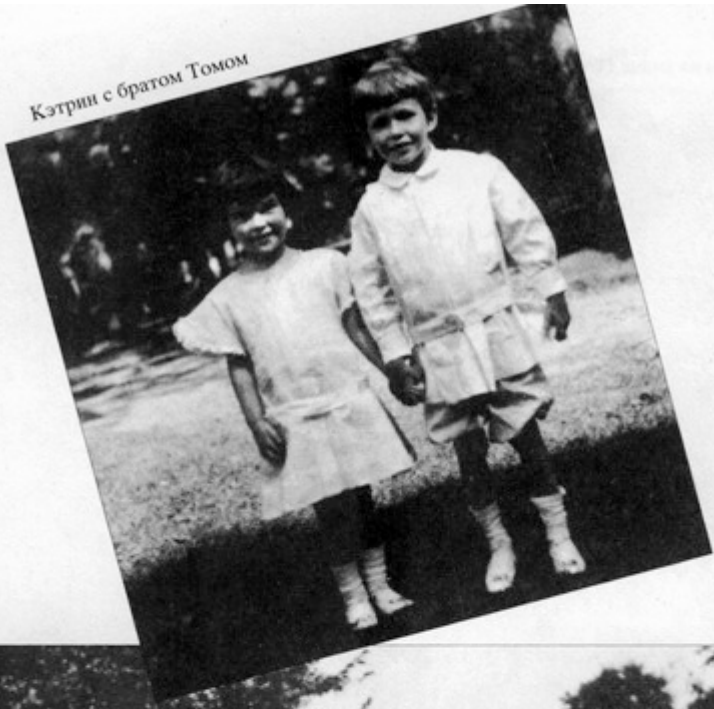
Отец — Томас Норвэл Хепберн

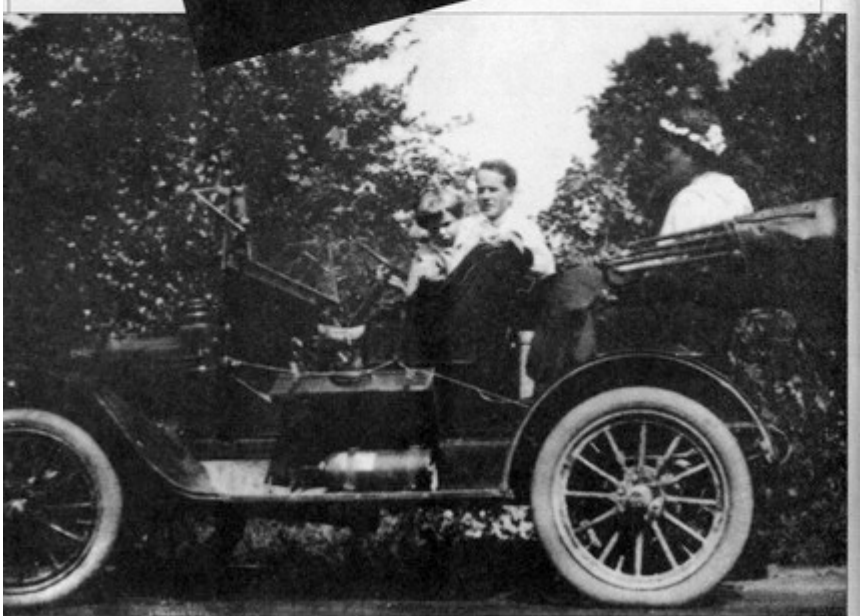
Мать Кэтрин — Марта Хаутон Хепберн

Дом на улице Готори

Кэтрин
с сестрами

Кэтрин с братом Томом





Старенький «максвелл» Хепбернов, который так любила Кэт

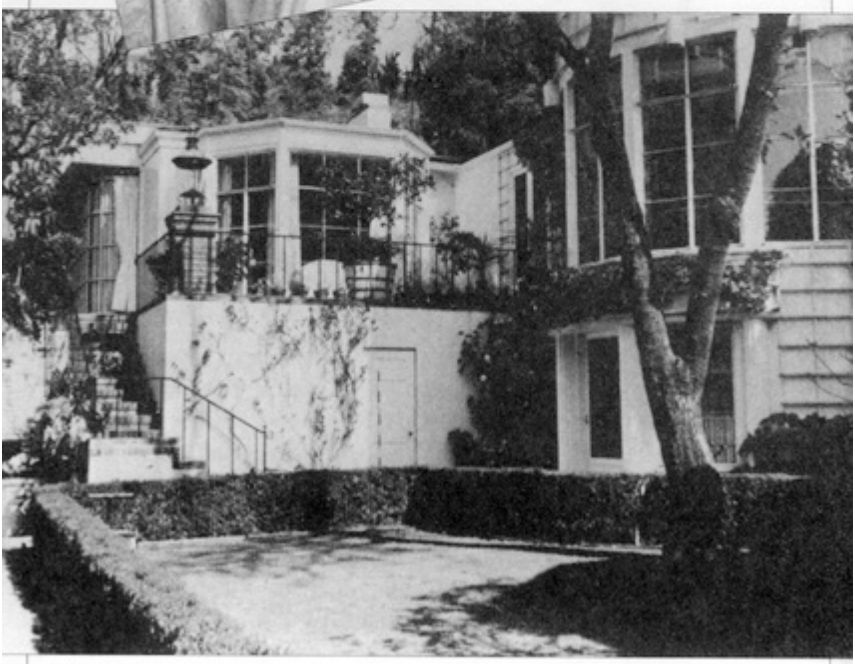
Так выглядит Фенвик сейчас

Лора Хардинг

Кэтрин и Ладди

С Дэвидом Меннерсом
в фильме «Билль о разводе»

Кэтрин Хепбери
с Джорджем Кьюкором



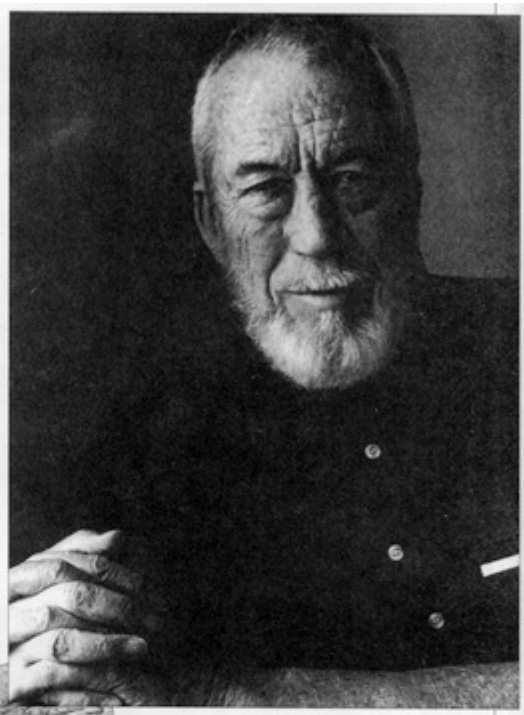
Особняк Кьюкора на Кордел-драйв, с которым так много связано

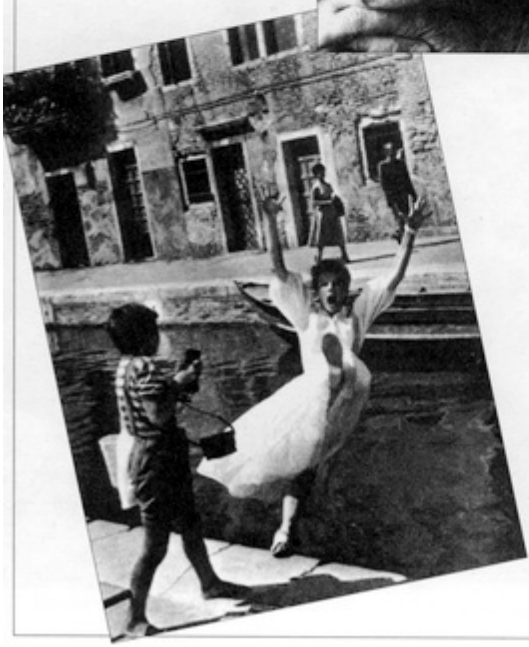
Филип Барри

Гарсон Кэнин

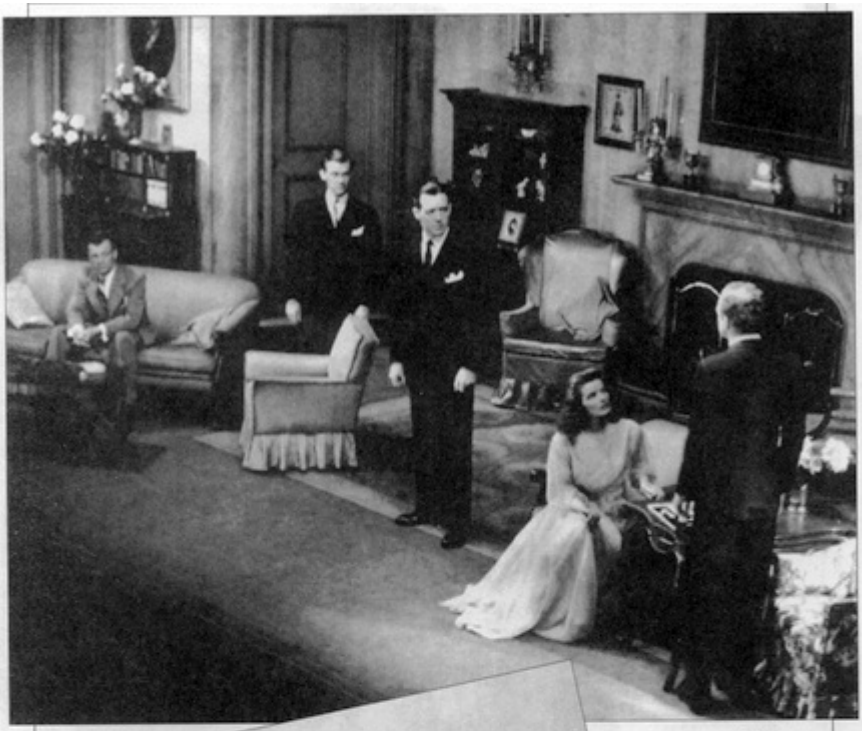
С великим Луисом Майером

Джон Хьюстон





В Венеции
на съемках фильма
«Летний сезон»

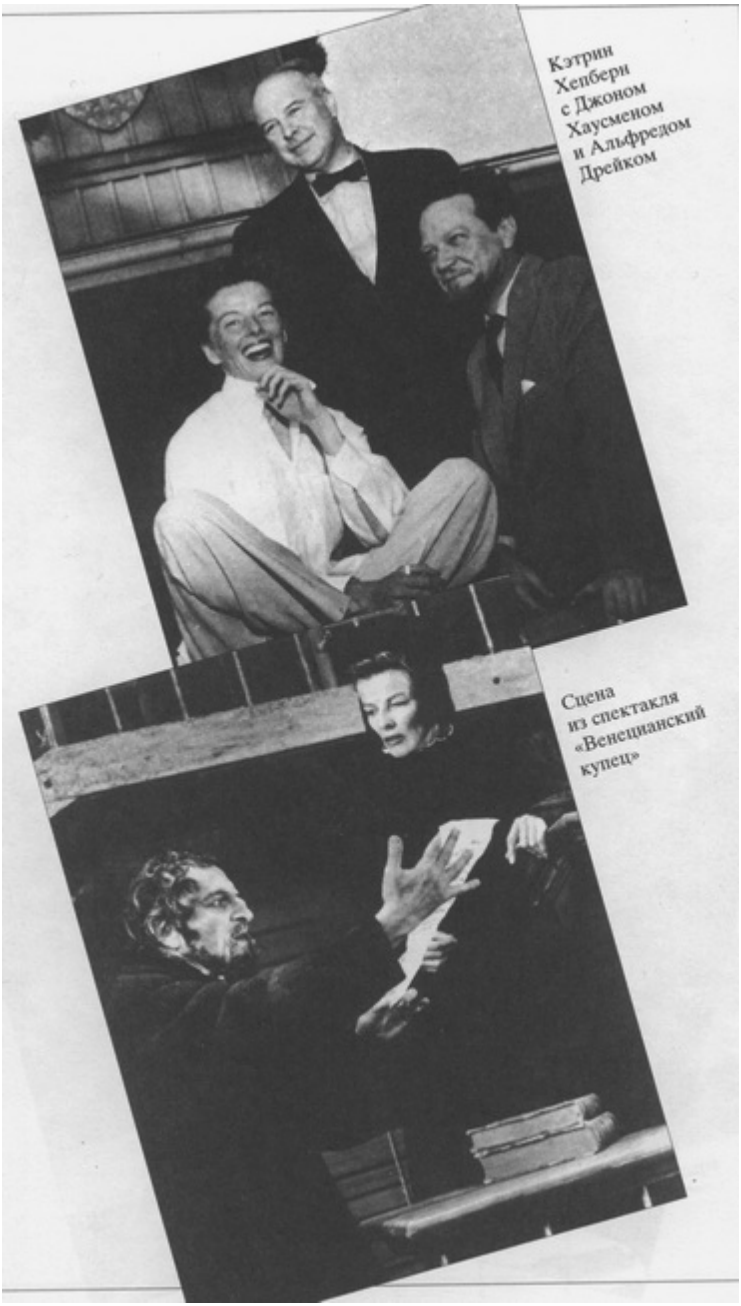


Сцена
из спектакля
«Филадельфийская
история»

Кэтрин
Хепберн
в роли
Марии Стюарт

На сцене
Стаффордского
театра

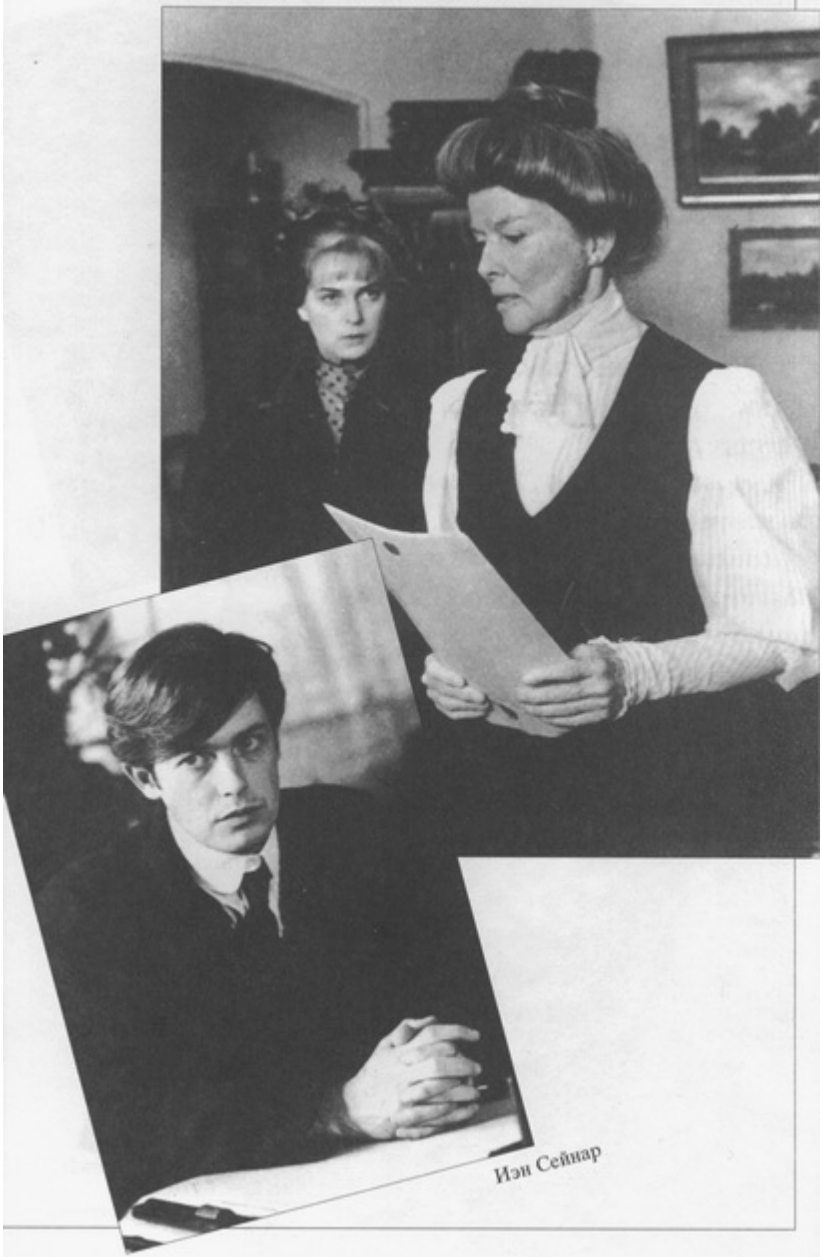
С Джоном Уэйном
в фильме
«Рустер Коґберн»



Кэтрин Хепберн с Джоном Хаусменом и Альфредом Дрейком

Сцена из спектакля «Венецианский купец»

Кадр из фильма «Зеленая кукуруза»



Иэн Сейнар

Кэтрин с дочерью Спенсера

«Я — это то мое, чем одарили меня родители. И, осознав это, я сразу поняла, почему вдруг мне захотелось написать эту книгу. Мне было крайне важно выяснить, в чем глубинная подоплека всего этого — той части материи, которая может развиваться во всех нас, — и ждать своего часа».

notes

Примечания

1

Небоскреб компании «Пан-Американ».

2

Одна из первых киностудий в Голливуде.

З

Представитель нижнего сословия в г. Лондоне, почти босяк.

фунт — 453 грамма.